



Моше Шамир

ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ

Моше Шамир • ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ



Моше Шамир

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ



МОШЕ ШАМИР

МОШЕ ШАМИР
ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1977

משה שמיר
הוא הלך בשדות

HE WALKED IN THE FIELDS

a novel by Moshe Shamir

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

430

Редактор М.Блинкова

Художник Л.Ларский

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

לספרית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

דפוס "גרפ-פרס" בע"מ, ירושלים

OCR Давид Титиевский, июнь 2021 г., Хайфа

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Моше Шамир — виднейший израильский писатель, один из самых ярких представителей так называемого "поколения Пальмаха". Писатели этого поколения, уроженцы Эрец Исраэль, вступали в литературу в то время, когда кончился британский мандат в Палестине и страна победила в Войне за Независимость.

Моше Шамир родился в 1921 г. в Цфате, окончил гимназию "Герцлия" в Тель-Авиве и очень рано примкнул к левому молодежному сионистскому социалистическому движению "Ха-Шомер ха-Цаир". С 1941 по 1947 г. он был членом киббуца и вступил в ряды Пальмаха — боевого отряда еврейской самообороны (Хаганы).

В 1947 г. вышел в свет первый роман Моше Шамира "Он шел по полям", который сразу поставил молодого автора на видное место среди писателей Израиля. За ним последовал ряд романов на разнообразные темы: из жизни Пальмаха ("Под солнцем", 1950; "Своими руками", 1951), исторические романы ("Царь плоти и крови", 1954; "Овечка бедняка", 1956), романы и повести из жизни ишува в подмандатной Палестине ("Ибо ты гол", 1959; "Голубь на чужом дворе", 1974). В 1965 г. вышел роман о жизни современного Израиля — "Граница". Кроме романов, Шамир опубликовал ряд других произведений: сборники повестей и рассказов, книги для детей и юношества и множество статей на политические, общественные и литературные темы. Моше Шамир — не только писатель, но и драматург: его пьесы неоднократно ставились в Израиле и за рубежом. Произведения его были переведены на идиш,

английский, голландский, итальянский, испанский и португальский языки и не раз удостоивались премий, в том числе — премии имени Бялика. В последние годы Шамир был редактором литературного приложения газеты "Маарив" и активным членом Движения за Неделимую страну Израиля. В 1977 году он был избран делегатом Кнессета от блока Ликуд.

Роман "Он шел по полям" и теперь, через тридцать лет, вызывает читательский интерес. Свежесть восприятия, увлекательность изложения и правдивые картины жизни той, уже отошедшей в историю, эпохи накануне провозглашения Государства Израиль делает книгу Шамира близкой тем, кто сегодня читает ее впервые. Жизнь и борьба, конфликты и труд двух поколений киббуца в сравнительно короткий, но насыщенный историческими событиями период борьбы еврейского ишува за свое национальное и политическое освобождение, описанные талантливо и горячо, особенно интересны для русскоязычного читателя, который многое узнает из этой книги.

**Вечной памяти чистой и светлой души
моего брата Элияху, погибшего в бою**

*Сын мой рослый, большой, молчаливый всегда...
А на праздник рубашку я шью ему новую.
Он идет по полям, он прибудет сюда,
И несет в своем сердце он пулю свинцовую.*

Н.Альтерман

В КАНТАРЕ (предисловие)

В Кантаре уже была ночь, но седой капрал Кахана все еще не выпускал из рук мятого листка утренней газеты.

Рядом шумела пограничная станция. Где-то впереди тяжело дышал паровоз, словно скорбя о судьбах мира. Девушки из вспомогательного отряда подавали напитки и бутерброды. Вагоны опустели, — было странно, что никого не осталось, хотя бы для того, чтобы приглядеть за багажом.

Но старый капрал не покидал своего места; он вытянул на противоположную скамью ноги и продолжал мять в руке газету. Послышался шум быстрых, равномерных шагов — шла с проверкой военная полиция. Скоро прозвучит свисток паровоза, все двинутся в вагоны, жуя, смеясь, радуясь. Кахана старший приблизил газету к голубоватому свету лампы. В углу листа — черный квадрат. Кахана закрыл глаза; черный квадрат стоял перед ним на желтом фоне, колышась, колеблясь...

"Ури умер от ран... — сообщение опоздало... — в возрасте двадцати лет... уроженец... отец его..."

Он знал, что на другой стороне густеет ряд траурных объявлений в черных рамках. У Йосла Брумберга не хватило денег, и поэтому его соболезнование — в самом дальнем углу и короткое: "Кахана, оплакиваю с тобой нашего Ури. Йосл"; самое большое — сельскохозяйственного отдела снабжения. Они помнили его, Вили Кахана, с тех пор, как он закупал у них тракторы для всех киббуцов в стране... Узкий длинный ряд черных объявлений, и всюду большими буквами: Ури — Ури — Ури.

Кем он был?

Что таилось за улыбками Ури, за взглядами Мики? Быть может, Кахана, ты слышал их ночные разговоры, гулял вместе с ними в лесу или торопился в город в кино? Каким он был, твой сын, — уверенным, мужественным или наивным и глупым, как дитя? Какая она, Мика? Женщина? Девочка? Какая она женщина, жена, не знаешь? А Ури, какой он... мужчина? Ты не знаешь, почему умер Ури. Не знаешь, за что он любил Мику. Ведь, в общем-то, она некрасива, и на кухне, где работала, ее почему-то не выносили и сплетничали о ней. И ты даже не знаешь, действительно ли он ее любил. Может быть, и не любил вовсе.

Ури — совсем еще мальчик, юноша, — и вдруг женщина (двадцатилетняя девчушка) вручает ему свою жизнь! Действительно ли — вручает? И этот ребенок, который заключает в себе весь мир, вдруг умирает. И умирает так, что что-то душист тебя и заставляет признаться — ты о нем ничего не знал и даже о смерти его узнал тогда, когда другие уже знали о ней.

Уже поздно, капрал Кахана. Поезд со скрипом въезжает в тяжелую и черную египетскую ночь. Люди, возвращаясь из отпуска в лагерь, бродят по поезду. Быть может, у одного из них на сердце горе. А ты об этом не знаешь. Но какая-то теплота обволакивает сердце, когда ты думаешь о множестве лагерей в пустыне.

Что ждет тебя дома? Боже мой, старик, что это за проклятые гражданские мысли!

Капрал подвинулся, и рядом с ним уселись негры. Они вынули из раздутых карманов бутерброды и принялись жевать. Капрал смотрел через окно в темноту. Поезд спешил вперед, вперед, во тьму невидимой ночи, и только далеко впереди вспыхивали одинокие огни. Ветер пустыни ударил по вагонам; Кахана стиснул зубы и ощутил между ними скрип песка, он протянул в окно руки, словно хотел поймать сброшенный с неба подарок. Ничего не упало.

Газета вырвалась и, белея, полетела вдоль темных окон.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Было ясно, что солнце не так уж печет, и пока оно поднимется и встанет над Ладжуном, может быть удастся остановить хотя бы одну из этих проклятых машин, чтобы как-нибудь добраться домой.

— Ну и дрянной же асфальт, черт бы его подрал! — подумал Ури.

Пока что он стоял на краю расположенной за каналом плантации грейпфрутов, а в школе не осталось ничего, кроме пустых классов да валяющейся под кроватью порванной левой сандали. Наверное, Риклис, как всегда, расхаживает по школе, время от времени поскрипывая подошвами, но бояться его уже некому, потому что все хулиганы девятого выпуска разбрелись по дорогам. И шоферам не остается ничего другого, как развозить учеников сельскохозяйственной школы "Кадури" по домам по всей долине, по всей стране, по дорогам от Эйлата до Метулы, из вадии Ара в низину, в Тель-Авив.

Чубатый, в измятой кепке и с ранцем на боку, стоит на дороге Ури Кахана, красивый парень. Увидев такого, вы бы сказали, — здоров, как два мула. Вы бы сказали — ловко скроен!

А я говорю — пустая голова, но, возможно, это и к лучшему. Такие еще открыты всем ветрам, и все еще чего-то ждут, все еще уверены в себе, не знают, что многое в этой жизни скрыто за туманом.

Такова уже природа его души, его снов, его страхов. Ури пуст, он совершенно бессодержателен. Он думает о тысяче вещей одновременно. Что только не умещается в его голове: плантация, шоссе, солнечный зной, воспоминание о доме, свидетельство об окончании

школы, самоуверенность, мужественность, съеденный завтрак и решение лечь проспать целые сутки.

— Эй, дурень!

— Кто это здесь "дурень"?

— Залезай!

Вот так неожиданность: это был Илана.

Его огромный "Фарго" остановился с протяжным скрипом. Илана освободил для Ури место в раскаленной кабине, против американских зеленоватых стрелок на приборах.

Илана был прозван так по имени своей дочери, Иланы.

В жизни у него ничего не осталось кроме нее, и поэтому его можно было видеть или согнутым над рулем, или бродящим по двору и громко зовущим: "Илана, Илана, где ты?", — пока она не появлялась и не падала в его сильные объятия.

Теперь он сидел за рулем своей могучей машины, которая, вздрогнув, двинулась по черной асфальтовой реке.

И вот они сидели рядом и через мутное стекло наблюдали за пыльным воздухом, нависшим над полями, вслушиваясь в шепот шуршащих по шоссе колес.

Илана откинулся назад и высунул левую руку в окно, как будто пытаясь нащупать горячую и липкую смесь, плавно летящую навстречу машине и колючкам на придорожной тропинке.

— Жарко! — сказал Ури.

Илана был мужчиной крупным, крепкого телосложения. Мягкая кепка, распластанная на темени, смешно и резко подчеркивала широкие и открытые черты его лица. Ури видел его крепкую шею — под подбородком и дальше кругом, за ушами, под волосами, обрамляющими затылок... Спереди казалось, что это двойной подбородок, сзади — затылок быка, а с боков — просто неодушевленная глыба. Так или иначе, если окинете взглядом голову, плечи, волосатую грудь под майкой и живот, убедитесь, что все это кругло, твердо, зрело.

Рядом с Иланой Ури чувствовал себя неуверенно. Легче вступить в разговор с трактором, прервать молчание мотора, который вдруг перестал тянуть, ночных гор, невспаханной земли — всего того, что так любит тишину. Илана славился своей неразговорчивостью, и тем удивительнее было, что он специально остановился взять Ури.

Это стесняло Ури, что-то нужно было сказать и разрядить обстановку.

Но что сказать этому внушительному человеку? Такое, чтобы сначала привлечь его внимание, затем заинтриговать, и в конце концов расположить к себе? Например: к нам в "Кадури" прибыл новый трактор — тебе, наверное, стоило бы посмотреть его.

Или: как этот "фарго"? Шоферы из кооператива говорят, что нет лучше "интернейшнл"...

Не дай Бог в присутствии Иланы высказать мнение шоферов кооператива. Ты немедленно услышишь прямо противоположное. И, несмотря на то, что по натуре он молчалив, — не оставит тебя в покое, пока не согласишься, что они разбираются только в цветах обивки машин, да в продаже билетов — тоже мне знаки, водители автобусов!

Он удивился, как это ему сразу же на ум не пришел вопрос: что ты везешь, Илана?

Неудачник! Нашел о чем спросить! Тут машина начала подниматься в гору. Илана сменил скорость так резко, будто сгонял с места кота, а затем снизил ее. Вероятно поэтому стих утомляющий звук, доносящийся из кузова. Более того, оказалось, Илана не расслышал вопроса и потому не ответил.

— Ты везешь что-нибудь для киббуца?

Илана посмотрел в переднее стекло, как будто увидел в нем свое искаженное отражение. Он снова сменил скорость и затем ответил вопросом:

— Ты уже два года учишься в "Кадури"?

— Да, два.

Вот оно, это вечное высокомерие шофера, не желающего считаться с твоими вопросами. Может быть,

тут какая-то ловушка, а может быть, груз, о котором не следует говорить? Что же это тогда? Кукуруза без разрешения?

— Итак, ты целых два года провел в "Кадури" и так и не научился различать, когда едешь в машине, есть в ней груз или нет. А?

Ури повернулся назад: зарешеченное окошко и пустой кузов машины. Тряпки, рваная веревка и постукивающая мотыга. Это ее стук ослабевал во время езды на подъемах и теперь опять усилился.

Илана вернулся к четвертой скорости, машина лихо преодолела небольшой спуск, миновала желтеющие поля сорго Абу-Фуки и с радостным дребезжанием съехала навстречу огородам Гат-Хаамаким.

Оба засмотрелись на пролетающий мимо пейзаж. Однако Илана время от времени с задумчивой небрежностью опускал глаза. Попытка сближения столкнулась с сопротивлением. Но все же Илана был любящим отцом Иланы, значит — человеком чутким, и, желая смягчить свою резкость, он сказал:

— Ты к нам надолго?

Ури заколебался. К чему всем знать, что первенец киббуца закончил занятия, и что сегодня он войдет в ворота уже не мальчиком, а полноправным членом киббуца. Вовсе не обязаны все об этом знать!

Более того, если бы знали, они могли сказать: "Ури вернулся? Отлично! Он будет работать в огороде, в поле — там, где не хватает людей". Не обязательно делать событие из его возвращения. Скажут: "Будет работать в коровнике. Первый ребенок или двадцатый, или вообще посторонний — хорошо, что пришел. Будет работать..."

Но все же он сказал:

— Я вернулся насовсем. Я кончил там, в "Кадури". Я возвращаюсь домой навсегда.

Илана посмотрел на него. Если бы он шел пешком, он бы на минуту остановился.

— Да? А я думал, ты едешь проститься с Вили.

Вили — отец. Вили Кахана — член сельскохозяй-

ственного центра. Он — прикосновение, не вычерпанное до дна. Ури по сей день — ребенок, но с завтрашнего дня — полноправный член киббуца. "А, ты пришел", — скажут ему от души. Многие часы счастья. Отец, до сих пор я слушал твои советы, но с этого дня ты будешь слушать меня. Я два года был в "Кадури" и кое-что знаю лучше чем ты. В хлебоборобы я не пойду, потому что хлеб растил ты. Еще чего доброго скажут: "Подражает отцу, он точно как Вили, только без его таланта и богатого воображения". Вили сделан из куска земли. Вили — часть хозяйства. Но в Ури есть многое и от матери. Впрочем, о матери лучше не думать... Прощаться с Вили — с чего это вдруг?

— Что вдруг? — проговорил он вслух.

Что-то кольнуло Илану. Так этот парень действительно еще не знает?

— Я думал, ты знаешь. Вили — доброволец, и может уйти в любую минуту.

— Отец?

Пока что не подберешь другие слова. Он был мобилизован и только недавно вернулся из-за границы. Два года. Что это — два года? А что говорит мать? На сцене появляется мать, Рутка. Что говорит Рутка? Ей все равно? Пыталась ли она удержать его? Сколько ему лет? Им будут командовать? Может быть, он получил особое назначение? Нет, для этого он стар. Вили Кахана — рядовой. Ха-ха...

Но вот, опережая чувства, полились слова, целый поток...

— Он уже мобилизован? Присягал? Когда?

— Несколько дней назад. Почему ты так удивляешься?

— И киббуц разрешил ему?

— Никто не знал. Пришел на собрание и объявил. Меня тогда не было. Рассказывают, что бегали к нему, отговаривали, но он не согласился.

— Ведь он — молодежный инструктор! Как же ему разрешили оставить эту работу? Кто занимается теперь с молодежью? Он еще дома?

Последний вопрос — самый главный и потому заслуживающий ответа.

— Да, пока дома, но каждую минуту может получить приказ. Я был уверен, что ты об этом знаешь.

“Фарго” свернул с шоссе и выехал на проселочную дорогу. Вести машину стало труднее. Лицо Иланы стало замкнутым, и видно было, что теперь из него не вытянешь ни слова. Ури начал застегивать ранец, поглядывая на ручку дверцы. Ему представлялось, как он откроет ее и выскочит во двор, улыбаясь и жадно рассматривая все вокруг. Но еще не настало время. Проселочная дорога шла вокруг двора киббуца, набирая высоту. Оттуда она спускалась к плантации слив, — а дальше — к дикому сосновому лесу, который создавал естественную ограду. Плантация не орошалась. Орошаемые участки находились ниже — на всей территории от дороги до вадии Фука. Они были покрыты нежной зеленью. В неслышном полете кружились “брызгалки”. Повозки тянулись по тропинкам. Шланги оросителей вились, как серебряные ленты. Еще оставалось время. Еще можно было идти по двору и пожимать множество рук, пройти через читальню в комнату матери и спросить, где Вили — его самого пока что увидишь не скоро.

Никогда не знаешь, что с тобой произойдет, ведь жизнь состоит из тысячи процессов, противоречивых и сходных, происходящих одновременно, в одном и том же месте. Где-то на поверхности притаились чувства, готовые встрепенуться, как человек от неожиданного толчка. Более глубоко сталкиваются друг с другом отзвуки далеких привычек детства, — как лодки на ночном причале: “Где отец? А когда он вернется? Правда, мама, мы хотим, чтобы он реже ездил за границу?... Где она, эта граница?”

А в более зрелом возрасте:

“Отец! Я пишу тебе снова и прошу поскорее вернуться. Серая родила двух жеребят, но один... то есть второй — умер...”

И затем привычка, мудрая как заповедь, — доро-

жить приездами отца, — особенно — когда тот возвращается домой в рабочей одежде или трудится целый сезон без перерыва — ведь это время радости и наивной веры, что отец счастлив в эти дни, ну, и у Рутки хорошее настроение... Работа... Работа?... Да нет, причины этого были, пожалуй, глубже.

И вот уже внутри тебя дьявол пытается перевернуть все вверх дном; бутон уже лопнул, и упрямыми, медленными усилиями старается распуститься цветок: радость, свобода, вольность. Быть одновременно дома, взрослым, без отца... и в конце той же дороги, как легкое порханье, как намек... женщины, девушки.

Машина остановилась. Хорошо, что она пуста — а то бы надо было бы разгружать ее с шофером. Ручка дверцы заупрямилась, и пришлось Илане, задев живот Ури, положить на нее свою тяжелую и волосатую руку и сказать: "Ну!", чтобы она послушалась и отворилась. Земля неожиданно обдала лицо Ури сухим жаром. Это значит — в то время, как ты плыл в машине, земля, опаленная солнцем, продолжала страдать.

Ури вышел во двор и с волнением в душе направился в столовую. Так или иначе — пока еще не бьют в цимбалы и барабаны. Ты был уже уверен, что так и будет, первый сын киббуца — Илана дал тебе первый урок. Хлебу не важно, кто его сеет: человек, взбудораженный переживаниями, ленивый пахарь или бесчувственный трактор. Не примется во внимание и то, кто ты — первенец киббуца, выпускник сельскохозяйственной школы или сын Вили и Рутки; тебя оценят на простом экзамене, который надо будет держать ежедневно. Встанешь ли ты на работу завтра вместе со всеми?

Конюшня, ледник, силосная башня, коровники, раскинувшиеся перед ним, ставили ему издали трепетный, невнятный вопрос: "Правда, мы не изменились?". И сами себе отвечали с тем же выражением, той же мелодией и оттенком: "Правда, мы не изменились!".

Скирда стояла в необычном месте, посреди дороги,

и вокруг нее уже обозначилась новая дорожка, продолженная велосипедами. Ури пошел по ней и оглядел скирду.

Старые пахари берут обыкновенно нож, отрезают пучок сена и скептически произносят: "В сельскохозяйственных школах тоже кое-что знают?"

Поэтому возможно, что тебя не сразу посадят на "дизель", и даже если примут на полевые работы, придется тебе потрудиться еще на перевозках, и завязывать мешки на платформах, и бродить за "корнфинкером". Сено это — хорошее, сухое, светлое, и снопы связаны, как положено, но это еще не значит, что тебя немедленно примут к пахарям, а?

Чем же еще заняться Ури, если не хлеборобством?

Ноги его стояли уже за скирдой сена, они уже были в киббуце. Вот здесь проходит дорога, на которой можно встретить нянечку, повариху или даже учительницу.

Лужайка была пуста, брызгалки делали свое дело. Солнце щедро выдавало свои порции, и Ури с аппетитом поглощал их. Указатели были выкрашены заново, зато флюгер на верхушке шалаша для фруктов висел поломанный, как в те дни, когда он спрашивал Рутку: "Мама, что это за ботинок висит на шалаше Тамары? Это ботинок Тамары? (Тамары из "оранжереи").

Ему не пришлось поворачиваться или переводить взгляд, чтобы охватить взором всю панораму — долину и чересчур длинные дома с поблекшими крышами между деревьями, водонапорную башню, покрытую каким-то упрямым ползучим растением, лишенным хлорофилла и потому пожелтевшим. Все это было хорошо. Хорошо, как большая сдача после покупки билета в кино; как сильно надутый футбольный мяч; так же хорошо, как если бы на завтра отменили экзамен по химии; прекрасно, как розовый, нежных тонов закат над Табором, напоминающий девушек, вернее девушку, а еще вернее — неизвестную девушку.

Это было замечательно, как... просто любовь.

Когда доктор Рифин, "Микроб", на уроках по теории почвы говорил о земледелии в Гат-Хаамаким, Ури бывал очень доволен. Гат-Хаамаким, будь здоров, будь здоров... не много таких мест, как это... нет!

А вот и Этель! И, конечно, она не одна, сбоку под правой рукой к ней прилепилась какая-то черненькая девчушка в синем, а она прижимает ее голову к своему поясу, как хорошая хозяйка корзину с бельем, которое собирается развесить.

Если бы не было так жарко, Ури бы улыбнулся. Этель, как всегда, с одним из своих младенцев! Стиснутая, с большой любовью прижатая девчушка прошептала: "Это Ури" и не прибавила больше ни слова. А Этель набросилась на него с объятиями:

— Урик! Ну, поглядите на него? Ведь мы же все тебя ждем. Это весь твой багаж? Так ты и жил два года? "Человеческое дитя"! Ох, уж эти наши коммунисты! Как поживаешь, Урик? Вот мы закатим вам вечеринку! Ты видишь, Ноа, Ноик — видишь? Вили уезжает, а Урик приезжает. Всегда у нас в киббуце будет Кахана. И куда ты теперь? Еще рано на обед... который час?

Этель была очень счастлива. Она обнимала Ури, Урика, Ури, первой воспитательницей которого была, и который был первым ее воспитанником.

Чересчур мягкая, чересчур теплая, нежная и чем-то ему несимпатичная. Ури поправил сумку на плече и вырвался из ее объятий. Еще одна быстрая и рассеянная попытка с ее стороны была им решительно отвергнута.

— Так ты приехал с Иланой? Вот это удача! Мне никогда не удастся встретить никого из наших шоферов в дороге. А, теперь я знаю... ведь он вез молодежь на Кинерет. Оттуда они путешествуют пешком. Вилины питомцы... они пошли на последнюю экскурсию, закончив двухлетний срок.

— Вили тоже... пошел с ними?..

Обида посеяла продолжительное молчание между

”тоже” и остальными словами. Тоже... Вили пошел с ними. Как это? Скажи, Этель! Этель, тебе предстоит ответить еще на столько вопросов!

— Этель!

Она перевела Ури на другую сторону, и они вошли в один из белых маленьких домиков для неженатых с ухоженными палисадниками и аккуратными дорожками.

... — Нет, Вили не пошел. Ведь он каждую минуту ждет сигнала. Он не пошел с ними. Он закончил занятия неделю тому назад, а то и две. Работает ли сегодня, не знаю — наверное, не работает. Готовится... в комнате у Рутки ужас, что творится. Ты можешь положить у меня сумку. Потом пойдешь есть. После обеда отдохнешь у меня. Я работаю до восьми. Примешь душ и отдохнешь. Возьмешь чистое белье. Это новая комната врача. У него есть радио. Слушаем иногда. Сможешь приходить сюда, чтобы в уголке солдата услышать привет от Вили, верно? Ну, что ты скажешь, опять был у меня кто-то из детей... они или переворачивают мне всю комнату, или приносят цветы. Входи, неважно, я еще не мыла пол, садись!

Ури сел в полотняное кресло, сумка между ногами, а напротив него, на низкой, как диван, кровати сидела сияющая Этель, выпятив губы, как бы готовая ответить еще на десятки вопросов.

Картина Сезанна ”Яблоки и бутылка” и овальный портрет какой-то незнакомой белокурой девушки. На окнах — занавеси из грубой ткани, обшитые по краям пестрой материей. Обивка дивана и кресла — в тон занавесям. На столе — скатерть и ваза без цветов. Книги на немецком языке, — вероятно, по психологии. Он сердился на Этель, на воспитателей, на Ноама, ему казалось, что эту последнюю, так его расстроившую затею о мобилизации отца они взяли из немецкой книги в зеленом переплете с искривленными буквами. Чужая культура — непонятная, непостижимая...

Этель говорила, а Ури смотрел в окно.

Правда, мы не изменились? Правда, мы не изменились?.. Голоса двора наполняют его снисходительностью и благоговением, но в его душе остается еще много места и для солнечного тепла во всем его спокойствии, во всей его мощи. Скоро будут звонить на обед.

— Вили, как всегда, совсем не помогает Рутке. Весь день он крутится по хозяйству в рабочей одежде. Вилик, — сказала я ему, — пойдй посмотри. Может быть шерстяные вещи не твоего размера, посмотри, что тебе суют в чемодан. И говорят, что для тебя приготовили сюрприз.

Неожиданно пришло желание вскочить, найти Вили, взять его за руку, притащить в комнату Рутки, чтобы побыть всем вместе. Мама Рутка засунет чемоданы под кровать. Вили сядет на пороге и снимет ботинки. Ури будет играть, игр... ха-ха, глупости, к черту! Но главное — он все еще давит тебе на грудь, как каток, выравнивающий грунт. Вот они все вместе — втроем, и ты, и Вили, и ты, мама!

— Так ты понимаешь, Ури, какой твой отец? И вот все мы в киббуце любим его...

Комната незамужней женщины. Звонок!

Ури поднимается и ждет, пока Этель причесывается и поправляет на голове косынку, разглаживая ее быстрыми движениями. Она улыбнулась Ури так, что он очнулся и подумал: ведь он же ни слова не услышал из того, что она говорила!

— После обеда приходи сюда отдыхать. Я работаю до вечера. Положи, положи сумку.

Они вышли и зашагали к столовой. По дороге встречались люди. "Ури, шалом, как поживаешь... Ури... Когда приехал... Ури, давай лапу!"

Этель ушла в маленькую кухню, а фарго стоял на том же месте, где из него вышел Ури. Готов дать голову на отсечение, что Илана теперь возится с маленькой Иланой.

Чем ближе он подходил к столовой, тем больше прибавлялось работы; чем чаще ему задавали вопро-

сы, тем более они становились похожи на предыдущие. И все-таки, есть люди, навстречу которым сердце просто выскакивает из груди. Это — друзья, бесконечно близкие. Ури стоит напротив столовой и ему никак не дают войти в нее.

Кое-кто остался дома — в общежитии, в Мишмар-Хазмек. Друзья стоят рядом с Ури и наслаждаются неожиданной встречей. Еще одна рука, еще плечо, еще улыбка, еще раз кто-то подмигнул. Тут все: старые скотники, извозчики, секретарь киббуца, воспитательницы и учителя.

— Давай-ка пойдем поедим.

— Пока ты тут пожимаешь руки, там прикончат котлеты...

Ури вошел в столовую, окруженный друзьями, и остановился.

— Мири, здесь не хватает ложек!

Суп, дымящийся до потолка; объявление секретариата висит на кнопке, которая еле держится. Для "диеты" мнут и взбивают разварившийся картофель, и мясо для диетников бледное, как они сами. Где может быть теперь Вили? Как ты постарела, Мири! Здравствуй, сейчас сяду, хорошо.

А вот и Вили. Он увлечен горячей фасолью, но немало внимания уделяет и собеседнице в белом переднике и белоснежной косынке. Она вдруг рассмеялась. Это была Хайка — одна из работниц. Вили в рабочей одежде ел кашу спокойно и медленно, как человек, которого никто не ждет.

Ури направился к нему. Стол затих. Все смотрели на Вили. Он взял зеленый перец с общего блюда. Ури мягко положил ему на плечо руку и почувствовал кости плеча и складки толстой рубашки.

— Эй!

— У-ри! Ну, что вы скажете, пойдی сюда! Минутку... вот так, Урик. Как поживаешь? А я хотел вечером поехать к тебе, взять "форд" и подъехать. Ты уже видел Рутку? Ури. Ха-ха, а я и не заметил, как ты подошел. Я рассказывал анекдоты и лопал фасоль. Ну, парень,

ты еще не ел, а? Давай, сядем. Займем другое место, ведь нашего аппетита хватит на полдюжины молодых.

Отец и сын уселись за другой стол. Вили нежно обнял Ури за плечи.

— Ну, что скажешь, сокровище мое?

— Правду ли говорят, что ты добровольцем идешь в армию?

— Не верь им, сын, но на этот раз они сказали правду. Мири, две порции, пожалуйста. Что? Пока мне еще трудно объяснить тебе это...

— Я сегодня закончил школу "Кадури"...

— Да, я знаю. Получил свидетельство? Да. Очень хорошо. Можешь разжечь им печку. Кончились два года, а? Тебе ведь не хотелось покидать ее, не правда ли?

— Твои ребята ушли на прогулку?

— Да, мы закончили нашу работу десять дней назад. Рутка, как всегда, обедает не здесь, а вместе с классом. Опять эти рубленые котлеты. Мири — у тебя нет для меня пудинга?

На столе полно блюд для Ури и Вили. Вокруг их стульев стоят друзья — пожалуй, отец и сын довольны этим. Ури поливает котлеты соусом и ест с хлебом. Вили не забыл про зеленый перец. Он выбрал сочный, свежий, округлый и врезался в него зубами.

Вили ухаживает за сыном — налил ему воды в старательно выбранную кружку (у нее была даже ручка), очистил от кожуры сморщившийся в леднике грейпфрут, положил перед Ури, поправил на сыне воротничок. На все это Ури ответил вопросом:

— Так что, отец, ты уже присягнул и все прочее? Мобилизован? А где пока что работаешь, а, отец?

(Папа, где ты сегодня работаешь, на тракторе? Папа, возьми меня на трактор. Ведь правда, ты едешь лучше отца Нури? Так почему он весь день ездит на Аристократке? Папа, дай мне ненадолго твою шапку).

Ури нужно было еще раз услышать вопрос отца,

чтобы выкарабкаться из глины воспоминаний, в которой случайно завяз...

— Что?

— Ну вот, — сказал Вили, — ты поднимаешь вилки с пола, а я должен все повторять дважды, а? Я работаю немного на уборке кукурузы для скота. Ну на втором участке. Там чудесная кукуруза. Теперь, в обед, я сменю Аврахама.

— Я поеду с тобой. Участок далеко?

— Зачем тебе? Уже половина первого. Отдохни лучше. Мы едем на "форде". Встали?

Оба поднялись из-за стола. Ури выше Вили почти на полголовы.

— Ничего, отец, я поеду с вами. Ведь тебя могут отнять у меня каждую минуту. Я вернусь на "форде". Сколько времени это займет? Не больше часа, наверно?

На кухне было несколько женщин в белых передниках. Ури представил себе, что одна из них — мать, Рутка. Но здесь ни на одной из женщин белый передник не выглядел так складно, красиво и успокаивающе, как передники воспитательниц. Здесь они были просто завязанной на животе тряпкой, покрытой пятнами от масла и супов, со складками и следами небрежной стирки. Здесь стояли в ряд алюминиевые баки, нагреваемые электричеством; их зеленые и красные глазки казались испуганными, но все же эти баки были гораздо спокойнее и послушнее, чем взволнованные люди возле них.

Поварихи встретили Ури сердечно, даже слишком, и Вили уже начал злиться и покашливать.

— Я зашел на кухню, чтобы получить обед для полевых рабочих, а не для того, чтобы вы целовали моего сына. Сарка, чем это кончится? Ты дашь кашу или нет?

— Дадим, дадим, дай только взглянуть на Ури.

Тут вошел молодой парень, который сказал: "Вили, тебя ждут, где еда? Мы выезжаем".

Парень приблизился к Ури, и стало ясно, что он хочет освободить его от ноши, как бы заявляя этим:

”Ты ведь здесь в гостях, посторонний”.

Но по тому, как Ури держался, парень понял: такое предположение ошибочно и неуместно, и поэтому он ограничился тем, что пошел впереди, прокладывая им дорогу во двор, к тропинке, а оттуда вниз, к стогу сена, шалашам, лугу. Он пытался отгадать, кто этот человек, который чувствует себя здесь хозяином. А между Ури и Вили все это время происходила молчаливая беседа; она продолжалась уже почти полчаса и становилась все более и более напряженной. Разговор еще не состоялся, но, вероятно, должен был вот-вот произойти.

Вили пытался помочь Ури, но пока внутренний поединок между ними был доведен до решающей точки, все трое уже стояли около маленького форда, покрашенного в разные цвета, со сплюснутым носом, обернутым тряпкой, чтобы не перегревался мотор. Форд стоял среди комбайнов с вызывающим видом, похожий на муху. Любой материал, более ломкий, не мог в нем остаться целым. Поэтому в окнах вместо стекол — фанера; вблизи было видно, что она вдоль и поперек исчерчена планами участков, расписанием работы, вычислением количества бензина для старого трактора типа ТД-6 и даже украшена изречением: ”полевые рабочие — ослы”.

В машине — полевые рабочие. У руля — Ахарончик, возле него Биберман, а на заднее сиденье усаживается Нафтали и многозначительно оставляет пустыми два места, которые на самом деле являются лишь третьей частью одного.

Рабочие, сидящие в машине, невозмутимы. Зато те, что снаружи, скептически поглядывают на дрожащие пружины верной старушки-машины. Шины ее погружаются в землю, передняя часть из-за нагрузки сзади приподнимается к небу.

Ахарончик проверил, хорошо ли закрыты двери форда и, оглянувшись, увидел Ури. Он приветствовал его взглядом и кивком головы. Биберман очищал грейпфрут и складывал кожуру на кусок газеты,

расстеленный на коленях. Он даже не взглянул назад, хотя слышал, что Ахарончик с кем-то здоровается. Сидящие на переднем сиденье не утруждают себя поворотом головы назад.

Вили сел у окна, Ури — между Вили и Нафтали, у их ног стояли корзины с едой, кастрюли с супом и котлетами, маленький мешок с хлебом. Нафтали старался освободить Ури побольше места и улыбался ему извиняющейся и приветливой улыбкой.

Ахарончик сдвинул машину с места. Тот парень, черт знает, как его зовут, все еще стоял снаружи.

Нафтали с приветливой улыбкой на испещренном морщинами лице обратился к нему:

— Что же, друг, ты не садишься с нами?

— Его зовут Шайке.

— Шайке или Нагайке, пусть садится и едет.

Шайке был в рабочей одежде. Ури колебался, чувствуя неловкость. Приехал избалованный сыночек и для него согнали с места работающего человека. Была минута, когда ему захотелось встать, чтобы сел Шайке: "Ты еще будешь работать сегодня весь день", — а самому ехать на ступеньке. Но эта мысль сейчас же исчезла, потому что, во-первых, стыдно, во-вторых, мучило желание посидеть с отцом, и, в-третьих, ведь будут смеяться! "Что это вдруг? С каких пор Ури стал таким джентльменом?" Так принято. Разве Биберман уступил бы ему место?!.. Он даже не здоровается. Перегнуться бы вперед, похлопать его по плечу и сквозь зубы процедить: "Здорово, Биберман, как поживаешь?".

Наконец, форд трогается с места и едет по дороге. Шайке держится за дверь. Взгляд его блуждает по сторонам. Наверное, потом он будет говорить: "Ты спрашиваешь, как в старом киббуце относятся к практикантам? Поезжай и увидишь. Но, будь уверен, что к нам относятся не так, как к местной молодежи. Я бы не хотел еще раз там работать".

Машина мчится вперед. Ахарончик беседует с Нафтали о рабочих делах, и время от времени бросает

взгляд в маленькое зеркальце, висящее перед его лицом. Есть что-то мужественное и вместе с тем грустное в разговоре человека со стеклом. Ахарончик — ответственный за полевые работы, — и его комбинезон выглядит лучше, чем у остальных. Он едет в поле в сандалиях. По той или иной причине ему наверняка придется съездить еще раз и улаживать какие-то дела. Ему нечасто случается выходить из машины, а о том, чтобы работать в поле, и говорить не приходится.

Машина грохочет, по пути она вспугивает воробьев, на мгновение ошарашивает ослицу Абдаллы, щиплющую травку у ограды питомника. Передние ноги ослицы связаны, и если бы она молниеносно не скрылась, тело ее осталось бы распластанным на твердой поверхности дороги.

Биберман кончает чистить грейпфрут и принимается есть его. При этом он вытягивает шею вперед, как будто одет в праздничную одежду и боится ее запачкать. Сок грейпфрута стекает по рукам на рогожу у его ног и оттуда наружу, пока Шайке не говорит:

— Биберман, Биберман, ты поливаешь соком грейпфрута дорогу.

— Хочешь кусочек?

Эти слова и выражение лица, повернувшегося к нему, снова убеждают Ури, что Биберман на самом деле славный человек, хотя ведет себя довольно странно. Он не здоровается и не отвечает, когда здороваются с ним. Он никогда не тратит лишних, по его мнению, слов, а прямо начинает с дела. Женщине, только что возвратившейся после родов из больницы, Биберман сказал: "Соня, две недели тому назад я перевел на вашу лужайку ороситель, а вы мне его до сих пор не вернули. Что же это будет?"

Теперь он кончил грейпфрут, выбросил кожуру, вынул платок, старательно вытер ладони и пальцы, потом посмотрел на поля, на тропинку, сбегаящую к посевам, и обратился к Ури, словно продолжая недавно прерванную беседу: "Ури, молодежь уехала.

Ты можешь спать в любой палатке, пока они не вернутся. Лучше ты не устроишься”.

И прежде чем Ури понял, что холостяк Биберман принимает теперь гостей, тот спокойно продолжал: ”...Простыни можешь получить в киббуце или взять в моей комнате, в шкафу на верхней полке”.

Машина продолжала свой путь. С обеих сторон простирались поля. Кое-где стерня пшеницы и жита уже меняла золотистый оттенок на бурый из-за ветров, пыли и пасущихся здесь стад. За кукурузным полем начали перепахивать жнивье, и черные пятна вспаханной земли тяжелыми кусками выделялись на зеленом фоне. Издали кукурузные поля кажутся зеленым морем, а вблизи видно, что они стоят ровными, свежими, девственными рядами. Стога сена на скошенном поле кажутся уставшим, разбредшимся на отдых стадом, но навстречу летящей машине они движутся, как выстроенные в ряд казармы, разделенные длинными улицами.

В глубине поля — шалаш из мешков и брезента, а сразу за ним длинный ряд стройных, тянущихся вдаль к главному шоссе эвкалиптов. У их подножья неожиданный крутой спуск, на дне которого вьется речка. Ее называют Вади Фука-Зутра или Вади Фукаэль-Зариф.

Машина проехала мост. ”Мост Вили”. Ущелье сейчас кажется покрытым глиняными черепками; здесь полно змей и ящериц, человеческих и скотских испражнений.

Мост Вили! Ты был еще ребенком, четырехлетним малышом, когда прошла здесь твоя первая зима. Дороги и небо утопали в воде. В долине реки тонули возы вместе со скотиной и возчиками — это случалось каждый день. А кто привезет продукты с поезда, кто отвезет роженицу? Теперь быть возчиком — это да! Но в то время... И когда, наконец, кончилась зима, вышли осмотреть окрестности. Оказалось, что переезд через реку невозможен, из каждых трех повозок

одна опрокидывалась в реку. Увидев реку издалека, скотина бесилась.

Вили в те времена... Худощавое лицо с темными впадинами на щеках, растрепанная шевелюра, галифе, сапоги, шитая русская рубашка с расстегнутым воротом; опирается на лошадь, улыбается, курит. На земле отражается вытянутая плоская тень женщины-фотографа в длинном платье. Вили утверждал, что нужен мост. Ему отвечали: "Хорошо, но где его взять?" Вили сказал: "Положитесь на меня". Он впервые выехал устраивать дела и вернулся на коне. Двери перед ним раскрывались сами. Он был самым совершенством — молод, энергичен, талантлив и способен выполнить любое ответственное дело.

После возвращения, в течение двух месяцев Вили строил мост. Он удался на славу. В киббуце все еще жили в палатках, а здесь, в поле, выстроили железобетонный мост.

Наладилась доставка продуктов. Никакая зима не была уже страшна детищу Вили. И позднее ребята говорили: "Пойдем на мост?". Или "Класс Снонит поехал на мост изучать цветы".

Добежать от ворот или сарая к мосту было делом чести для каждого паренька. Кому это удавалось, считался уже мужчиной, мог вступить в волейбольную команду, мог взять в конюшине лошадь, долго не упрашивая конюха, мог пренебрегать такими работами, как сбор слив, мытье посуды, прополка виноградника... Вот что такое был мост Вили.

...Сидящий впереди Биберман закончил свои дела и готовился выйти. Он открыл термос, напился, сильно запрокинув голову; собрал свои пожитки.

Ахарончик неудержимо стремился к месту уборки кукурузы и искал подходящую дорогу, чтобы въехать в поле. Машина остановилась, умолкла, вскоре опять стала тарыхтеть и пятиться назад. Ахарончик выскочил, проверил почву и влез обратно в машину, не прихлопнув дверцу и оставив одну ногу снаружи.

Машина погрузилась в колею, потом выбралась

из нее и начала разворачиваться, въезжая в поле. Она двигалась медленно и осторожно. Ахарончик все время смотрел вперед и медленно направлял машину к людям. На уборке работали два трактора, и сейчас они тарахтели, не двигаясь. Тяжелый прицеп, нагруженный доверху крупными и сочными початками, сдвинулся с места и последовал за грузно повернувшимся вокруг оси рыжеватым трактором на новых черных резиновых колесах.

Шайке на ходу соскочил со ступеньки, отомстив таким образом за причиненную ему обиду. Это было движение человека, презирающего машину и ее пассажиров. Вы, мол, не имеете для меня никакого значения теперь, как не имели и прежде. И вся эта ситуация: кто будет сидеть, а кто стоять, кто внутри, а кто снаружи, меня нисколько не трогает. Я спешу на работу.

Биберман тоже выскочил и начал вытаскивать с сиденья свои вещи — легкий свитер, чтобы надеть, возвращаясь с работы, бутерброды (язва!), творог, грейпфруты, термос с чаем. Он взглянул на Ури и заметил, что тот все еще сидит с Вили в машине.

— Так договорились, Ури? Простыни и все другое возьмешь в хозяйстве, или зайдешь ко мне в палатку, и выберешь, какую захочешь. Мне кажется, там никого не осталось, все ушли...

Довольный собой, он тотчас переключился на другое, побежал за Ахарончиком и закричал: "Я на сноповязалку "Катерпилер" не сяду. Я говорил тебе об этом тысячу раз..."

Нафтали тоже вышел из машины. Все направились к трактору, около которого уже стояла большая толпа, занятая обсуждением каких-то, очевидно важных, вопросов. Работавшие в утреннюю смену сдавали дела Нафтали и Биберману, расспрашивали Ахарончика о новостях и сплетнях. Молодые парни, которые работали на сноповязалках, просматривали вместе с Шайке каждый зубец и объясняли ему, что при работе надо быть осторожней на поворотах и на

поле возле канала, где почва комковата и неровна. Надо следить за толщиной слоя, чтобы не повредить нож.

Те, кто занимаются погрузкой прицепов — отошли в сторону. Остановившись у самого поля, они ни во что не вникали, — как цыгане, нанимающиеся на работу то тут, то там. Завтра, наверное, выйдут на сбор винограда.

День был ясен и полон жизни. Запыленные парни налетели на форт, выхватили из-под ног Вили и Ури продукты. Расстелив рубашки в тени повозок, они разрезали буханки и наливали суп из большой закопченной алюминиевой кастрюли в жестяные тарелки.

Все вышли из форта. В нем было душно. Выгоревшая, пропотевшая кожаная обивка отдавала волглым теплом. Вили и Ури остались одни, каждый в своем углу. Вили оперся спиной о дверцу машины. Ури, скрестив руки, поглядывал на черную, массивную стрелку горючего. Незаметно для себя он задремал.

— Что же ты, Ури?

— Не хочется выходить. Каждый год одно и то же.

— В этом году кукуруза хороша. — Вили положил руку на переднее сиденье рядом с локтем Ури. — Надо выходить и браться за работу...

— Подожди, не спеши... не спеши убежать.

— От чего мне убежать?

— Мы ведь еще не говорили о главном. Почему ты решил уйти в армию, отец? Что тебя заставило сделать это?

— Ури, Ури, зачем ты все усложняешь? Я записался добровольцем, как и тысячи других. Чем я хуже Бен-Давида, Реувеле, Соньки? Я доброволец. Должен же кто-то быть добровольцем?

— Но тебя никто не просил, никто. Тебе тоже надо немного отдохнуть.

— Я не хочу отдыхать. Сколько, ты думаешь, мне лет?

Ури почувствовал, что они словно ведут игру,

перебрасываясь словами, как мячиком, будто он все время висел в воздухе.

— Ты не должен был записываться добровольцем. Если на то пошло, то это должен был сделать я. (... Можно было бы сказать ему: вот ты снова опередил меня. Опять мне не остается ничего другого, как только подражать тебе. Когда, наконец, ты успокоишься и начнешь просто наблюдать, как я ворочаю делами?).

— А я говорю, что ты этого делать не должен. Ты еще не успел побыть в киббуце. Но если бы ты решил уйти, я бы тебе слова не сказал.

— Ты хочешь, чтобы я тебе тоже ничего не говорил? Хорошо. Но я не понимаю, что здесь у вас произошло. Я имею в виду у тебя и у всех. Я, например, уверен, что лучшее, что я могу теперь сделать, это сидеть дома, жить в Гат-Хаамаким... Я бы не стал себе портить жизнь из-за войны. Не знаю. Мне трудно объяснить это. Я думал, что мы наконец-то проведем несколько лет вместе.

Вили просунул руку под рукав рубашки Ури, туда, где кожа была более прохладной и гладкой. Он сжал ему руку долгим, крепким пожатием.

— Уриле, не волнуйся. Настанет время и для долгих бесед. Я думаю, ты не обидишься, но сегодня, теперь, ты смотришь на жизнь односторонне. Конечно, и ты кое-что понимаешь довольно широко, но все же это понимание человека незрелого, ребенка. Представь себе, как воспринимает растущую плантацию тот, кто работает на ней и как — маленький росток. Есть некоторая разница, правда? Ростки никогда не покидают плантацию, а те, кто их сажают — существа подвижные. Но и они всегда возвращаются в часы орошения, удобрения, опытов... —

Из группы полевых рабочих до них донеслись голоса, звавшие Вили. Ахарончик и еще кто-то приблизились к форду. Наступил час смены. Вили поднялся.

— Старинная притча, но кое-что в ней есть... А ты,

Ури, — сабра, и раз так, наплюй на меня и на мои притчи. Ну, я пошел работать. Ты не хочешь присоединиться?

— Нет, я вернусь с ними. Устал. Лягу поспать, а насчет того, о чем мы с тобой говорили, я все равно с тобой еще не согласен.

— Оставь ты этот вопрос... Отдохни немного — это важнее. Если сегодня закончим рано, я зайду разбудить тебя. Ты спишь у Этель, да? Когда встанешь, пойдешь к Рутке...

И добавил издаലെка: "До свидания, Ури, спи спокойно".

— До свидания... Какая у вас жара. Поехали?

Это уже относилось к Ахарончику и к Аврахаму, которые подошли к форду и начали копать в моторе. Ури еще раз взглянул на Вили; тот, уже в очках тракториста, проверял ножи и что-то кричал около огромной движущейся гусеницы. Возле него суетился Шайке. Биберман был опытным полевым рабочим, но сегодня он работал как помощник Нафтали.

Ахарончик засунул под сиденье Ури два длинных острых ножа. По-видимому, они искривились, наткнувшись на камень. Ахарончик вез их домой, чтобы отдать слесарю и вернуть в исправности. Аврахам уселся рядом с ним и тотчас же повернулся назад:

— Привет, Ури, что слышно?

Они пожали друг другу руки. Ахарончик повел машину, и никто не побежал вслед, размахивая руками: подожди, мол, подожди! Ури удивился: "А где же остальные?"

Аврахам повернулся и, серьезно глядя ему в лицо, сказал: "Они поедут на следующей платформе, когда нагрузят ее, — вместо грузчиков, которые уйдут часа на полтора обедать".

Он говорил, и чувствовалось, что серьезность его вызвана не словами, а занимающими его мыслями.

Машина изменила направление и повернулась в сторону высящихся на горизонте гор. Кипарисовая аллея. Плантации. Ури понемногу успокаивался. Они

ехали быстро, дышалось свободно. Он удобно откинулся на мягкое сиденье. Время от времени Аврахам бросал на него мимолетные взгляды.

— Так что слышно, Ури? Как прошел выпускной вечер?

— Где?

— Где!..

— Ну, где?

— В "Кадури".

— В "Кадури"? Так себе. Фисташки, фрукты, речи. Получили свидетельства.

— Значит, Вили уходит в армию, а?

— Да.

— Ты уже виделся с Руткой?

— Нет, я приехал час тому назад.

— Пойди к ней. Правда, после обеда она бывает занята, но вечером или под вечер...

Аврахам опять повернулся вперед и оставил Ури уже в другом настроении, — некоторого удивления, незначительного, но все-таки чувствительного: откуда у него эта осведомленность? Ури внимательно посмотрел на этого человека.

Аврахам был высок и строен. Светлые мягкие волосы вились надо лбом, на затылке золотистый нежный хохолок был присыпан серой пылью. Он закрывал своим телом переднее стекло. Так было у него всегда — он знал свое место в жизни и занимал его полностью, даже когда расхаживал по двору.

Тщательно выбрит; может быть, он очень следил за собой, а может быть, — лишь казался всегда свежеевыбритым благодаря светлым волосам. Кожа его покраснела от загара, как у всех блондинов. Но если бы у него на спине разорвалась рубашка, у плеча можно было бы увидеть нежную белую кожу, покрытую большими веснушками и мягким золотистым пушком. Он был уже в том возрасте, когда лицо привлекательно морщинками, обозначающимися вокруг глаз во время смеха.

Ури не испытывал к нему никаких особых чувств.

Он не был киббуцником-ветераном и, казалось, ежедневно избавлялся от всех запахов, которыми пропитывался во время работы. После ду́ша он прохаживался по двору, как обновленный. Дело свое знал, был отличным трактористом и работал точно, хотя и медленно. Возможно, именно это так удивляло всех. Уж был бы хоть бездельником!.. Каждый вечер он отмывался и уединялся в своей комнате.

... От Нафтали днем и ночью пахло полем. Илана не расставался с запахами фарго даже по дороге из бани. Наши ребята слонялись, меняя одну работу на другую. Получив задание, они по два дня обсуждали его, да так, будто на всем свете были только они, сегодняшний день со своими заботами, завтрашний день со своими, да то, что надо для него подготовить. Так и движется человек шаг за шагом — от сегодняшнего дня к завтрашнему, от дежурства к дежурству. Конечно, есть еще разговоры о жизни, чтение газет, и время укладывания детей, и прогулки с малышами, но все это так же неразрывно связано с работой, как облако с небом, как ветер с воздухом, как грохот с мотором, как желток с яйцом.

Есть, конечно, и другие — вроде Аврахама, бывшего недавно и по-настоящему еще не освоившегося. Что такое пять лет — смех, да и только! Вот ты, Ури Кахана, здесь уже девятнадцать лет. Один из старожилов. А когда ты был в крови Вили, разве то время не считается? Детские размышления о том, что было до того, как тебя породил отец — неужели было время, когда тебя не было? А что скажет по этому поводу Рутка? Глаза Ури закрылись. Форд выехал на дорогу. Аврахам Горен снова попытался пробить путь к его сердцу.

— Какую ты получил специальность? Полевые работы?

— Ага.

— Я вижу, у тебя плохое настроение...

Ури ограничился холодным взглядом — глупости.

— Во всяком случае, если ты тракторист, тебе мож-

но найти применение. Ахарончик, я вижу, тебе этот разговор неинтересен. Вот тебе заместитель Вили. Тоже Кахана.

А что, если я его разозлю? Ведь сейчас мне позволительна любая глупость! А почему бы и нет? Хватит! Нет другого пути заставить их замолчать. Каждый лезет с "тем же Кахана". Что я, боюсь его? Кого — Ахарончика? Нуль в квадрате...

— Рады избавиться от Вили, а? Он еще работает в поле, а ты уже ищешь ему заместителя? Он, наверное, тебе очень мешал?

А ведь это глупость, самая настоящая глупость. Ведь мистер Аврахам Горен и так чувствует себя неважно, к чему все это? И все-таки он продолжал:

— Я еще не член киббуца, и, несмотря на то, что я сын Вили, говорю вам, это — скандал! Думаете, наверное: какое нам дело? Нашелся дурачок, который записался в добровольцы. Почему бы вам не послать меня? С каких это пор сорокапятилетнего мужчину посылают в армию? Не хватает холостых в киббуце? Оставь. Меня это не интересует. Меня не интересует, что ты скажешь. Я знаю, знаю. Он сделал это неожиданно, как будто киббуц — маленький ребенок, которого можно удивить. Он не сказал никому ни слова. Хо-ро-шо!

Аврахам молчал, но Ахарончик успел вставить:

— Теперь уже поздно.

И добивает его: "Скажете, наверное, слава Богу!".

— Ури, ты глуп!

Когда вышли из машины, каждый направился своей дорогой. Аврахам спешил к столовую, на обед. Ури пошел в комнату Этель. А Ахарончик повел тахтящую машину к слесарной мастерской.

Ури в одиночестве шел между бараками. В комнате Этель он не застал никого. Пол чисто вымыт и в вазе цветы. Покрывало немного сдвинулось с дивана и обнажило пружины, покрытые простыней неопределенно-розового цвета. Все было на своих местах,

только его сумка, лежащая в кресле, казалась случайной. Он опрокинул ее и высыпал содержимое: прибор для бритья, грязное белье и некоторые ценные вещи: складной нож, краткий справочник палестинских растений, компас, походную шапку, которую он засунул в сумку, когда садился в машину Иланы.

Эти вещи он опять разместил в сумке и, полупустую, положил ее на место. Взял грязное белье в руку, на другую руку повесил сумку со всем необходимым для мытья. Двор в этот проклятый час, не подходящий ни для работы, ни для отдыха, был совершенно пуст. Дома белели под солнцем, и ветер приносил с пустыря самые разнообразные запахи. Вонь навоза, куриных перьев и желтоватых пятен помета сливалась с запахом сложенных в ящики яблок, моркови и картофеля.

Кислый запах коровника, смешавшись со сладкой пылью сена и трав, поглощался царящим над всем запахом молока. Сухой и мучнистый белый песок увлажнялся оросителями, и смешивались запахи — песка, сухой травы, зеленоватых кучек плесени, вымытых полов и растущих в глиняных горшках слив.

Из домов для детей доносились свои запахи: молока, мочи и банановой каши, кислого запаха детской рвоты на чисто вымытых полах. И железные ржавые сетки, водопроводные трубы, тракторы и керосин, сажа, мыло, карболка, хлор и развевающееся на ветру рядом с краснолицей прачкой мокрое белье тоже добавляло свои запахи, так же, как утюг и водяные пары, накрахмаленная рубашка и мусорный ящик; а за окном — запахи кухни, невымытых тарелок, ложек с прилипшей зеленоватой фасолью. Запах лошадей, хлева. Запах отяжелевшей, почерневшей шерсти, свисающей покрытыми грязью кисточками. Запах читального зала, протертых от времени и множества рук обложек, клякс, пешки и королевы в шахматной доске...

Запах вымытых волос, пенящихся белым чубом

над тазом с горячей водой. Человеческого пота, спин, плеч, рук, мускулов.

Запах зеленой кукурузы, нарезанной и раздробленной на мелкие части, заполнившей силосную башню. В башню вмещается сто двадцать кубических метров силоса, который пролежит спрессованным до зимы, пока не пожелтеет, пока его не отвезут в тележках в ясли; коровы съедят его и будет молоко. Белое молоко! Запах белого молока, запах без цвета, густой, женский, материнский, безграничный; целый мир молока — обильный, бескрайний, величественный. О, мо-ло-ко!

Вместо того, чтобы идти прямо в прачечную, оттуда на склад, а оттуда прямо в душевую, Ури стоял на одном месте и смотрел, как рубят силос у основания огромной круглой башни. Всего-навсего трактор, резалка и несколько человек, а сколько веселья!

Платформа сбрасывала переполнявшую ее через край ношу, железные вилы подымали в воздух зеленые змейки кукурузы — силос двигался полным ходом!

Из узких окошек башни, расположенных наверху, долетали звуки песни и пляски. Те, кто были там внутри, утрамбовывали силос, работали, видно, с удовольствием. Силос, силос, — какой веселый день!

Ури направился на склад. В прачечной этот единственный сыночек бросил свои вещи, не разложив отдельно белье, брюки, носки. Так и ушел, а прачке будет лишняя работа.

В помещении был полумрак. Полы политы водой. Там сидели беременные женщины, у их ног — столик для рукоделия, на нем — все необходимое для наклеивания заплат и красные коробки от чая, заполненные пуговицами.

Женщины были рады приходу Ури, и опять началась длинная беседа: "Здравствуй, Ури, как поживаешь, ты уже видел маму?", — прибытие Ури дало им пищу для новых разговоров. И вот они приветливо кивают ему головами, три беременные женщины

в белом, машут руками, и становится ясно, что только они одни знают, какие происходят теперь по-настоящему важные события.

Они знают секрет и хранят его в глубине сердца. Самоуверенные разговоры беременных. Ури обратился к самой старшей из них и самой полной, жене Нафтали, и сказал: "Привет тебе от Нафтали, Двора! Он в поле".

Двора — женщина мягкая, — олицетворенная женственность. Это несколько затрудняло ее взаимоотношения с людьми, и со временем к ее характеру прибавилось немного твердости. Двора, я могу поклясться, что у тебя на каждый килограмм веса — килограмм наивности. Она обожала тайны, часто рожала и любила посидеть с подружками. Работала дояркой. Те, кому нравилось посмеяться над ней, должны были бы стыдиться этого.

Она сказала: "Я знаю, так это и идет последнее время. Он всегда уступает другим и берет на себя второе дежурство. Я его не видела, наверное, неделю. Ведь он теперь спит на балконе... жарко... и я...", — она засмеялась сама над собой.

Другая открыла рот, и у Ури глаза чуть не полезли на лоб: Динка! Пришел и ее черед. Дети старше десяти лет называли ее "заразой". Она была постоянной экономкой детской кухни. Как она изводила их из-за каждого банана! Какой была молчаливой! Ее дочь жила с отцом в городе — какие-то семейные нелады... А теперь она жила с этим длинноногим, как его там зовут — Залман-сторож. И вот у Динки будет ребенок. Может быть, по этому случаю она выдаст еще по одной конфетке к чаю? Ури, дети, еще одна конфетка!

Динка сказала: "Ты, наверное, ждешь Гуту?"

Третью женщину Ури не знал. Новая? Гостья? Из новоприбывших? Более непонятная, чем ее подружки. Вдруг он почувствовал, что смущается. С чего бы это?

— Нет... не обязательно Гуту. Мне просто нужно получить кое-какие вещи. Гуты нет?

— Сейчас она вернется, подожди минуту.

И эта третья, молчаливая, говорит — скромно, не поднимая глаз над шитьем: "Вот она идет!".

Нет человека, более заслуживающего своего имени, чем Гута*. Она вошла стремительно, одним взглядом окинула комнату, заметила ошибку в работе новенькой, обняла Ури за плечи костлявыми руками.

— Здравствуй, здравствуй, Ури, минутку... — И наклонилась над шьющей, чтобы посоветовать ей: "Эти швы всегда делают с левой стороны. Крепче и красивее, понятно?" И опять обратилась к Ури: "Ну, Ури, твои вещи уже ждут тебя. Видишь? Там, на шкафу. Я попросила Гдалью положить их туда, чтобы никто ничего не мог взять. Ну, ты доволен? Ты ведь дома с утра, не правда ли? Илана сказал мне, что ты приехал..."

Белье, сложенное стопкой, белело на высоком шкафу. Ури встал на цыпочки и взял его. Приятный запах свежести и туалетного мыла. Гута продолжала: "Ну, тебе нужно еще что-нибудь?"

— До сегодняшнего дня мне не хватало многого. — Ури стало весело.

— Ты ошибаешься, Уринька. Ты сам не знаешь. Мы слышали, как там вас воспитывают, слишком многое вам позволяют. Теперь привыкай к порядку. Носки — на ногах, а не под окном. Платок в кармане, и не смей вытирать им ни засаленный винт, ни ось. Ох, уж эти полевые рабочие! Ты ведь будешь работать в поле, правда? Ури становилось все веселее.

— Вот именно. Устрой мне протекцию к своему Песаху.

Гута уже занялась работой. Она складывала белье, наводила порядок и всем помогала. Работая, она звонко рассмеялась, — смех привел в движение ее голову, но оставил спокойным худое и крепкое тело.

— Может быть, это ты составишь мне протекцию к моему Песаху? Может быть, ты мне сможешь устро-

* Гут, гутэ (идиш) — хорошо, хорошая.

ить хоть один свободный день? Ну, хотя бы одну субботу! Одну субботу!

Он уже собирался уйти, но она задержала его: — Уринька, подожди!

Она поманила его пожелтевшим от курения пальцем: "Пойди сюда!". И с той таинственностью, с какой дети открывают секрет, подвела его к сундуку с открытой крышкой: "Смотри".

В сундуке стопками было сложено шерстяное нижнее белье, тонкое и толстое. Трикотажное белье — теплое и легкое, мягкое и шершавое — от золотистого цвета до белого как молоко.

Она была спокойна, но в голосе появилась мягкость:

— Это для Вили. Он забывает, что каждую зиму его мучают ишиас и ревматизм. Но мы не забыли. Это началось еще... еще до моста. Они попали в воду... он лежал... Он был, кажется, первым, начавшим ревматическую карьеру. Эти вещи ему пригодятся, правда?

Для них Вили действительно уезжает. Ури принужденно кивнул головой и поспешил выйти. Может быть, это действительно не так уж страшно? Вили уходит в армию, и все. Может быть, странно, что Ури — земледелец, отличный бегун, инструктор, придиричивый в мелочах, уже около двух часов ходит с сотнями мыслей и тысячью чувств, до предела взвинченный и бесконечно озабоченный. Может быть, все же ссора с Аврахамом Гореном и с Ахарончиком была напрасной? И вообще — что-то нехорошо, Ури! Просто... некрасиво! Забудь все и иди в душевую... Легко сказать!

Вот ты вышел, не попрощавшись с Гуттой. А она высказала умную и ясную мысль насчет мобилизации Вили. "Ему же будет лучше". Что-то, очевидно, происходит в киббуце, и все это чувствуют. Они медленно втягивают это событие в свою жизнь, но ни у кого из-за этого сердце не забьется сильнее. Они, как больное тело: где ни дотронься — везде болит.

Ури поспешил в душевую. Ударом ноги открыл дверь... И сразу же до него донесся крик — намылен-

ный, волосатый, потный, облитый водой, шумный, голый, в трусах, в рабочей серой майке или без нее; крик злой, покрытый потом, еле переводящий дыхание под струями воды, эгоистичный и добрый, готовый одолжить кусок мыла, смеющийся, поющий, насвистывающий мелодию Шопена, и сердито — "Закрой дверь — кто там?"

Удивительно, что в такое время душевая полна. Но тут же Ури понял, в чем дело. Здесь был Песах со своими ребятами из силосной башни.

Сам Песах стоял перед зеркалом и так старательно намыливал лицо, будто пытался втереть мыло в кожу. При каждом движении купальный халат шевелился у него на плечах. Окружавшие его парни, большинство — ученики летнего лагеря, еще не нуждались в бритье. Другие были ребята, не прижившиеся в разных бригадах, которых он собрал и составил силосную группу.

Ури любил и уважал Песаха. Положив свои вещи и вынув прибор для бритья, он подошел и встал у зеркала.

— Здравствуй, Песах.

— Кто это? О! Ури! Я слышал о твоём приезде. Аврахам сказал мне. Здравствуй, здравствуй. Ну, я уже почти побрился. Что слышно?

Ури раскрыл прибор и намочил лицо.

— Горячей воды нет?

— Скажи спасибо, если будет зимой.

Не только все тело покрыто раздражающими солеными струйками, не только горло, нос, уши полны острой пылью от сена, но словно вся душа высохла.

А какая чудесная у нас вода! Подожди, еще немного, дай постоять перед струей! Без душа тело покрылось бы сухой, зудящей сыпью. Веселее всех были ученики. Они бросали друг в друга куски взбитой мыльной пены, качались на поперечных балках, брызгаясь водой... Их рабочий день кончился, сегодня он был короче обычного. После обеда вместо них придут добровольцы из других бригад, воспитательницы, два секретаря и кассир. Все соберутся, будут плясать

на постели, созданной из сыплющейся кукурузы, будут воспевать силос, прославлять коровники...

Песах начал вытирать свой прибор, и Ури, боясь упустить его, посмотрел в его сторону.

— Скажи мне, Песах...

— Скажу, скажу...

— Ты кончил работать?

— На сегодня хватит. Мы начали в пять. Я хотел, чтобы отдых был подольше; там ведь страшно жарко.

— Так ты идешь отдыхать?

— Я — отдыхать? Теперь я должен полдня составлять план работы, списки, подсчеты и план на завтра. В пять заседание... и это жизнь, а? Плановик! Чтоб ты никогда не попался так, Ури!

— Чем ты недоволен? Тебе ведь давно не приходилось этим заниматься.

— Как давно? Четыре года тому назад. Точно четыре года. Это давно?

Ури помнил. Тогда он учился еще в школе, а Песах собрал парней для прополки кукурузы. Ночью он приготовил десятки бутербродов. Утром они запрягли лошадей и в двух телегах — на одной возчиком Песах, на другой — Ури, выехали в поле. По дороге Песах пел, довел всех до сумасшедшего веселья, набросился на кукурузу, и никто не мог его перегнать. На прополке он был самый быстрый и ловкий. Они не успели оглянуться, как уже сидели за вторым завтраком, пили холодный сок и жевали большие ломти хлеба с вареньем.

После обеда Песах вызвал молодежь на соревнование. Ури был самым старшим, а это обязывало. Как он бежал! И надо понимать, что не просто бежал. Бежал и полол, бежал и полол! Песах все время его догонял, остальные остались позади. Когда стемнело, все замертво упали на землю и уронили лица в нежные ростки кукурузы.

По дороге домой они все время смеялись, веселились и в столовой, и ночью. А потом, дома, Песах рассказывал всем, что Ури обошел его на прополке. Два-три дня дети не переставали говорить о сорев-

новании. Мать сказала, что глупо подвергать такому испытанию маленького мальчика. Да и зачем?

Песах прошел в душевую. Ури убрал свой бритвенный прибор и тоже перешел туда. Мальчики шумно одевались. Натянув майки, они, толкаясь и спеша, направились в столовую.

Аврахам мылся медленно, и густая мыльная пена плавно стекала с его мягкого тела. Песах стал под струю воды — приземистый, жилистый и неожиданно волосатый; его лысая голова, коричневая от загара, напоминала спелый орех. Ури тоже открыл воду, и трое мужчин мылись одновременно.

Ури: Песах, как дела в поле?

Песах: Видишь, я на силосе. Спроси Аврахама.

Аврахам: Ури сегодня злой.

Ури: Молчит. Струя воды прекратилась.

Песах: Что вдруг?

Ури: Глупости! А как силос?

Песах: Неплохой! Знаешь, Ури, я хотел... ты знаешь, есть несколько отраслей... ты изучал полевые работы, да? В чем ты специализировался?

Песах намыливается, выходит из своей кабины, подходит к Ури и присматривается к нему. Оба намыливаются друг против друга.

Аврахам: Нашел о чем спрашивать! Из-за этого у нас и возникла небольшая стычка. Может быть, лучше я тебе отвечу. Ури — полевой рабочий — отличный, дипломированный полевой рабочий! Стоит включить его в полевые работы. Его место известно!

Песах с улыбкой человека, который собирается лишь рассказать анекдот (как бессильны бывают иногда добродушные люди, когда они пытаются казаться язвительными!): Хорошо — это точное определение, но я жду простого ответа, конкретного, ха-ха... ну, Аврахам, что ты скажешь?

Аврахам: А может быть — он специалист, почти как Динка?

Ури: Я скажу тебе правду, Песах, я бы хотел работать в поле... Но я не знаю, смогу ли я постоянно там

работать... ты понимаешь... я мобилизован в армию... В любой день меня могут призвать. Может быть — и на длительный срок. Не лучше ли сначала мне поработать где-нибудь еще... чтобы немного войти в курс...

Песах: Увидим, отдохни несколько дней, присмотришься к хозяйству. Тебе нужен отпуск? — Возьми отпуск. В связи с... (конечно, самое важное еще не было сказано. Пора уже сказать ему — слова сами просятся) в связи с отъездом Вили... да, я слышал, ты устроил небольшой скандалчик по этому поводу.

Ури перестает намыливаться, он весь — внимание, ему очень неприятно, очень.

Песах: Что касается Вили, понимаешь, я не хочу вмешиваться в это дело. Может быть, я бы мог тебе сказать кое-что из того, что сказал ему самому. Ты знаешь, что Вили, собственно говоря, никому в киббуце не подчиняется. Бессмысленно просто выйти и кричать: вы разрешили ему, вы послали его, вы согласились, чтоб он ушел! Нет, нет... это не так. Есть люди, положение которых всем столь ясно, что дела их вне обсуждений. И нельзя обвинять в этом киббуц, понимаешь? К примеру: найдется ли такой, кто предложит Аврахаму поменять работу, или проверить, правильные ли требования предъявляются Броше? — Не найдется. И, может быть, хорошо, что это так. Зачем нам осложнения в работе? Ведь эти люди точно на своих местах. Ни у кого нет сомнения в этом, понимаешь?

Шум сильной струи воды умолкает, и вновь появляется мокрый Песах, подхватывает свое полотенце, вытирает волосы.

— И Вили такой! Когда он пришел в киббуц и заявил, что едет за молодежью в Тегеран, ему сказали что-нибудь? Поехал в город на сбор денег, — ему сказали что-нибудь? А когда — слушай и не обижайся, ты знаешь, что Песах говорит тебе правду — а когда он устроил своего Ури в школу "Кадури", на него сердились? Нет. Мы согласились, чтобы Ури два года пробыл вне дома.

Теперь трое мужчин, повернувшись друг к другу

спинами, энергично вытирались. Ури и Аврахам старались не пропустить ни слова из сказанного.

— Вили пришел в секретариат и заявил, что он дал присягу. Так что?.. Я тебе скажу — киббуц кажется рабством только тем, кто в нем не живет. Для Вили киббуц — родной дом. И то, что он имеет некоторую свободу — это не анархия, это не опасно, он не обратит ее в произвол. И все-таки, не каждому я бы дал эту свободу. Даже не дал бы ее Ури или Ноэ, или даже Аврахаму Горену, потому что, кто знает, не превратится ли она в их руках в этот самый... произвол, понимаешь? — Чуть помолчав, Песах продолжал:

— Вили — один из тех, кто ежедневно строит киббуц. И он занимает здесь видное место, он сделал очень много... К тому же — иногда бывает кризис в семейной жизни, даже в самой идеальной семье, и если Вили уйдет на некоторое время в армию, я тебе скажу правду, мы действительно будем довольны. И это не скандал, наоборот — это красиво! К тому же, мы чувствуем, что один из ветеранов должен пойти, один из нас, из первых — тогда, возможно, и там дела пойдут немного лучше. Там будет кто-то с холодной головой, понимающий. И если ты знаешь Вили, то легко поверишь, что как только он придет туда — сразу станет там большим "кнакером", и это хорошо. Он организует все! — культурную работу, флаги и питание, жалование и отпуск — мы его знаем, на него можно положиться. Ни тебе, Ури, ни нам не придется за него краснеть.

Так что я хотел сказать? Вот что. Что касается Вили — не бойся, и главное, не устраивай скандалов ни Ахарончику, ни Аврахаму. Потому что Ахарончик не будет спать потом всю ночь и испортит из-за тебя пять кос, а Аврахам — ой, об Аврахаме не спрашивай! Ха, ха...

Это было ново. Это давило, как неуклюжая шапка на голове. Самым худшим в словах Песаха было то, что выходило, будто Ури устроил скандал Аврахаму и Ахарончику. И Аврахам теперь молчаливо одевает-

ся, как будто его действительно душит обида. Это значит, — что-то изменилось. Он уже не прежний ребенок, желающий рассердить взрослых и бегающий за ними с криком: "ба-ба, ба-ба", а они вроде бы сердятся на него и топают ногами. Нет, оказывается, его слова принимают во внимание и обдумывают. Может быть, тот прием с музыкой, которого он ожидал, был устроен ему по-иному: он сразу же вошел в их мир, в серьезный мужской разговор, и ему предлагают настоящую дружбу, иначе ведь и обида высказанного не затрагивает и не ранит.

Аврахам оделся и вышел из душевой. Песах крихтел, наклоняясь, чтобы натянуть носки.

И заметь, что именно теперь, когда он выглядел как всегда — недружелюбным, неприятным и вместе с тем таким домашним — это упорное натягивание носков и эта жестяная коробка простых папирос, переходящая из одного кармана в другой, — все это делало Песаха героем,.. во всяком случае, в какой-то степени личностью, излучавшей геройство, словно весь героизм киббуца сосредоточился в людях, имеющих немного больше прав и немного больше забот. Их усталые, сгорбленные жены готовят посылки всегда в самый необходимый момент, их героизм сосредоточен на постоянной заботе о наполнении двух- или трехсот баночек из-под протстокваши. И все они не очень-то волнуются из-за отъезда Вили, хотя в глубине души любят его.

Именно те, кого не очень волнует его уход...

БУДНИ, НОЧИ И ПЕСКИ

Ури вышел из душевой в мягкий и добрый час. Теперь ему предстояла встреча с матерью. Где она может быть в это время?

Двор детского сада был тих и безлюден, и Ури слегка удивился: куда исчезли все эти сорванцы?

Двери были полуоткрыты, площадка для игр пуста и сквозь окна стёны класса выглядели такими равнодушными, что можно было быть уверенным: там не найдешь живой души. Только под китайской сиренью, под тенью которой в редкие теплые зимние дни вешали гамак, привязывая его с одной стороны к волейбольному столбу, и к телефонному — с другой, только там, под сиренью, копался Яири, самый удалой шалун в окрестностях. Он копал землю и серьезно и деловито что-то искал. Ури постоял и полюбовался им.

— Эй, малыш, для кого ты тут копаешь могилу?

Мальчик поднял на него глаза, в них сверкнула злость. Это замечание явно не относилось к делу, которым он занимался, и потому его глаза подернулись слезой.

— Для тебя, — воскликнул он гневно и вернулся к своему делу.

Ури рассмеялся и хотел попытаться продолжить разговор. Но в эту минуту к нему подошла Рутка и положила на его плечи обе руки.

Ури повернулся со смехом, не зная, кто это. Не успел он удивиться, как Рутка уже взяла его голову в руки и поцеловала в губы долгим и влажным поцелуем. Она отодвинула его, чтобы полюбоваться, и опять обняла, положив голову на его плечо, покрытое полотенцем.

— Ты свинья, не мог прийти ко мне раньше? Я что, искать тебя должна? — она опять посмотрела на него.

— Я был с Вили в поле.

Она приняла его ответ, как самую простую вещь, как будто Ури сказал это между прочим. Он же был полон желания вытереть губы и щеку, маленькие влажные капли жгли его, и ему казалось, что с лица каплет. Рутка никогда не целовала его, Вили делал это только когда уезжал.

Он приподнял полотенце и начал вытирать им

шею, волосы, лицо и затем снова накинул его на плечо.

— Ты не любишь поцелуев, а?

Рутка, все та же Рутка, самая умная женщина в мире. Вместе с молоком он впитал знание, что от нее никогда ничего не скроешь.

— Дело не в поцелуях — жарко.

— Хорошо, Ури, я бегу. У меня теперь полно забот. Все детские сады идут работать в силосную башню. Представь себе мои волнения, когда они будут взбираться по лестнице, и что будет там, внутри, и как потом уговорить их сойти вниз.

— Детские сады, — повторил Ури. Наверное, так бы он разговаривал с любой воспитательницей. — Их тоже берут для веса? Вместо всех детских садов достаточно было бы взять одного Илану.

Рутка смеялась от всей души. Смех этот был красивый, продолжительный, немного деланный. Она обняла Ури, и несколько шагов они прошли вместе.

— Илана пойдет с садиком Иланы. Приятно наблюдать, как дети любят его, а уж когда он их возит на машине...

— Я с ним приехал.

— С Иланой? А, да, он повез ребят на Киннерет, ребят Вили, они закончили на этой неделе.

— Вили работал с ними до конца?

— Нет. Он закончил немного раньше. Еще успел покосить и позавчера дал присягу.

— Да.

— Ничего, Ури, — Рутка сделала веселое лицо, собираясь с ним расстаться. — Мы приготовили ему подарки, он доволен, и все довольны, кроме, может быть, маленького Рурика, а? Ха-ха. Послушай, Ури, пойдешь к Этель, она сказала, что пустила тебя к себе, ты, наверное, устал, а? Я приду разбудить тебя к ужину. Хорошо?

За силосной башней и коровниками расстилались бесконечные поля, вспаханные или покрытые кукурузой. И в белеющем дрожащем тумане вырисовы-

вался ряд эвкалиптов, за которыми сноповязалка Вили безжалостно ударяла по зеленым и прямым стеблям.

Ури кивнул головой: "Хорошо, мама. Я действительно умираю от усталости".

Рутка зашагала дальше. Будни, ночи и пески — вдруг снова прозвучало в ее душе.

Будни, ночи и пески? Что означают эти слова? Глупости, но она никак не могла от них избавиться. Они снова и снова звучали в ней, как наскучивший, не дающий покоя мотив. Будни, ночи и пески — что это? Эти три слова, сверлящие мозг, стучащие в сердце, неясные, нелепые, как что-то непостижимое в темноте. Будни, ночи и пески — что это? Быть может, слова эти родились при первом взгляде на сына, шутившего во дворе с малышом. Она увидела Ури, и тотчас лопнули шлюзы забвения и забот, и она погрузилась в глубокие воды постижения главного: какое пробуждение в сердце, какое столпотворение мелких, когда-то забытых подробностей, как много они открыли ей сейчас! Все, что было связано с Ури, все, что может воскресить воспоминания о нем — все это теснилось в глазах, пальцах, ушах, обостряло чувство. Все перемешалось — будни, ночи и пески. В чем же все-таки истина?

Давний грех. Дни до рождения Ури. Дни жизни в деревне.

Она все шла — и три слова, как заколдованные, снова и снова возвращались из темноты во всей своей тайне... будни, ночи и пески... она шла и вспоминала, шла и вспоминала.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА — БУДНИ

Один удачный год на рынках Лондона стал причиной ошибки прибрежных плантаторов, — они увеличили урожай грейпфрутов. Дошло до того, что в наступившие затем тяжелые годы кризиса хвалили тех, кто срывал для себя грейпфруты, даже если это были киббуцники. Двести грейпфрутов в день, двести апельсинов.

Под кухонным столом были навалены две кучки — апельсины и грейпфруты. Их острый запах чувствовался в столовой в тот час, когда пили горький серый чай. К вечеру голод становился настолько невыносимым, что набрасывались на фрукты и мгновенно их уничтожали. Утром в канаву выбрасывали остатки обеих куч, на их место наваливали новые.

В шалаше, служившем столовой, находился и склад одежды. В ящиках хранились польские гимназические формы, щедро пересыпанные нафталином, в углы для экономии места были втиснуты измятые шляпы.

Там было девять девушек — четыре из них работали на кухне и пять — на складе. Рутка работала на складе. А чем занимались парни? Один — покупками, один — культработой, двое — молодежным движением, работой вне киббуца, один был секретарем, а Нафтали — первым возчиком. Он возил хлеб из пекарни в Хедере земледельцам двух маленьких деревень. Каждое утро он выезжал на железнодорожную станцию и получал четыре мешка хлеба, нагружал их на повозку — она принадлежала пекарю Люстигу, и поэтому иногда он получал также мешок молотого ячменя для лошади. Повозка, с трудом продвигаясь по песку, останавливалась то у одной группы барачников, то у другой. Занимался он только распределением. Деньги раз в месяц получал Люстиг. В этот день он приходил в киббуц и сидел, попивая чай с Нафтали и другими парнями.

— Я вам скажу правду, ведь вы же пионеры... выбрали времячко приехать в страну. Даже арабам и собакам нет теперь работы. Слышите, собакам! И что вы думаете?!.. Только вы не едите как люди?! А Трахтман, вы думаете, ест хлеб?!.. Вы думаете, он его покупает?!.. Крохи собирает с пола. Это не дело, совсем не дело. Все должны платить деньгами. На весь день одни апельсины, других фруктов нет. Так можно и умереть. Может быть, вы скажете, что Трахтман покупает пирожные в городе? Холеру он ест, а не пирожные! Вы, сколько вас там — сорок человек?.. Вы — мои лучшие клиенты, все-таки берете двадцать буханок в день, иногда на субботу — тридцать. Не платите? Неважно. Я вас знаю. Иерусалим уплатит, я вам говорю, покроет все долги...

На отдаленном участке был маленький рабочий отряд. Им совсем нечего было есть, когда появлялись в киббуце, сердце сжималось при виде дюжины истощенных парней, слоняющихся по двору без дела.

Они посеяли траву рядом со столовой, посадили цветы. А Ахарончика послали в сельскохозяйственную школу "Миква". Перед этим они долго спорили. Парни в длинных брюках, с вытянутыми худыми лицами, говорили о пролетариате, а затем собрали вещи и ушли в город. Мир плохой, плохой, горький и жестокий до самого основания, и только безжалостное его уничтожение без лишних эмоций, без коалиции с буржуазией и еврейскими богачами и союз до смерти с большевиками Советской России при коминтерновском братстве, стремление к одной-единственной цели — только это, и только так.

А в глазах отражается страх голода, будней и мотыжной революции. Парни разошлись в тишине, и в сером утреннем свете их лица выглядели удлинёнными на фоне палестинского паровоза и вагонов, издающих запахи лизоля и сажи.

Нафтали на прощанье пожимал им руки, помогал взбираться в вагоны и тащил мешки с хлебом по железнодорожным путям.

Ребята уже были не в силах нести ответственность за участь девушек. Невыносимо было ощущать муки братьев и сестер, испытанные на собственной шкуре. Запуганная душа спасается тем, что уединяется, и опять было решено защищать лишь себя, заботиться только о личном кубическом метре воздуха и о собственном благополучии.

Поезд медленно тронулся, выпустил пары и дым, задышал глубоко и ровно. Нафтали отломил корку хлеба, выглядывающего из дыры в мешке: "Ну и паразитка!" — и поехал.

ВСЕ НАДЕЖДЫ — НА НОЧЬ

Ночи! Они поднимались с земли и застывали величественными озерами; они высились и ширились, затеняли сады и зажигали огни в поселках, впитывая в себя дневные шорохи и болтовню дня, принося с собой вместо них немногие звуки, выверенные, ясные и вдумчивые. Ночи забирали голубизну у неба и рассыпали ее среди верхушек деревьев, на выющихся тропинках, зажигали на небе маленькие тусклые огни, час от часу усиливающиеся.

Они поглощали закат и разжигали громадное зарево на западе, разбрасывали пылающие угли на юг и на восток, и на тучи, и на дорожную пыль.

Когда угли угасали, в палатках зажигался свет и из душевой возвращались мокрые полотенца. День, состоящий из нагромождения второстепенных дел, всасывался в песок и исчезал в нем; и наступала ночь, не знающая толпы и множественного числа, признающая лишь единственное, ночь, дающая жизнь лишь двум-трем важным делам, а, быть может, только одному — страсти или другому, не менее важному. Ночь сгушалась между палатками и людьми. Путь от одного человека к другому выглядел не как преодоление расстояния, а как путешествие, полное неожиданных

приключений, и становилось очень важным, пройдешь ли ты в столовую мимо его палатки или нет, станет ли скамейка, которую ты займешь, местом приключения; будет ли ужин тянуться дольше: глаза вглядываются, и сердце замирает, ожидая начала разговора, взрыва радости и остроумия.

Рутка любила это ожидание ночи после поглощения груды апельсинов и грейпфрутов, когда парни и девушки собирались в столовой, и начинался шум — споры и ссоры.

Рутка любила время, когда парочки уединялись и скрывались во дворе. Черноволосая Рутка была похожа на ночь в киббуце. Пуская дым из строгих ноздрей, затаив улыбку, прислушивалась она к шуму. Ее тело подчинялось чудесной радостной дисциплине, и она чувствовала полную гармонию, отбрасывающую покой и предвещающую победу; гармонию, которая, вызывая вулканическую радость, без опасения открывала ворота скопищам инстинктов в крови, и давала уверенность в том, что сумеет закрыть их с первым звуком утреннего звонка. Это ощущение гармонии словно трепетало под ее кожей. Она была кокетлива, и, надевая на голое тело синие шорты, становилась еще более привлекательной.

После горькой сигареты наступила очередь свежих долек апельсина, проходящих через пальцы одного из сидевших рядом. Язык и губы увлажнялись, и маленький твердый язычок сновал туда и обратно. Рутка смотрела на дым, на окна, на руки, вскидывающиеся в экстазе дискуссии. А вот встали и вышли Гута и Песах. Рутка сказала:

— Гута уже нашла. Так это и будет.

— Да, наступит и твоя очередь.

Биберман был увлечен дискуссией. Рутка перешла в их кружок. Может быть, подходит и ее время уединяться с кем-нибудь, но сегодня она еще одна. Жизнь намного богаче наших представлений о ней, и, кто знает, так ли уж на самом деле греховно то, что люди порицают, правда, дети?

То же чувство владело ею и раньше, в то время, когда было уже ясно, что они едут, что пароход отчаливает, что связь с прошлым порвана окончательно, что мама и бабушка уже давно грустят о ней в одной из темных комнат дома. Имя ее тогда было Ружа. "Ру-жа, — кричали ей с палубы, — иди сюда! Потанцуем!" И она решила, что с этого дня имя ее будет Рут или, если вы хотите, Рутка, и она решила, что с этого момента она будет танцевать.

Она знала, что теперь ее судьба в ее собственных руках. Все, о чем она мечтала, и все, чего боялась, превратится теперь в настоящую жизнь. Нет мамы, бабушки, нет и памяти об отце, который так болезненно воспринимал всякий произвол, всякую безнравственность. Ты имеешь право делать все, что тебе придет в голову. Можно транжирить — ура! Огромное богатство — миллионы минут, и любая из них полная, ясная и прозрачная — твоя! Любить до потери сознания! Быть отважной, дойти с друзьями до самых недоступных мест! Самозабвенно тратить жизнь, встречая ее с распростертыми объятиями!

Рутка стояла позади Бибермана. Ненужная дискуссия раздражала ее. Она была примерной девушкой, когда присутствовала при настоящей дискуссии: о хлебе, о работе, о заселении страны, о плантациях и рабочих. Но разговоры, порожденные бездельем, неумением, нежеланием распроститься с устаревшими привычками, вызывали в ней отвращение. Избалованный Биберман, опасющийся новых отношений и новых встреч, забаррикадировался нагромождением риторических фраз. Он призывал к спорам на любую, — важную или ничтожную, — тему. И в итоге, обратите внимание, как может отклониться общественная деятельность от истинного пути и превратиться в пустое разглагольствование. Его избалованность была даже мила, потому что такая черта характера, в сочетании с умом и интеллигентностью, может вызвать и симпатию. Его положение и в киббуце было заметным, и в сионистском движении

вне Палестины он занимал видное место. Ежедневно он водил Рутку в пески, но в ее обращении с ним всегда было немного иронии; она оставалась с ним чистой, холодной, независимой и была в состоянии в любую минуту уйти.

Во время выступления Биберман вошел в раж:

— Все это хорошо, но нашим лозунгом было, есть и будет — органический киббуц. Что означает органический киббуц, пожалуйста, скажи мне, что это значит? Слушай, киббуц... я имею в виду всегда, не только я, все мы — я бы сказал так: монолитный киббуц! Вот именно — монолитный. Это значит, что не будет места ссорам ни по вопросам политики, хозяйства и морали, ни по вопросам воспитания или работы, ни о курении. Да, я возвращаюсь к этому: полное единство во всем — и относительно личных денег, и по проблемам безопасности, и в отношении к Советской России! Нет, ни в одном вопросе не должно быть разногласий!

Биберман умолк на минуту; из разных концов комнаты просили слова, но их попытки были отвергнуты движением его руки: "Одну минуту — так что я говорю? Наш лозунг: киббуц будет монолитным или его вообще не будет".

Когда они вышли и Биберман остановился, чтобы напиться, Рутка стояла и смотрела на его худую, согнувшуюся над краем фигуру. Хорошо ли ему, такому, в жизни? Ведь он никогда не отходит от отвлеченных понятий и никогда не погружается в жизнь, как другие. Хороша ли для него и сама жизнь, — в чем для него она?

Биберман взял апельсин и начал снимать с него кожуру. Он пытался улыбнуться, уставившись на бегущую у их ног тропинку, и приглушил голос, объясняя Рутке:

— Понимаешь, в чем суть дискуссии? Они потребовали, чтобы мы объединились, черт их знает, чтобы мы приняли к себе какую-то группу новичков из Германии — можно сойти с ума...

На пески опустилась ночь, и в душе Рутки заклю-

билась радость. Ее наполняло ощущение той гармонии, которая предвещает прекрасные времена, гармонии, которая наполняет ожиданием радости все тело. Смесь надежды и веры в счастье трепетали в ней, подступая к горлу.

Рутка съела большой кусок апельсина, который протянул Биберман, и вдруг ей стало ясно, что то, чему она так радовалась и так ожидала, было... как он это назвал — то сумасшествие, та группа ребят из Германии, это — окно в новый мир... в пик у тебе, — Биберман... ха-ха... они приедут... приедут!

И когда она поняла это, радость ее окрепла и потянула ее в пески, в глубину ночи.

И РЕШЕНИЕ БЫЛО — ПЕСКИ

Когда в горах вставало солнце, пески становились прохладными и покрывались влажным налетом. Цвет их был серый, жесткий, и теплые, позолоченные тени играли на них, расширяясь с каждым новым лучом. Вот золотой луч заливает пески от края до края и исчезает. Вот желтый, как лимон, вот коричневый, как тучная земля, трепеща, появляются на мгновение, взбираются на горки и кочки и опять исчезают.

Но когда солнце занимало свое место в вышине, пески уже были белые-белые, как в день создания, не позолоченные и не серые, не влажные и не теплые, а совершенно белые, блестящие и отутюженные; они обрамляли поля и деревья и окружали с жестокой решимостью селение, замышляя при этом разлиться и над гладкими, и над острыми косогородами, гордящимися своим превосходством над окружающими просторами.

Кое-где их белизну нарушал куст, одинокий и упрямый, обнаженный ветром, но еще не поглощенный пустыней. Тропинок в песках не было, верблюды не протоптали там дорог, и что уж говорить о селении,

садах и каналах — они стояли в пустыне, в неисправимой пустыне, в абсолютной, чистой пустыне: ни скал, ни злобы, ни смерти — только одинокая пустыня, зыбкая, изменчивая, отданная на произвол ветра и моря.

День рождался, проходил и умирал — пески не менялись, только сначала одна скала бросала тень на другую, а затем — наоборот: та бросала тень на эту.

К вечеру солнце творило чудеса повсюду. Расцветив округлый и нежный горизонт яркими красками, оно поджигало вершины скал, как будто желая спалить их, растягивало тени и золотило струйки протекавших кое-где в узких ущельях редких ручейков.

Оно быстро утомлялось и исчезало. Наступала ночь, не дававшая пескам той полноты жизни, которой одаривала селение. Зато приносила им тишину, какой не знал день. Тишину уединения и одиночества, в которой жили лишь далекие звезды.

Не слышно ни стрекотанья сверчков, ни шума колодцев, ни человеческих голосов, ни унылых криков ночных птиц — все поглощается окутывающей землю тишиной, час от часу охлаждающей поверхность песка и покрывающей ее чернотой, излучающей какую-то постоянную, гнетущую тоску.

Располагающиеся рядами невысокие горы, остроконечные скалы и потоки в долинах как бы пытаются раз и навсегда удобно улечься на большой территории, распластавшейся под небом и молящей о пощаде. Идти здесь легко: то, что издали кажется непроходимым, — подъемы и спуски, — покоряется ногам. Когда человек шел по пескам, он будто тонул в них, невидимый в бескрайнем песчаном море, одинокий куст, прибитый ветром.

Сюда прямо из столовой устремлялись парочки. Сначала они бежали по стежкам плантаций, по темным аллеям между рядами акаций, мимо насоса, издававшего резкий запах, обходили лужи, появившиеся после последнего полива, и неожиданно оказывались на краю простиравшейся у их ног белой, немного из-

мятой простыни пустыни: еще мгновение — и они в песках.

Истинное, чудесное уединение, — оно возможно лишь когда люди живут постоянно одной большой семьей и вместе с тем когда человек может быть совершенно один, — понимаете ли вы это? Ощущение полного уединения достигалось только в тишине, которая не спугивала внутренней сосредоточенности и не нарушала ее, и которой уже не достигнуть было ни собственной палаткой через несколько месяцев, ни бараком через годы, ни комнатами в доме — в будущем. Все это давали только пески, да, только они.

Пески, пески — постройте на них замок. Замок?! — Нет. Колокольчик. Колокольчик тишины, в котором мы сами будем звучать, и малейший шум, малейшее его движение будет раздаваться до самых небес, до его металлических листов. И мастер-плавильщик, создавший все это, будет прислушиваться лишь к нашим голосам и к их эху, он уважает нас и ставит нас в центре колокола, в центре мироздания.

Много воды утекло, пока Рутке удалось привести Вили в пески... Но все же она привела его туда. Приехали немцы — семь парней и одна кругленькая девушка, которую звали Этелью. Два дня спустя приехал Вили. К тому времени стало трудно разместить людей в киббуце, и многие теснились в палатках, как сельди в бочках. Но, несмотря на это, Гуте и Песаху дали отдельную палатку, скромную и красивую — первое семейное помещение в киббуце. За ними поспешили Двора и Нафтали, получили возле них вторую палатку. Так возник район семейных.

Вили приехал из Германии с "немцами". С ними он прошел даже подготовительный курс, длившийся несколько месяцев, но, в сущности, был он не немцем, а "русским". Отец послал его в Германию учиться, и в Берлине на подготовительном курсе он встретил студентов-сионистов, которые собирались уехать на

родину предков. Он выехал вместе с ними, и с ними же прибыл в страну. В нем было много обаяния, от него веяло ветром нездешних миров, чужих городов и — ощущалось то, что называется — "культурой"; были в его характере и теплая сердечность, и привлекательная шероховатость русского человека. Иврит его был намного красивее, чем иврит членов киббуца и несравненно лучше языка его товарищей. Его семья — отец, мать и сестра — приехали в страну до него и жили в Тель-Авиве. После прибытия парохода он пробыл с ними два дня, опоздал в киббуц и был встречен особо.

Этель была мягкая и кругленькая, она вертелась повсюду, и, казалось, — всегда и везде чувствует себя хорошо. Спрашивала каждого, как его зовут, сразу же нравилась всем и все нравились ей. Она, как будто, — интересовалась всем, — но осталась почему-то вне жизни киббуца, чужой и одинокой. Порою она удивлялась делам, которые происходили тихо и незаметно, и вдруг выявлялись свершившимися и значительными. Рассеянная, преданная всем и неосторожная со всеми. Переварить общество семи товарищей, окружающих ее, было так же трудно, как прожевать жилы. Они, как высохшие палки, не могли пустить в киббуце корни. Впоследствии одни рассеялись по дорогам, другие, хоть и остались в киббуце на его бурном и изменчивом перекрестке, но не нашли своего счастья.

Только Вили немедленно смешал свою кровь с кровью киббуца и живыми глазами смотрел на все, что происходило в нем и вне его.

Он был одним из тех зачинателей киббуца, которые привнесли дух деловитости и здравого смысла, тех, кто шел навстречу будущему, удерживая мечту и не убегая от жизни, как это делали растерянные романтики, вроде Бибермана. С первого дня он старался не упустить ничего — ни удовольствия от пикника или хорового пения, ни прогулки, ни участия в беседе, ни удовлетворения от работы, чтения, приятного отды-

ха... Он проникся здоровым, общим пониманием жизни в кибуце, потому что знал, что жизнь его — в кибуце, а не вне его и не над ним. Он хотел построить ее со здоровым расчетом физических сил и сил сердца, стремясь к высоким целям. И если он нарушал какие-то привычные нормы, то делал это не потому, что стремился к чему-то запретному и безнравственному, а потому, что понимал: надо устраивать жизнь на века.

А Рутка в конце концов привела Вили в пески. Они выходили ночью, скрываясь. Рутка боялась причинить боль Биберману, она не догадывалась, что он в это время крутится между палатками и ищет ее и Вили, что он знает о том, что они удрали вдвоем и страдает.

Вили лежал на прохладном песке и, глядя на звезды, тихо напевал. Рутка сидела рядом, опираясь на руку, и смотрела на него, пересыпая хрустящий песок между пальцами.

Она любила его. Но сердце ее все еще было разделено. Вили глубоко дышал, и с каждым вздохом выдыхал печаль, раскачиваясь и напевая хасидские песни. А она? Теплые струи, которые протекали в это время в ее теле, принадлежали Биберману, воспоминаниям о нем.

Легкое, поверхностное пренебрежение, которое она испытывала к Биберману, превратилось в жалость. Образ Бибермана угасал. Он, так недавно еще — божество молодежи из Германии, этот Биберман — такой уверенный в своей силе и правоте, — затихал и угасал при ясном и беспощадном свете дня.

Рутка знала, что так и будет. Она знала, что высокий красивый Биберман растерян, слаб и бессилен в жестокой схватке с жизнью. Она знала, что он, любящий всех девушек, ни на одну из них не глядел, и, оставшись с девушкой наедине, сразу же лишался гордости, силы и власти...

Вместе с Биберманом уходило многое, — наступил момент угасания разных мечтаний. Костры, прогулки в

Польше, в лесах, в Карпатах, заседания правления и первые купания с мальчиками в озере при свете луны, собрания, полные искренности, наивности, и горячие дискуссии; ячейки юношеской организации, субботние вечера, мировая литература, стенные газеты, статьи Б. Шомера и статьи, подписанные именем Хаима Бибермана; месяцы подготовительных курсов, на которые Биберман приезжал каждую субботу и привозил свежие новости, — все это уходило, чтобы никогда не вернуться, уходили времена, когда появление Бибермана приносило дух волнующей и полной движения жизни.

Была алия, и Биберман в порту принимал людей, показывал им киббуц, размещал по палаткам, давал инструкции и высказывал свое мнение по любому вопросу. Это время ушло. А что внес нового Вили?

Может быть, Рутка любила Вили, а, может быть, нет. Во всяком случае, они уединялись вдвоем в песчаном царстве, и радость заполняла их сердца.

Наступили новые времена. В окрестностях строились новые поселения, и там требовались рабочие. Парни пошли работать на стройку и многое в киббуце резко изменилось. Биберман пытался спорить, он утверждал: "Мы приехали работать в поле, быть самостоятельными сельскохозяйственными рабочими в коммунах, а не наемными рабочими. Если разрешается работать на стройке, то почему не на фабрике? А если на фабрике, то почему не переехать в город? Почему не работать служащими? Я вам говорю, что это — конец, это — гибель нашей идеи".

Все стало иным. Стало больше палаток, приехали новые люди, в столовой зазвенела посуда, лица округлились, стали гладкими, окрепло чувство уверенности, была куплена одежда, расширилась библиотека. Многие покинули киббуц, но это был сытый, спокойный уход людей, которые идут заработать десять-

двадцать шиллингов в день, а не то несчастное, знакомое по прежним временам бегство.

В те дни родился Ури.

Рутка спешила к силосной башне. Со дня рождения Ури прошло около двадцати лет. Те великие дни были только фундаментом под тяжелым зданием жизни. Фундамент врос в землю, сравнялся с нею, покрылся пылью. Как это случилось? Были ли они, действительно, те дни? Те пески? Те ночи? Вили тех дней? И та Рутка? —

Она спешила к силосной башне, — женщина в расцвете сил, в меру высокая, плотная, но не толстая, с загорелым лицом, с бледными руками, как у людей, сидящих дома, одетая в рабочее платье, переделанное из выходного после того, как оно выцвело.

Она спешила и даже немного запыхалась, и сердилась на себя за то, что думала о тысяче вещей, но только не о том, что ей предстоит делать теперь и потребует много терпения; она не думает о том, где дети, и пришли ли остальные воспитательницы, и как поднять этих пузырей по такой высокой лестнице.

Путь к силосной башне был полон препятствий, и Рутка вдруг подумала, что она уже много лет не ходила по этой дороге. Как это человек так замыкается в своей скорлупе?

Во дворе коровника было много коров. Одни стояли, другие лениво двигались, большинство из них лежало. Черные почему-то были особо сосредоточенными. Их вид и простор открывавшихся за столбами и заборами земель вызвал в Рутке чувство удовлетворенности, и она вдруг начала шагать с удовольствием, поглощенная неожиданной радостью созерцания. Вот ведь как получается — до чего важны конкретные вещи, связанные с землей, — такие, например, как этот столб. Они, быть может, самое главное, — важнее настроений, воспоминаний и страха, — что скажет Ури и

как рассказать ему... И, быть может, благодаря этим вещам, простым и обычным, такие ветераны, как мы, имеют право на плохое настроение, и не надо думать, что это с жиру... Да, Рутка, одно не изменилось в тебе с тех дней — это уважение к конкретным вещам: к коровникам, к совещаниям насчет бюджета, к материнству, к молчаливым мужчинам.

Вдруг она оказалась среди суматохи и движения. Одна девочка подбежала к ней, бросилась в ее распростертые объятия, прижалась к ее животу, засмеялась, залопотала: "Рутка, Рутка", — и подняла золотую головку в ожидании ласки.

Рутка взяла малышку за руку и пошла, пошатываясь, — потому что та все время крутилась у нее под ногами. Белый передник, зацепившись за головку девочки, натянулся на животе, лямки чуть не лопались на плечах. Рутка отстранила девочку и направилась по своим делам.

У лестницы шумели малыши. Молодые воспитательницы все делали не так, как надо, нервничали и этим увеличивали суматоху.

Две воспитательницы беседовали, и вокруг каждой из них собралось по группе детей. Стоящий подле трактор молчал. Ожидали новой партии кукурузы. Но главное веселье происходило на лестнице.

Она была железной, как в бассейне. Каждые две ступеньки прикреплены к бетону стальными прутьями, на которых повисли взрослые парни, они перебрасывали друг другу малышей. Внизу стоял Илана, он подымал их с земли и передавал парням. Дети переходили из рук в руки, пища от страха и восторга, пока не добирались до открытого окна башни, в которое протискивались, дрыгая ногами при расставании с внешним миром.

Рутка тотчас приступила к работе.

— Здравствуй, Илана.

— Здравствуй... а, здравствуй, Рутка. Хочешь подняться?

— Внутри кто-нибудь есть?

— Порядок. Мы поднимаемся последними. Ну, вперед.

Рутка собрала воспитательниц и детей, выстроила их в ряд, запела песню, непрерывно охватывая при этом взглядом всю суматоху на лестнице.

Дети, чья очередь подниматься подходила, старались быть самостоятельными и гордились этим.

— Смотрите, смотрите, я не боюсь!

— Рутка, смотри, я держусь без рук!

— Я сам, я хочу сам.

Рядом с Иланой стояла очень взволнованная малюсенькая Илана, с каждым взлетом необыкновенных папиных рук она издавала крик восхищения.

— Папа, меня, теперь меня, папа.

— Нет, Иланит, ты в конце, мы поднимемся вместе.

Из силосной башни доносилась песня. Во двор въехал трактор на высоких колесах, тянущий за собой гору кукурузы. Механики поспешили к трактору. Оставшиеся дети толпились вокруг лестницы — "Быстрее, быстрее, надо еще успеть сегодня поработать!".

Остались только Илана и Иланит. Он крикнул парням:

"Подымайтесь, мы поднимемся сами!"

Парни повернулись лицом к стене, подтянулись и тут же оказались наверху. Илана обнял дочурку левой рукой, велел ей обнять своими такими сладкими для него ручонками его толстую шею — она с трудом дотянулась пальчиками одной руки до другой, — поставил ногу на первую ступеньку, и, когда убедился, что лестница выдержит, начал взбираться по ней. Илана прижалась к нему и из-за его плеча поглядывала на пространство, растущее между ней и Руткой. От избытка новых, богатых переживаний она закричала: "Шалом, Рутка, шалом — мы поднимаемся!"

Илана передал дочь и начал сам с трудом втискиваться в окошко. Рутка услышала завывание трактора, очищающего початки и ветки, рубившего их

на мелкие кусочки и проталкивавшего их наверх. Шум этот властвовал над всеми другими звуками. Тогда она начала взбираться вверх. Она крепко держалась за железные прутья и вдруг почувствовала, как ее снова окатывает волна тревоги, одиночества и воспоминаний: Лестница, лестница!

... Мать Иланы умерла от родов. Геула Перельман из Иерусалима; худенькая, с красивыми глазами. "Йеменитка" — ласково называли ее. Она поселилась в киббуце и пошла жить в барак с лучшим из парней, забеременела. Роды были тяжелые из-за узких бедер. И вот ее не стало. У них даже не хватило времени полюбить ее и понять ее безграничную верность всем им. Но с течением лет они полюбили все, что осталось от нее в Илане старшем — ее друге. Казалось, она перевоплотилась в него и окончательно заполнила всю его жизнь.

И еще была Гута. Гута Песаха, которая родила через несколько месяцев после Рутки. Дани жил два года, а на третий умер. С тех пор в Гуте жила боль утраты. За долгие годы она отдала киббуцу все, что осталось в ней с тех дней, — всю материнскую любовь, которую она делила между всеми, без различия, в любую минуту.

Дани умер, когда настали трудные времена. Строительство прекратилось, в столовой говорили об освоении новых земель. В детском бараке тогда жили три цыгленка — Ури, Дани и Ноа. "У Дани температура! У Дани высокая температура!" Его отделили от здоровых детей и привезли врача. Нафтали привез его из Хадеры в коляске Люстига, в которой тот все еще развозил хлеб. Суэта перешла во взволнованный шепот, а шепот — в еще более испуганную беготню.

Дани покинул этот свет. И в киббуце не знали, что делать. Доктор не тратил слов попусту, он позвал к себе нескольких человек и спросил: "Разве можно так растить детей? Разве можно в этих условиях быть в чем-то уверенным? Разве можно назвать

это "условиями"? Это — питание? Так воспитывают детей?"

Люди стояли вокруг доктора и не находили ответа. Нафтали увез его в коляске, и в киббуце воцарился смертельный страх. Что будет с двумя оставшимися цыплятами?

Голос Бибермана гремел во всех концах лагеря.

"Я вам говорил? Мы еще не вправе растить детей. За эти физиологические радости мы дорого заплатим... так я сказал... я предсказываю вам ужасное, но..."

После похорон Рутка сидела у Урика в бедной, темной детской комнате с осыпающейся штукатуркой. Она во всем винила себя и готова была на все мучения, лишь бы отвести от Ури беду.

Дети. Мы просто преступники. Удовлетворение страсти — и ты рождаешь существо, которое не достойно даже любить! Вот он шагает, начинает щебетать и любить тебя, верит в тебя и надеется быть счастливым. А вам кажется — корни!.. Вам кажется: чем мы хуже других? Разве мы умственно неполноценные? Разве мы женщины, созданные только для похоти, а не для продолжения рода?

Мы просто-напросто преступники.

Ури спал светлым и спокойным сном в узкой железной кровати, выкрашенной белой осыпающейся краской и скрытой занавеской. Его маленький кулачок лежал под щекой, а из ротика выпал помятый кончик простыни. Как он его сосал и мял перед сном!

Какое значение имеют все высокопарные разговоры в сравнении с Уриком? Что значит, между нами говоря, этот киббуц в сравнении с Ури, с жизнью Ури? И Вили — ноль, и я — ноль, и весь киббуц — ноль.

Рутка, спаси Ури, спаси его! Есть вещи еще дороже того, что называют истинными ценностями. Это — сама жизнь! Рутка, беги отсюда!

Рутке стало ясно, что в центре мира находится Ури, что в нем — цель ее жизни. Как только что-то перестает быть нужным для него, оно просто перестает существовать. Оказалось, что ей больше ничего не нужно

от жизни, кроме благополучия Ури, и что она намерена искать для него спасительное пристанище.

Она не говорила об этом с Вили, пока не решила переехать к его родителям в Тель-Авив. Тогда она встала, подкрутила фитиль в лампе, пощупала пальцами лобик сына и пошла к мужу.

Был темный вечер, а в столовой еще не зажгли лампу. После похорон Дани никто не заходил сюда. Палатки стояли черные и немые. Ни звуков человеческой речи, ни шума воды в душевой, ни споров по поводу работы. Она прошла мимо палатки Гуты и Песаха, которые, несмотря ни на что, остались в поселке. Зашуршал откинутый полог палатки, и Рутка вошла в нее.

— Вили? — произнесла она, словно опасаясь, что не получит ответа, — Вили... Вили!..

Заскрипела и застонала кровать: "Зажги свет!".

— Не нужно, Вили. Слушай, где ты? Я уезжаю с Ури в Тель-Авив. Невозможно...

Вили противился, но Рутка уехала. Нашлись такие, что брюзжали: "Отослал жену, чтобы спасла ему ребенка!".

Но были и такие, которые знали, что он отчаянно сопротивлялся их отъезду.

Рутка взяла Ури и переехала с ним в город — в зеленоватый дом со светлыми комнатами на тихой улице в Тель-Авиве, с тщательно приготовленными завтраками и со столичными, настоящими врачами!

В те дни начался переход членов кибуца на новое место в Эмеке. Вили иногда выбирался на день или два, чтобы заглянуть к жене.

Когда Рутка приблизила лицо к окошку, в нос ей ударил сильный запах силоса. Из трубы валилась кукуруза, рассыпаясь и кружась по кислой постели, на которой топтались и прыгали дети, воспитательницы и много других добровольных помощников.

Веселье было чрезмерное. Посреди толпы танцевал

Илана, он пытался навести порядок в кругу танцующих. Брал на руки одного ребенка за другим, кружился и прыгал с ними во все стороны и подставлял их время от времени под льющуюся струю. Каждый раз, когда он в танце приближался к трубе, дети издавали вопль восторга. Он вовсю веселился вместе с малышами; подбрасывая и подкидывая их к пасти трубы, пугал: "Вот я подставляю тебя под струю кукурузы". И что больше всего нравилось детям в Илане? Что он между ними никого не выделял, и дочурку свою тоже. А они знали, что любит он ее до потери сознания. Он бывал в садике чаще других отцов, и все-таки дочь не выделял. Он придумывал для них игры и дарил игрушки. Вечерами, после ужина, собирал в кружок у входа в столовую и начинал рассказывать о шоферах и их приключениях, пока вокруг не собиралась целая толпа слушателей. Он выезжал с детьми на прогулку по киббуцу и "одалживал" любому малышу кусочки каучука и стеклышки, винтики и флакончики от масла и другие принадлежности шоферского дела для их игр.

Теперь он поймал двоих, потом троих — и вот уже один на шее и двое на плечах. Он топтался и танцевал с ними на мягком и податливом кукурузном ковре, давил его с таким усердием, будто решил: никогда этому силосу не заполнить башню до потолка, я не отступлюсь и заставлю его остаться внизу.

Рутку встретили рукоплесканиями, и она вдруг оказалась в кругу танцующих. Один из парней вынул губную гармошку и начал играть на ней быстрый, веселый и увлекательный танец.

Рутка взяла Илану за руки и начала танцевать польку. Вдруг каблук поскользнулся на стеблях кукурузы, колени подогнулись, голова закружилась, и она чуть не упала, но руки Иланы обнимали ее и время от времени уверенно поддерживали.

Дети сходили с ума от этой картины. Они пищали и танцевали вокруг. Милая Рутка, главная воспитательница, любимейшая воспитательница танцует с нами.

Как она нас любит! Топчите силос, уминайте кукурузу — полька, хора, дебка — ю-ла-ла, забудьте пот и грязь, снимите сандалии — вот так, положите их в угол... придвиньтесь друг к другу, любите друг друга, не смущайтесь, присоединяйте свои маленькие ножки и давите всем весом вместе со взрослыми, еще, еще...

В доме Кахана ей выделили комнату с балконом. На балконе стоял большой ящик желтого цвета с медным оттенком, а внутри его — кто знает что? Ури любил сидеть на нем и с его высоты бросать в прохожих виноградные косточки. Но ему приходилось долго ждать, пока показывались прохожие, такая это была тихая улица.

В доме были широкие шкафы с дверцами, украшенными зеркалами. Ей освободили часть шкафа, а она даже не знала, что туда положить. Стояли диван для нее и кровать для Ури. Белые простыни помещались в старинном тяжелом комоде в комнате стариков.

У сестры, барышни Кахана, тоже была отдельная комната, и она покидала ее только чтобы поесть или уйти из дома.

Кахана были фармацевты, дочка работала в лаборатории, а отец — в аптеке, с клиентами. Борода его была подстриженная и плоская, как шахматная доска, а язык вечно болтал, как это свойственно аптекарям — выходцам из России.

Они не давали Рутке заниматься ничем, кроме Ури. Даже старуха силой отнимала у нее метлу, когда она пыталась подмести пол. "Подожди немного! Я никогда не говорил Вили, что надо делать, — говорил старик. — Но тебе я говорю, что он переедет сюда, и скоро. Тогда будешь работать. И почему ты? Он сам встанет на ноги, будет искать заработка. Откроем еще одну аптеку... В конце концов, учился же он там чему-то..."

Ури очень любил старика, а старый хитрец покупал его сердце баночками и другими аптекарскими вещами, гладкими и сверкающими.

Рутка была спокойна. Утренняя прогулка на берег моря, маленькое веселое существо и его любовь к матери — эта сладкая преданность ей; вечерняя тишина и приятный шепот деревьев; короткий, полный радостных криков визит в аптеку в середине рабочего дня и удивление клиентов: "О, какой чудный мальчик!"

Часто приезжал Вили. Ури бросался к нему: "Вили!", но никогда не называл отцом. Он был к нему привязан так, как только можно быть привязанным к отцу, приезжающему и на следующий день уезжающему. Но полной взаимной преданности между ними не возникло. Да, в общем, Вили был для ребенка чужим.

Рутка, в комнате которой спал защищенный от всех невзгод Ури, была всем сердцем привязана к Вили. Уверенная в себе и примиренная с собой, она любила его теперь, любила до тоски. Они укладывали Ури спать и выходили в город. Они часто гуляли по берегу моря, ходили в театр, развлекались. У Рутки обнаружился хороший вкус, о существовании которого она и не подозревала. Она получала удовольствие от нарядов, была живой и любознательной. Ей словно хотелось сгладить ощущение возникшей между ней и Вили незримой стенки, не замечать, что их что-то разделяет, при этом где-то в подсознании всегда присутствовал Ури, расстояние между ними из-за Ури, быть может, и последующее раскаяние — тоже из-за Ури?..

Вили любил Рутку скрытно и нежно. На ее выходы не обращал внимания. Он говорил: "Слышишь, Рутка? У нас, по-видимому, не удался опыт с арабскими коровами и горными лугами. На этой неделе должны прибыть голландские. Если добавить к этому постройку курятников, то, значит, — мы уже кое-что сделали..."

И расставаясь, в утренней дымке рассвета, он всегда

упрямо, немного игриво, шептал ей: "Рутка, может, упакуем Ури и поедем? Сейчас, да, сейчас же. Оставим записку", — и заканчивал поцелуем, удаляясь на цыпочках.

Немного спустя она вставала и подходила к кровати Ури: "Нет, Рурик, там нет врача, нет дороги, нет воспитательниц. И бедная Ноа очень одинока там. Вили сам говорит, что там плохое настроение, нет уверенности ни в чем и женщины боятся рожать, и, может быть, они рады, что только Ноа осталась, а Ури далеко и в безопасности. И пока там не хотят детей. И, быть может, из-за этого девушки уезжают в город — новая мода!.. И возвращаются слабые, получают две недели отпуска — голубиный суп, голубиные кости, картофельное пюре, лук с маслом, хлеб, виноград... "Но мы любим папу, Рурик, правда?"

Веселью в силосной башне не было бы конца, если бы внизу не собрались отцы и матери и не начали подавать знаки наверх. Среди усиливающегося беспорядка "цыплята" спустились вниз, в объятия поджидающих их родителей. Ушел Илана, неся на плечах Иланит. Выглянув, Рутка увидела взволнованную толпу. Если бы нее спросили, она, разумеется, выбрала бы более подходящее время для демонстрации акробатических упражнений перед зрителями из киббуца. Но быстро сгущающиеся сумерки вынуждали ее спуститься как можно скорее. Ей еще предстояли встреча с Ури, ужин и уборка комнаты. Ой, комната, какой у нее сейчас жалкий вид. И Ури, опять Ури, и снова Ури...

Она спустилась вниз, не замечая оказываемого ей внимания. Остановившись у конюшни, вдруг подумала, а не обидела ли она людей? Закончила работу с малышами, доставила им такое удовольствие, и почему было не задержаться немного поболтать с родителями? Яир — ужасный шалун, сам хотел взобраться по лестнице. Вы должны были видеть Ниру, она танцевала, как два козленка. Ну, все, все. А ты слышал,

что сказал Узи? И ведь сказал-то в самом разгаре...

Возчики тянулись с усталыми лошадьми и останавливались. Возбужденные шалуны перескакивали через забор и дразнили жеребят. Было приятное время, когда кончались работы и предстоял вечерний отдых. Малыши из силосной башни уже шалили на траве, матери вязали, а отцы разговаривали о подводах, удобрениях и машинах. Читальный зал был залит светом. А ты, Рутка, прошла молча и этим обидела людей.

... Рутка — умная женщина. Когда Ури исполнилось пять лет, она вернулась с ним в киббуц. С тех пор прошло четырнадцать лет. За это время она успела кое-чему научиться, и, между прочим, поняла, что убежать от судьбы невозможно. А раз так, то на все нужно смотреть открытыми глазами.

Ури вернулся. Теперь настал его час расхаживать с широко раскрытыми глазами. Старое дело, забытое дело... — им снова овладевают мысли о смысле жизни. С течением времени мы забываем, что в нашей жизни есть скрытое глубокое творческое начало, и можно попытаться разгадать его, рассмотреть за тем, что на поверхности, за тем, что само собой разумеется. А то бывает и так, что ты чихнешь, а другие приходят учиться у тебя и этому.

Как только Ури вернулся домой, он получил право щупать стены и требовать уплаты по векселям. Дорогие мои, спросит он, кому нужна эта стена? Почему именно эта линия? Почему вы построили именно так? В чем смысл того и этого? И вы, дорогой киббуц, обязаны дать ему ответ, так как здесь вы хозяин, и подрядчик, и рабочий, и все зависит от вас. Придется вам действовать еще умнее, жить еще целеустремленнее, с еще большей преданностью делу.

Кое-что Рутке хотелось бы выяснить до встречи с Ури. Странная и тревожная тоска сгущалась в ней в такие дни. Она знала: работа не кончится, дела не устроятся, больному мальчику еще не измерили температуру... Кто в состоянии успеть все это в один день, на одних усталых ногах?

Есть Рутка Вилина — эта Рутка, быть может, лучшая.

Есть Рутка Аврахама Горена. Да. Я бы не сказал — Рутка-любовница, но слабая, льнущая к мужчине, спокойная женщина. Да... И есть Рутка — воспитательница, строгая, принципиальная, с серьезными требованиями, знающая, что такое рабочая дисциплина. Требовательный и сильный человек — одна из центральных фигур киббуца.

Теперь приехал сын — и будет Рутка Ури. Ури заставит тебя жить для него, посвятить свою жизнь ему.

Аврахам знает это, вернее, ощущает интуитивно. Рутка приходит сама, в священные для него часы. Но есть и другие часы, когда запрещается близость, нельзя смешивать одно с другим. Надо, чтобы по-прежнему были всякие Рутки. Не отнимать ее у детей, у членов киббуца, не отрывать от привычных дел, придающих жизни смысл и вкус.

Аврахам Горен живет в своей скорлупе тихо и скрытно. Тайная любовь — как настольная лампа с абажуром, она освещает ограниченное пространство, ее свет падает только туда, куда его направляют. Поэтому по утрам они чувствуют себя чужими, во рту — горьковатый привкус, а мысли уже только о работе.

Ури ворвется в твою жизнь, как солнечный луч. Встретит тебя с малышами... Ты будешь спокойно стоять с Аврахамом, он встретится — подойдет или нет? И не вмещается в те границы, которые ты установила для себя, и не будет уходить и приходить, когда ему захочется? Он заставит тебя вести другой образ жизни, что-то застынет в движениях спины, какая-то капля страха. Даже хорошие дела требуют свободы. И ничего нет страшнее непонимания между близкими.

Твой Урик только вернулся домой, а ты не нашла в нем ничего интересного и вместо этого воздвигла стену из опасений. Чего же ты хочешь? Ты не в состоянии понять молодость? Знай, милая, это уже старость подшучивает над тобой!

На ее лице действительно появилась улыбка и украсила его, покрывая легкими симпатичными морщинками. Проходившая мимо девушка, нагруженная кастрюлями и сковородками, приветливо кивнула и объяснила: "У детей прекрасный аппетит. Это добавка".

Ури, мой мальчик. Юноша! Как он спешил встретиться с Вили. Первое, что ему сказали — Вили уезжает. Кто может не любить Вили? Сколько же ему пришлось побыть с отцом?

Надо быть с Ури. Да, именно с ним. Проводить с ним много времени, читать, беседовать о книгах, рассказывать... Рассказать всю историю Вили и Рутки, всю историю киббуца. Сделать это привычкой: вечерами, после работы женщина, я бы сказала, — одинокая стареющая женщина, спокойная, тихая, потускневшая, — сидит в кресле на балконе, быть может, вяжет и спокойно рассказывает. Ночь опускается на киббуц, окутывает его темным покрывалом, плывут серые облака — медленно, тихо. И твой облик созвучен их терпеливому движению. Кадр за кадром для себя и для него, пытаюсь раскрыть в Рутке все то, что принадлежало миллионну дыханий, пытаешься совершить это громадное чудо, чтобы он, Ури, не начал свою жизнь, соразмеряя ее лишь с чем-то случайным. Пусть мы будем жить как один человек с двумя разумами, двумя сердцами, двумя воспоминаниями. Пусть он сохранит в своем духовном лице и наш, уходящий, и тот, что постоянно рождается в его душе.

— Те дни, Ури, — может быть, вы учили об этом, — уже не были тревожными или трудными, но все же было какое-то большое беспокойство и мечты. Какие мечты!..

А может быть, преданность Ури тебе приведет к концу историю с Аврахамом Гореном? Если в утренний перерыв Ури покинет работу и забежит к тебе в комнату, если в полдень ты найдешь полевые цветы в вазе на шкафу, а вечером сможешь покапризничать,

и он принесет тебе ужин в комнату и притащит кресло снизу, с травы на балкон — кто знает, вдруг он и вытолкнет из твоей души Аврахама Горена.

Если будет нарушена интимность твоей комнаты и в киббуце снова появится человек, входящий без стука, человек, для которого твоя комната будет общей комнатой, — комнатой его матери, возможно, что Аврахам Горен перестанет приходить. Это наука, дорогая Рутка, уважаемой сорокалетней женщине: не влюбляться в молодых командиров, когда рядом взрослый сын. Возможно, вся история с Аврахамом Гореном — только иллюзия и возможность на короткое время забыть. И вся эта уступчивость, и твоя, и Вили — неискренняя, неестественная, и мы должны были всегда оставаться друг с другом?

... Аврахам Горен в киббуце ни с кем особо не дружил, даже с теми, кто ему симпатизировал. Он строго охранял свое одиночество, будучи со всеми одинаково приветливым. Рутка никогда с ним не сталкивалась, пока не получила поручения от педагогической комиссии.

Когда она впервые пришла к нему, она была поражена особой атмосферой его комнаты. На окнах — плотные занавески, вышитые арабским узором. Низкий стол, заваленный книгами, а среди них — кинжал, воткнутый в кусок дерева. В глубоком кресле лежала неповоротливая, стриженная низкорослая собака. На стенах в массивных рамах красовались картины. Одна из них была копией известной картины Гогена с изображением таитянки, остальные были не известны Рутке. На стене косо висела гитара. В глубине комнаты была почти невидимая дверца стенового шкафа.

Аврахам сидел на кровати, удобно расположившись среди многочисленных подушек, и курил трубку. Он был учтив, даже более, чем учтив, — словно давным-давно ждал ее прихода, словно не могло быть ничего более естественного, потому что он сам давно этого желал.

Рутка знала о нем мало и во время визита вдруг

почувствовала, как в ней просыпается любопытство: как он живет? Какой у него, у Аврахама, характер?

Она знала, что он приехал в тот год, когда они еще нуждались в военных и очень верили в него. До этого он был в каком-то сельском воспитательном заведении, что-то вроде детского дома, обучал детей физкультуре и правилам самообороны.

Когда наступили беспокойные времена, он остался в киббуце. Работал в поле, никогда не болел, не настаивал на том, чтобы ему давали свободные дни, но, погруженный в свой мир, он, по-видимому, был далек не только от Рутки, но и от большинства членов киббуца и от всей его жизни.

Аврахам был красивый мужчина; время от времени с ним в столовую входили очень смущенные, тихо говорившие и бравшие половину порций городские девушки в добротных юбках; тогда раздавались вздохи и проносились различные слухи.

Он не был членом киббуца; был моложе задающих тон, основательно уставших ветеранов, и намного старше молодых, — позднее присоединившихся к киббуцу, и наполнивших его жизнь весельем, шумом заново поднятых проблем и культурных начинаний.

Он был далек от всего и жил своей жизнью; читал много иностранной литературы, редко участвовал в общих разговорах и никогда не соглашался вести ответственную работу.

К появлению в своей комнате Рутки он отнесся учтиво. Рутка просила его взяться за обучение детей в летние дни, — заниматься с ними физкультурой, помогать им усвоить навыки полевой жизни и организовать их досуг. Когда Аврахам, не вдаваясь в рассуждения, твердо отклонил ее предложение, Рутка сказала ему, что для них всех "есть еще и дисциплина". Его ответ она запомнила надолго: "Рутка, дорогая, дисциплина существует для тех, кто в ней нуждается".

Затем они долго беседовали на различные темы. Она восхищалась картинами, которые висели у него, взяла

в руки немецкую книгу, повозилась с собакой, погладила ее по спине. К концу встречи она внутренне согласилась с решением Аврахама отказаться от поручения.

Что она вынесла из этой встречи? Для педагогической комиссии — его отказ от поручения, свое ощущение внутренней тревоги, впечатление необычности от интимной обстановки его комнаты и царящего в ней — столь же непривычного — духа.

Он был новым изданием того Бибермана, которого она знала двадцать лет назад. Привлекательной была в нем одухотворенная мягкость в сочетании с суровой мужественностью и чувство юмора, которого всегда не хватало Биберману. Но обоих отличала некоторая застенчивость, естественная для людей, которым кажется, что они дают меньше, чем получают. И все же Горену была присуща всегда недостающая Биберману самоуверенность; тот никогда не был так смел. Но Горен, несчастный Аврахам Горен, никогда не знал восемнадцатилетней Рутки, свежей, кипящей Рутки.

...Рутка направилась в душевую и нашла там стопку приготовленного для нее чистого белья. Женская душевая намного тише мужской. Лишь в дальней кабине мылась женщина, и Рутка оказалась в одиночестве. Она скрутила волосы и, чтобы они не намокли, туго связала их косынкой. Взглянула в зеркало. Голова была тяжелой, и шея казалась тонкой и нежной. Когда-то ей говорили: сорванный нарцисс! Сейчас, отраженная в мягком освещении влажного зеркала, она была хороша. После встречи с Ури во дворе она погрузилась в грусть, стала сентиментальной, в душе ее возникли жалость и любовь к себе, воскресли былые страсти и мечты. Обнажив свое тело и поливая его осторожно и нежно водой, она снова вспомнила Аврахама Горена, но уже с другим чувством: с желанием немедленно увидеть его и с решительной мыслью: "В конце концов теперь он мой, и я очень в нем нуждаюсь. Уринька, можешь ты это понять?".

В душевой топталась Этель.

— Рутка?

— Да.

— Ури еще спит. Я собирала все для мытья, а он даже не шевельнулся. Что ты скажешь? Спит, как суслик!

Этель нагнулась над сумкой с мылом и при этом изогнулась в той позе, при которой обычно мужчины не могут оторвать от женского тела взгляда — в нем словно оживает округлость всех линий, а его расслабленность как бы говорит о готовности отдаться.

Рутка посмотрела на Этель и задержала руку в рукаве. Как равнодушна эта женщина к своему телу! Тело без поэзии, сказала себе Рутка, — это были слова Аврахама Горена, — безжизненное, бесстрастное. Этель не боится за него, не уважает его и не знает.

Но в мире есть люди, знающие твое тело лучше тебя. Ей стало веселее, а затем, к ее великой радости, Этель, прежде, чем открыть струю воды, сказала: "Рутка, ты еще не ушла? Слушай, не думай о детях, я все устроила. Как же иначе? Пришел Ури, а ты еще будешь бегать? Можешь спокойно идти к нему, все в порядке!".

Рутка немедленно выскочила из душа, не застегнув сандалий, не запахнув как следует халат, не сняв косынку. Освеженная купаньем, душистая, она побежала в свою комнату в каменном здании. Там уже сидел и ожидал ее Аврахам Горен. Когда она вошла, он вздрогнул, но потом продолжал выпускать дым из трубки, как будто появился не тот человек, которого он ожидал.

Рутка направилась к шкафу и спрятала в нем свои вещи. Потом вынула красивую батистовую блузку и спортивную юбку.

— Я до сих пор была в силосной башне.

— Да.

— А ты что сидишь здесь один? Пойди сюда. Тебе нравится моя новая юбка?

— Неплохо.

В общем-то она ждала более пространного ответа. Она спряталась за шкаф и сбросила халат, — он упал с

легким, кокетливым шуршанием. Она попыталась подступить с другой стороны.

— Что слышно? Ты видел Ури?

Он подошел к ней и приблизил губы к ее лбу над дверцей шкафа.

— Рутка, — он немного помолчал, — из-за этого я и пришел к тебе.

Рутка рассмеялась, смех ее был красив.

— Браво, милый, браво! Из-за этого ты и пришел ко мне. Это значит, что ты хочешь узнать, не мешаешь ли? Ха-ха...

Она вышла из-за дверцы шкафа и захлопнула ее. Пахнуло струей воздуха, пропитанного тонким ароматом женской одежды.

Аврахам сел на кровать, Рутка расположилась в кресле напротив. Она сняла сандалии и, в поисках туфель, шарила рукой под кроватью.

Он окинул ее взглядом мужчины, обладавшего ею. Рутке нравилась эта игра; и не потому, что она соответствовала происходившему на самом деле. Это создавало ощущение — раз мы этого хотим — значит, так есть, — так и будет.

Она оглядела комнату: "Бог мой — настоящая революция".

Беспорядок Вили. Между шкафом и столом стояли два чемодана без чехлов. На кровать свалены шерстяные вещи. Под кроватью — связки книг, перетащенные из комнаты инструктора. На дверь от балкона навешана уйма тряпья — пальто, шуба, кожаное пальто и рабочая одежда. На балконе — ботинки и маленькая электрическая плитка, кружки и банки с кофе, ящик с коллекцией минералов, план полевых работ, дневники, тетради, карандаши и испорченные ручки, куски ткани, связки носков, гайки, французский ключ, коробка с запыленной мазью. Вили перенес сюда всего себя, опустошил свой барак, и все его богатство переселилось в комнату Рутки. Храни его до того дня, когда понадобится!

— И что ужасно, — Рутка пересела на кровать к Го-

рену, — что до его отъезда нельзя ничего положить на место. Он говорит, что еще не решил, что брать, и поэтому не стоит ничего прятать...

Аврахам положил руку ей на плечо:

— Послушай, Рутка, у меня сегодня была ссора с Ури.

— Ссора?! Не больше и не меньше?

— Да. Он тоже это так воспринял. Оказывается, он получил довольно хитрую информацию о... — рука Аврахама описала в воздухе округлое пространство, — о нас. Мне показалось, что он уже считает себя борцом за правду, защитником отцовской чести. Он намекнул, что мы выбрасываем Вили, удаляем его...

— Ничего не понимаю. Что он сказал тебе? Со мной он был так мил...

Аврахаму было неприятно. Где-то в глубине души он чувствовал себя виноватым. В конце концов, кто он такой, чтобы обвинять этого паренька?

Рутка нетерпеливо продолжала:

— Послушай, будет очень грустно, если мы будем обращать внимание на все его, даже мельчайшие, жесты!

— Рутка, разве ты не знаешь, что я не страдаю мнительностью. Но я считаю, что с самого начала все должно быть в порядке. Он, например, заявил, что мы, как и весь киббуц, просто рады избавиться от Вили. А ты ведь знаешь наш киббуц. Я не удивлюсь, если окажется, что нашлись праведники, захотевшие кое-что "объяснить" ему. А хуже всего намеки, сплетни... — И он опять сделал тот же округлый жест удивления — на то... что Вили ушел или уходит неспроста, и что будто бы я и ты заинтересованы в этом.

Рутке был очень неприятен этот разговор: "Ну, так что же теперь нам делать?"

— Ну, так вот, Рутка... так как с самого начала мы построили наши отношения на взаимопонимании и откровенности, я считаю, что лучше будет, если ты пойдешь к Ури и скажешь ему: сын, мол, так и так, кое-что произошло, и может быть, ты уже что-то слышал.

Но будет лучше, если ты обо всем узнаешь от меня, а не из сплетен...

— Я целый день вынашиваю этот разговор.

— Здесь и вынашивать нечего!

— Аврахам, ты знаешь, что все не так просто.

Они вышли во двор и, тесно прижавшись друг к другу, ходили в опускающейся на дома темноте. Затем Аврахам направился в свою комнату, а Рутка в комнату к Этель, к Ури. Им было по дороге. Оба барака стояли по соседству в районе холостяков. Большинство обитателей киббуца в это время шумели в столовой или целовали детей в их спальнях перед сном. Вокруг было темно и тихо. Рутка ощущала связь с Аврахамом, крепкую, приятную и очень ей необходимую. Она вздохнула: "Однако, мы идем навстречу трудным дням. Смотри-ка, — снова и снова нам недостает мудрости, уверенности и счастья".

Аврахам свернул в сторону, пошел в свою комнату, а Рутка поспешила к Ури. Позади барака Этель виднелось небо, оно уже не светилось, а лишь мерцало на горизонте. Тонкие антенны и кроны деревьев уже совсем почернели, и лишь свет в окнах согревал сердца.

Рутка, прижавшись к окну, заглянула в комнату. Кровать находилась совсем рядом, но ничего невозможно было разглядеть. Ей не хотелось его будить, но она все-таки открыла дверь, прикусывая губы от ее скрипа. В комнату проник свет, и она разглядела главное: Ури лежал на кровати, раскинув в трогательной небрежности ноги. Он спал крепким, непорочным сном. Рутка осторожно прикрыла за собой дверь. Пусть спит.

Она направилась к Аврахаму и, увидя в его окне свет, постояла у двери. Некоторое время она колебалась, но, наконец, нажала ручку и оказалась в комнате. Аврахам лежал на кровати, прибранной как диван и уставился в потолок. Он перевел взгляд на Рутку: "О!".

Она вздохнула, рассмеялась, залезла на диван и

села, соединив колени и поджав под себя ноги. Юбка приподнялась и обнажила согнутые колени, она натянула ее. Аврахам сдвинулся с места, опираясь на локти, и не отрывая от нее взгляда, устремился ей навстречу. Тогда они оба поняли, что происходит. Он провел рукой по резко обозначившемуся сквозь серую юбку бедру, затем протянул руки и помог ей придвинуться к нему и опереться, как и он, на деревянную спинку. Они, не двигаясь, сидели рядом, и Рутка чувствовала поднимающиеся волны тепла. Она посмотрела на ноги Аврахама, он был бос, потом сказала: "Ну, давай сигарету!".

Не двигаясь с места, он пошарил рукой вокруг себя и протянул ей коробку спичек и пачку сигарет. Рутка, не взяв их, нажала носком одной туфли на другую и сбросила обе на пол. Осталась в белых коротких носочках и с удовольствием вытянула ноги вдоль кровати. Шерсть колючего покрывала щекотала ее тело в мягкой складке под коленом. Он всунул ей в рот сигарету.

— Дай огонь!

Он приблизил к ней колеблющееся пламя спички, и Рутка с наслаждением затянулась дымом, потом медленно выпустила его. Аврахам осторожно двигал спичкой, будто желая проверить силу пламени, и курил бесшумно, выдыхая дым.

Рутка мысленно взвешивала количество счастья, которое еще в состоянии дать ей ее тело. То, что ей была точно известна, как дорога в знакомый край, каждая минута ожидающей ее радости, не обесцвечивало ее ощущений, скорее, наоборот, усиливало ее страсть. В эмоциональной жизни выдуманного не было — счастье было ясным и прозрачным.

Она чувствовала молчаливое и покорное обожание Аврахама Горена. Она чувствовала, что его тело прислушивается к ее телу и ожидает. Тишину прервал вопрос:

— Ури еще спит?

— Да, когда он проснется, пойду к нему... Кажется,

придется принести ему ужин... Я тоже еще не ужинала.

— Рутка, какая же ты... — И прежде, чем она успела схватить его за руку, он вскочил и поставил перед ней виноград, пирожные, шоколад, схватил стоявший в углу комнаты кувшин и хотел выйти.

— Сядь, Аврахам, не уходи. Я пришла не для того, чтобы ты крутился. Посиди со мной. Мне нужен ты, а не ужин...

Он оставил кувшин, вернулся к Рутке и сел напротив нее на табурет.

— Рутка, ты чудесная женщина.

— Пойди сюда.

Он уже растворялся в ее крови. "Пойди сюда".

Он сел рядом и заставил ее съесть пирожное и шоколад. Убрав тарелку, он положил голову ей на грудь и снял с низкого столика книгу в шуршащей обложке.

— Послушай, Рутка, песни негров из Америки, написаны сленгом, это очень интересно. Послушай, как они умеют любить.

Он читал медленно и останавливался, объясняя стихи ей, а может быть, и себе. Его голова тяжело покоилась на ее груди, и она чувствовала его каждой частицей своего тела.

А теперь, представь себе, Рутка, час тому назад ты хотела уйти от него. Рутка, ведь это ужасная глупость. Ури просто будет смеяться над тобой, просто смеяться. Ты будешь ждать сына в своей комнате, а он — хорошо если зайдет к тебе раз в неделю. Надо заботиться о нем? — Глупости, моя дорогая. Смотри лучше, как не стать тебе для него обузой. Относись ко всему трезво. Ури пришел в киббуц, он займет в нем свое место — и ему только и не хватает, чтобы мать его опекала!.. Неужели ты не видишь, как он возится с тракторами и машинами, отдается каждому заседанию? Не замечаешь его ухаживаний за девушками? Не чувствуешь, какая страшная скука овладевает им во время обязательных коротких визитов? Ты хочешь создать чудесный, но нереальный мир: Ури и ты, полная гармония, обоюдная преданность... Он

стремится к собственной жизни, во всем ее многообразии и даже к врагам, к твердым орешкам, чтобы обломать об них зубы. А ты и Вили должны жить по-своему. Чем больше вы будете считаться со своей жизнью, тем больше он будет уважать и свою, и вашу.

— Чему ты улыбаешься?

— Мне хорошо с тобой, я довольна...

Довольна. Ей приятно было произносить это слово, и она прошептала его несколько раз. Встреча с Ури будет для нее теперь намного легче, понятнее и радостней, чем если бы она пришла к нему с излишним запасом заботливости и внимания. "Друг мой!" — так она начнет;— и скажет ему: "Друг мой, Ури, ведь ты уже взрослый..."

Аврахам сдвинул занавеси над кроватью и на противоположном окне.

Когда Рутка вышла в ночь и оставила за собой, не бросив взгляда назад, темный барак Аврахама, вокруг было спокойно и освещено, но окна были темны. — Свет уже потушили. Барак Этель был погружен в темноту. Десятый час.

Она резко повернулась и побежала на детскую кухню, зажгла свет и начала орудовать, как у себя дома. После непродолжительной суеты, хлопанья дверцей большого холодильника, решительных взмахов ножом и шума булькающей воды, на кухонном столе стоял полный поднос с тем, что вполне можно назвать богатым ужином. Она легко схватила тяжелый поднос, чтобы отнести его в район холостяков. Толкнула дверь ногой, подняла шум, какой только могла и зажгла свет.

— Ури, дружок, вставай, уже утро.

Ури поднялся легко и быстро, как все молодые люди, привыкшие к полевой жизни, короткому сну, ночным тренировкам. Первое, что он понял, было ему приятно — до утра еще далеко.

— Ужин? Что за баловство? Или уже так поздно? Который час?

Он перевел взгляд на письменный стол, на стоящие

на нем часы, и сам себе равнодушно ответил: "Десять, не страшно!"

Он выскочил из комнаты и вернулся мокрый. Сорвал полотенце, висевшее на окне, начал вытираться. Освежившись, сел есть.

- Что слышно, мама, ты видела Вили?
- Как тебе сказать...
- Разве они еще не вернулись с работы?
- Вернулись. Я была занята детьми и...

Она почувствовала на языке горечь лжи. Теперь-то и будет выбран путь, как ей вести себя с сыном. Впрочем, не всякой правдой следует с ходу бить по голове. Осторожность! Мудрость! Мягкость!

- Вили знает, что ты спишь здесь?

— По-моему, да. Кажется, я сказал ему, хотя не помню. Ну, мама, что слышно? Расскажи же что-нибудь... Или я буду есть, а ты — молчать?

Он отодвинул тарелку и придвинул к себе чашку холодного кофе. Вдруг он сунул руку в сумку под столом, поискал и вытащил пачку сигарет, подмигнул и шутливо спросил: "Куришь?"

Они сидели друг против друга и пускали дым. Смотри, совсем большой парень! Курит, и, кто знает, какие еще ожидают меня сюрпризы!

- Что у нас слышно?

— Через два дня ты уже будешь плавать во всех здешних бурях, бушующих в стакане. Но, что у тебя, Урик? Как было? И вообще...

Он нахмурился, смутился и решил быть жестоким. Сейчас самое время сказать — "Ты спрашиваешь меня? Что может быть у меня нового? Но у вас, у вас, я вижу, есть новости..."

Он провел по тарелке вилкой, раздался тонкий, дрожащий звук. Молчание. Смущение двух людей, которые подошли к главному и не решаются переступить последнюю черту. Он поднял глаза и в упор посмотрел на Рутку. Она хотела принять его взгляд и заключить этот немой диалог смехом их обоих.

Но он не согласился, и взгляд его стал невыносимо тяжелым.

Она сказала очень мягко: "Ты хочешь что-то спросить, Ури? Я знаю, и..."

— Я скажу тебе, мама, — Ури опять лег на диван, не потому, что устал сидеть, а потому, что ему казалось, с этой позиции его слова будут более теплыми и доходчивыми.

— Я хотел тебе сказать, что считаю несчастьем... считаю большой глупостью уход Вили в армию, но мне трудно говорить об этом... Возможно, я ошибаюсь... Это — серьезное дело, и вы, быть может, будете утверждать, что я не имею на это права. Короче, — до того, как я уснул, мне казалось, что я переверну небо и землю... что хотя бы крикну тебе: почему ты ему разрешила, почему? Или, наоборот, — почему он уходит? И у меня чувство, что это не просто уход... что случилось, мама? Хотя с тех пор, как я себя помню, он никогда не сидел со мной...

Он вырвал эти слова из сердца, но, ощутив это, снова улегся и замкнулся в скорлупе отчужденности. "Мне не хочется говорить теперь. Я пришел, и все. Как ты сказала? В течение двух дней узнаю все... о многом бы хотелось тебя спросить. Но это — как говорится — не принято, и все, что ты сможешь ответить, — не то, что я хочу узнать. Быть может, то — вообще недостижимо. Хватит, мама, оставь. Выкурим еще по одной и пойдем в комнату Вили..."

Она от сигареты отказалась, а Ури закурил и положил пачку обратно в сумку. Он оглядел свои вещи.

— Я еще не знаю, куда их положу на ночь.

— Что?

— Мои вещи. Этель сказала, у тебя полный хаос — все барахло и манатки Вили.

— Да, но завтра он, по-видимому, уезжает. Так он рассчитывает. Завтра в Сарафанд. А затем — кто знает, куда?

Он ожидал, что мать ему все же предложит переехать к ней, хотя бы временно, но она была во власти

смущения, вновь охватившего их обоих. Оно мешало им и обременяло, как ноша, тянущая к земле.

Все же он воспринял это молчание, как благословение на откровенность, ощутив близкую связь матери с чем-то очень дорогим его сердцу. И поэтому осмелился задать ей мучившие его вопросы, которых он, быть может, никогда бы не задал, не возникни между ними теплое чувство.

— Мама, — спросил он немного смущенный и озабоченный, — ведь я... как бы лучше выразиться? — Все время был словно посторонний. Несколько лет тому назад я был еще ребенком. В последние годы очень редко я заглядывал домой. Теперь есть одна вещь, которой я не понимаю... и этот уход в армию, о котором ты еще ничего не сказала...

Она хорошо поняла его вопрос и насторожилась. Ей хотелось говорить прямо, не увиливать, сказать ему все, как есть.

— Послушай, Урири... вообще-то ты должен знать... как бы объяснить тебе? Я пробовала говорить с Вили — он, хотя и не сознается в этом, но, возможно, что его решение связано с некоторыми осложнениями в нашей жизни. То, что он живет в комнате инструктора — это, разумеется, важно, но, как бы тебе это сказать... это — только то, что... внешне... Нам было трудно, очень трудно.

Она вглядывалась в лицо сына. Он был внимателен и ждал теперь от нее полной откровенности. Он не произнес ни слова.

— Нам действительно было трудно, и главным образом — отцу. Ведь он — молодежный инструктор. К нему время от времени приходили для бесед, он должен был проводить занятия, готовить вечера, представления. Ему дали отдельную комнату в новых бараках, он жил один, он жил там один все это время. Ты не знал об этом, да и что мы могли тебе рассказать? Хорошо или плохо мы поступили? Не знаю. Это положение длится с тех пор, как он вернулся из Тегерана. А впрочем, еще до его отъезда... он... я тебе

скажу, Ури, ты должен понять одно, что, может быть, благодаря тебе... во всяком случае... во всем, что касается тебя... ты не должен считать, что наши отношения испортились и что нашего семейного союза больше нет. Ты должен понять, что для тебя этой проблемы нет, в этом смысле ничего не изменилось. Я хочу, чтобы ты знал все, что произошло, но пойми, что все это не так уж важно в сравнении с тем, что именуется: папа, мама, Ури. Понимаешь?

Он внимательно слушал. Говорила она с трудом, расплывчато. Оба знали, надо понимать не произнесенное. А он хотел получить более определенный ответ и все понять. Он спросил, взвешивая каждое слово:

— Я понимаю, мама, я понимаю, что вы... как это говорится, расстались?

— Так это называют, Ури, но это не все. Ты знаком с Аврахамом Гореном? Знаком, он мне рассказал, что вы сегодня встретились... Аврахам Горен — мой хороший друг, мой лучший друг. Лишь в этом году я познакомилась с ним ближе, и мы очень подружились. Ты понимаешь, Ури, я и отец, мы остались друг для друга тем, чем были раньше. Но есть некоторые жизненные основы, к которым мы не могли возвратиться... когда-нибудь ты еще все это поймешь... Я уверена, что тебе не нравятся такие разговоры, но ничего не поделаешь. Это правда... Так о чем я говорила? Мы не могли возвратиться к некоторым жизненным основам, но пусть тебе не кажется, что мир рухнул. Я знаю, что для тебя я и Вили — вечны, как сама природа, как Газелья гора, но ты должен знать, что было время, когда двое молодых людей были растеряны и неуверены и с великим трудом преодолели недоступность этой горы, боролись с каменистой почвой и этому отдали тысячи часов совместного труда... Но самое главное не потеряно — будь уверен. Самое главное не пропало. Нам пришлось чуть-чуть отдалиться, может быть, немного освободиться друг от друга. И ты знаешь — Аврахам Горен разумный и

прямодушный человек, правда, он очень замкнутый, но хорошо понимает людей, и если тебе нужны будут друзья, рассчитывай на него. Он мой хороший друг... Я думаю, что без него моя жизнь теперь была бы намного труднее... да... это вкратце все... ну, я немного заговорила, еще вернемся к этому, правда? Дай мне сигарету...

Рутке было плохо и горько. Она держала речь и произнесла много лишних слов, в которые надо глубоко погрузиться, чтобы обнаружить смысл. И, наверное, она не внушила сыну доверия, несмотря на всю свою откровенность. Ко всему еще — заикалась и не называла вещи своими именами и оставила много вопросов без ответа. "Смотри, он даже не предлагает тебе сигареты, а сидит и грызет взглядом стены!".

Ури поднялся в растерянности и начал ходить по комнате. Возможно, что это так, что многого он не знает и не может еще понять... И все-таки — такого еще не было...

— Странно, мама, я должен тебе признаться, что когда думаю, я многого не понимаю. Я не могу ощутить того, что происходит на самом деле: чему следует удивляться, что принять, чем возмущаться и чем нет.

— А зачем тебе... возмущаться? Ты должен начать свою жизнь в киббуце просто, без предвзятого отношения к кому бы то ни было, без каких-либо счетов.

— Не то. Никому я не собираюсь предъявлять счет. Но, думая о возвращении домой, я был полон радости. Я думал — возвращение в киббуц — ответственность, уважение... Новая серьезная жизнь, потому что я — взрослый. Были у меня и некоторые опасения. Я, к примеру, боялся шуточек: тот же Ури Кахана, избалованный ребенок... Но оказалось...

— Что же оказалось?

Она успокоилась, увидав, что он занят собой.

— Еще не очень ясно. Но мне кажется, что все-таки меня приняли не так, как я ожидал. Ни то, ни се. Вдруг безжалостно раскрыли все проблемы. Знай и молчи, и продолжай узнавать. Это значит, что мне не на

кого рассчитывать. Или я разгляжу сам, или вообще не увижу...

Он прервал речь, будто прикусил язык. Сознательно сменил скорость и со скрежетом затормозил. "Ну, мама, уже почти одиннадцать. Я боюсь, что не увидаю сегодня Вили". Он схватил свои вещи и стремительно двинулся из комнаты.

Рутка потушила свет и поспешила вслед за Ури. Теперь она знала слова, которые душила в себе, и которые душил в себе ее сын. Но было слишком поздно. Ворота закрылись. Ури убегал от нее и от разговора с нею. Они оба были окутаны крошечной тьмой, и Рутка уже не могла ощутить происходящего в сыне, даже если бы на его лице что-нибудь отразилось. Он был недоступен ее пониманию, и тьма поглощала любое движение его души.

Он хотел распрощаться и идти искать себе палатку. Что-то не давало ему покоя, тянуло, толкало куда-то.

— Что же, шалом, мама, я иду к палаткам. Я еще попытаюсь найти отца, раз он завтра уезжает... спокойной ночи, завтра увидимся.

Рутка стояла в темноте. Она хотела немного его проводить, но он не попросил об этом, наоборот, — распрощался.

— Шалом, Ури, спокойной ночи, — она позволила голосу выдать чувства, обуревавшие ее, обняла его голову — руки его были заняты вещами. На лице Ури остались следы губ, щек, большой любви и теплой привязанности матери. Потом она вернулась в комнату убрать посуду. Ей оставалось лишь ждать.

Ури молча ошупью шел вперед, поглощенный новыми мыслями, глаза его не различали дороги. Затем он вступил в освещенные места и прошел мимо каменных домов, мимо темной и чужой комнаты Рутки. Он все еще не был там и не знал, когда будет. А когда там будет Аврахам?

Он прошел мимо столовой, молодого густого

соснового леса и дошел до палаток, за ними вновь открывался простор, а дальше долина, похожая на громадное море; сейчас она, как улегшееся на спину небо, была усыпана звездами огоньков, спешащих к горизонту, распиливающих деревья и зелень, и была наполнена хлопотливым кваканьем лягушек, а также запахами трав, разносимых легким ветром.

Каждый кусочек пространства светился. Казалось, что темный плащ ночи прикрыв тысячи блестящих предметов. Огромное волнение охватило Ури. Он чувствовал, что начинает постигать что-то великое. Несмотря на то, что он устал и мысли его не были четкими, его охватило чувство гордости, постепенно наполнявшее его и превращавшееся в спокойное чувство ответственности. И тогда он все увидел в новом свете, как хотелось бы Вили: воспринял жизнь с той же щедростью, с какой ее принимают другие. Перед тобою жизнь — сложная и серьезная, потребовавшая от тебя большего, чем ты предполагал. И то, что ты пытаешься забыть только что сказанное матерью, и, что еще важнее, забыть все то, что когда-то произошло на самом деле, те секунды, когда был произведен расчет с собственной совестью, когда Рутка и Вили позволили всему этому произойти. Эти секунды послужили причиной бесконечных рассуждений впоследствии. Насколько же все это выше твоих несправедливых, предвзятых суждений обо всем этом, твоей обиды, того кризиса, — грош ему цена, — который сейчас происходит в тебе! Насколько твои родители значительнее, выше тебя, Ури!

А что же, все-таки, будет с твоей жизнью?

Со всех сторон что-то светилось... Не только приятные и добропорядочные огоньки окон, но под каждым кустом, в ветках деревьев и в каждой тени — какой-то дрожащий, накаляющийся, а затем рассеивающийся свет. И воспоминания осаждают тебя.

Отец и мать... Мама говорит — природа... Им недостаточно меня? Не то. Может быть, они — сама природа для меня, а именно я — случайность в их жизни? Их

жизнь... Почему я жил два года с мамой в городе? Из-за чего она убежала? Быть может, тогда наметился их разрыв? Вили только приезжал и никогда не оставался подолгу. Всегда мы ждали возвращения отца, и я не знал мечты, не связанной с его возвращением.

Промелькнула еще мысль.

Почему мама на два года покинула кибуц? Может быть, с тех пор Вили ее не любит? Когда он с ней встретился? Кто встречался с ней до этого? Чего он искал в своих вечных разъездах? Почему он столько ездил? Почему в киббuce его любили? Почему я любил его? Где правда? Как происходило все в действительности? Воспоминания — помнишь ли ты действительно что-нибудь? Что же ты помнишь?

Что-то мерцает — к синему морю опускаются красные крыши... Велосипед... Что еще?

А дальше — чистый, прозрачный воздух, которым вместе с тобой дышат плантации. По тропинкам ходят арабы. Весь день вокруг поют "Хава нагила" и говорят: "Хава нагила, Ури, Ури — хава нагила". Ночью приходят папа и мама и папа стоит за окном, а потом мама стоит за окном. Потом — сказка о медведе.

Колючий забор и шорох ящериц в песчаных морщинках, голубой футбольный мяч, красный мяч... Игра — сначала без Нои, а потом с Нозй...

Шоколадный напиток, поцелуй... И ка-ка. Фу! Дани, нельзя говорить такие вещи. И потом Дани заболел, детям не разрешалось жить в одной комнате с ним, и вместо Этель были другие воспитательницы, но потом он умер и его автомобиль поставили на шкаф, и поэтому Гута грустная.

Едем в кибуц? Едем в деревню, мама? Это за железной дорогой, там, где кончаются плантации? Откуда я взялся, мама? Правда, что дети рождаются из животика? Когда ты родилась, мама? И когда ты умрешь? Ты не умрешь? А папа?

Узкий прямой проход, а за ним густая зеленоватая

тень. За входом — первое смелое приключение детства: куры и яйца! Льется желтое озеро, и в нем, как лодка, плавают скорлупа от яиц, а мама ругает и бьет: "Сколько раз говорила, не толочься в курятнике!".

— Мама, я тебя ненавижу! Ты ослица, ослица!

Маму берут и тащат за волосы, как рассказывалось в вечерней сказке; она кричит, и у нее рот коровы Хумы, которую зарезали, а из ее мяса сделали котлеты, и рот всех, кто ел котлеты, стал как рот коровы Хумы... и мама сказала: "Ури, не будь глупеньким, ешь котлетку, вот я ем..." поэтому ее тащат за волосы по полу, как тряпку.

И она зовет Вили, но не для того, чтобы он помог ей, просто он далеко, и у него есть машина. Зовет Вили, чтобы тот забрал Ури, тогда Вили забирает Ури. И тогда Ури хочет идти к маме, но она кричит: "Не ты, — только Вили! Где Вили?"

И вдруг она зажигает свет и говорит: "Урири, почему ты кричишь? Что тебе снилось?"

И, оказывается, — это не Рутка, а Этель, и в руках у нее лампа, и она одета, как днем: "Спи, спи, ты разбудишь детей!"

Была уже вершина дня. Утром, когда Ури стоял на дороге, ожидая машину, которая его подвезет, он ничего не знал, теперь же он погряз в теплом нутре Гат-Хаамаким, и все же еще ничего не понимал.

Он не мог отделаться от мысли о том, что произошло. Итак, он оказался один. Вили убегает, Рутка развратничает. Мама, мама — развратничает? — Какая отвратительная мысль. Во всяком случае, она его предала. Где-то глубоко зажглась тревога — что же все-таки случилось? И поэтому он очень хочет видеть Вили. Его, Ури, жизнь в его собственных руках, это уже определено, горизонты открыты, разрешение дано. Никто тебе не скажет, что делать. Мама Рутка уйдет в свою жизнь и успокоится, увидев, что ты не мешаешь ей. Заглянешь раз в две недели, и все. Отец далеко. Он не скажет тебе, что делать и чего не делать. Захочешь девушек — найдешь. И они будут отдаваться

тебе с закрытыми глазами. И развлекательные поездки в город, и работа на тракторе, а по вечерам в столовой — суматоха переговоров и передача дел, обоюдные претензии, сплетни и пересуды. Ты обретишь друзей и среди ветеранов, и среди молодежи, с которыми есть о чем поговорить, и которые не стараются прикрыть жизнь одеждами скромников, не стыдятся появиться в шортах, не боятся обнажить плоть и, закуривая, беседуют о чем придется, обсуждают значительное и незначительное.

И раз в неделю или в две пойдешь к друзьям; вернее, так, — хочешь — идешь, не хочешь — не идешь. Куришь папиросы "Плеерс" и отращиваешь усы, забавляешься сочными ругательствами и объясняешь профанам теорию штыка и пулемета, сидишь с расставленными ногами в штабной палатке и с небрежностью откликаешься на приветствия рядовых солдат. Возвращаешься домой и рассказываешь друзьям о своем величии, ловко скрывая при этом факты, и встречаешь полные обожания взгляды девушек, подающих в столовой, и грешишь, грешишь и плюешь на все, и открываешь все новые глубины, сокровища, возможности у девушек. И ты бережешь свое имя и репутацию в киббуце. "Ури? Это один из самых молодых, но удачливых. Вы видели его за работой? Между нами — хороший парень. Но что? Девушки. Ничего не поделаешь, это по наследству, это у него по наследству..."

Он остановился у водопровода и пустил сильную струю воды. Подставил под нее лицо, чуб, потом отряхнулся, вокруг рассыпался хоровод брызг. С яростью вычистил зубы, вытерся полотенцем и пошел обратно.

Между тем, в одной из палаток зажегся свет. Ури пошел на него. Он был уверен, что там, в палатке, женщина, девушка. Он был абсолютно уверен в этом. Из-за неожиданно охватившей его радости, превратившей его шаги в крадущиеся шаги охотника, он весь напрягся, проснулось чувство, вызвавшее дрожь.

Он был целиком захвачен им и устремлен к палатке. Она была белой и блестящей из-за разлитого внутри света. И вдруг он увидел поднимающуюся тень с длинными распущенными волосами. Женщина встряхнула платьем или простыней и выбросила что-то во двор, а затем вернулась в кровать.

Ури прошел освещенное пространство. У него возникло ощущение вины, как будто он подсматривал в замочную скважину. Не будь дикарем. Бери, бери их в руки! Первые слова неважны, остроумие не играет роли. Ночь и темнота! То, что днем страшит, ночью становится действием. Заходи, налетай! Видишь свою руку? Чувствуешь, как сводит пальцы от едва сдерживаемой страсти?

МИКА

В последние ночные часы на виноградники упала тяжелая роса. Она ложилась на широкие и мохнатые листья, стекала по усикам и пряталась между округлыми ветвями. Пышная листва винограда выглядела как черная масса, убегающая в ночь — в ней еще скрывались многие тайны. Кисти висели на растянутой под густыми ветвями проволоке, и капли прохладной росы плавно стекали по ягодам.

В винограднике царила темнота и невозможно было различить ничего, кроме разделенной на ряды темной массы, сладкого запаха и прохлады раннего часа. За оградой двора грохотали огромные машины, и они рассыпали вокруг облака пыльного порошка, как стремительный пешеход-курильщик — пепел. Пыль тотчас становилась невидимой, она распадалась на множество пылинок, приклеивающихся к прозрачным каплям росы. Ложилась на лозы, делала серыми усики, проникала в ветви. Она погружалась в покрытые росой, округлые, как твердые груди, глазастые кисти и приклеивалась к сладким дремлющим ягодам.

Тракторы уехали, а виноградник еще не проснулся. Теперь, в предутренний час, все, что произошло за вчерашний день, слилось с виноградником, стало как бы и его частью. Забытая корзина покрылась росой, прижалась к лозе, и линии ее переплетений смешались с ветками лозы; кусочки бумаги, брошенные вечерним ветром на железную проволоку, отсырели и прилипли к ней; следы ног на песке, наполнившись влагой, словно застыли. Ветка лежала, будто ее только что сломали. Вечер собрал здесь незваных гостей, и те, что пережили вместе ночь, побратались единой природой виноградника.

Еще не успел погаснуть в песке шум тракторов, а уже приближалась машина с рабочими. Сонные колеса содрогались при каждом препятствии, позванивали серпы, прикасаясь к косам.

Мулы тянули свою ношу, светлая пыль вздымалась и снова опускалась на дорогу. Небо на востоке посветлело, и путь по кипарисовой аллее вдоль дороги, до виноградника был обозначен пылью. Она поднималась, как дым, и опускалась легким туманом, в то время как маленькое облачко беспрерывно сопровождало бег коляски.

Когда пробудилось солнце, проснулись и птицы в огородах. Гат-Хаамаким наполнился оглушительным свистом тысячи наглых клювов. Тишина медленно удалилась и скрылась в вершинах гор, в дальних тропинках, в просторах полей. Ее отесняли все сильнее и сильнее — шум птиц, к которым тотчас присоединился рев домашнего скота, а там и голоса моторов колодцев и крики из детских домов, и звуки быстрых шагов людей, и дребезжание посуды на кухне. И, наконец, сильный жесткий взрыв звонка возвестил победу дня над ночью и тишиной.

В то время как звонок прокричал свою речь, огонь охватил гору Тавор и сдернул с нее занавеси, встало солнце. Виноградник залился светом. Бесчисленные росинки начали посылать ему радостные приветствия

и, сдерживая волнение, вытирали чистейшими платочками свои мокрые щеки.

Сверкали нити росы. Свет и тени, меняясь местами, начали борьбу за каждый клочок земли, за каждый куст, за каждого человека. Солнце заглянуло в шалаш для упаковки и позолотило развешанные мешки; винограднику пришлось освободить от темноты грозди сине-фиолетовые, розово-прозрачные, темно-красные янтарно-желтые, светло-зеленые, золотистые — все, все тяжелые грозди, заискрившиеся навстречу восходящему солнцу с такой силой, что, казалось, нижняя часть лозы готова заполыхать огнем.

Утро в винограднике.

По дороге шел человек. Он размахивал шапкой, шел широкими шагами, сонными и озабоченными, как ходят люди уставшие и торопящиеся. Штанины брюк при каждом шаге хлопали по ногам и по песку, время от времени он затягивал ремень, пытаясь подтянуть брюки. Пройдя вдоль виноградника по тропинке, он направился к шалашу. Там он вынул из стоящего на столе ящика садовые ножницы и разложил их в ряд, откладывая испорченные в сторону; затем расстелил листы упаковочной бумаги, и, чтобы они не разлетелись от ветра, положил на них молоток и гвозди. У входа в шалаш поставил одна на другую пустые корзины, а полные повесил на сваи, с которых их забирают упаковщицы. Работал он молча, не вздыхая, не кряхтя, когда что-то падало, его глаза все еще сонно слипались, а движения, как прежде, говорили об усталости. Потом он взял тонкие прутья с белой бумагой на концах и пошел отмечать ими ряды для сбора винограда.

Все было готово, все ждало прибытия рабочих. Человек приподнял голову и осмотрел дорогу, ведущую в киббуц. Она огибала подъем горы широким кольцом, вклинивалась в огород, оранжерею и необработанный участок поля. Миновав шоссе, дорога разветвлялась: широкая ее часть, предназначенная для повозок, продолжала огибать подъем горы, вторая, вью-

щаяся и узкая, для пешеходов, бежала через маленькую калитку к столовой.

Человек, держа свою крупную ладонь козырьком над глазами, увидел, что из калитки, вздымая пыль, выходит большая группа парней и девушек в косынках и шляпах, с корзинами, наполненными едой. Все они шли на сбор винограда.

Он повернулся и вбил палку покрепче. Поднялся ветерок и заиграли белые флажки, создавая в винограднике праздник. Сбор винограда начинался под хорошим знаком.

Он пошел в шалаш чтобы подготовить там все к работе; взял длинные желтоватые упаковочные коробки, осмотрел их и поставил четырьмя стопками. Затем намазал их бока густым клеем и приклеил четырехугольные и тщательно отпечатанные наклейки "Тнувы", на которых было обозначено: "гамбургский мускат", "бейрутский финик", "стамбульский мускат", "белый александрийский". Наклейки разгладил щеточкой, чтобы не отклеились, и оставил сохнуть. Он приготовил четыре вида ящиков, отдельно для каждого сорта. Для "гамбургского муската" — самые большие, для "стамбульского муската" — самые маленькие.

После осмотра полных корзин — вчерашнего сбора — в воздухе повис вопрос: "Сколько мы сегодня отправим?"

Ответ созревает медленно.

— Сколько отправим? "Гамбургского" максимум 100, а может быть, сто восемьдесят или двести. Посмотрим...

Вот так Юзек всегда готовился к работе: когда в виноградник приходили сборщики, им не приходилось терять время попусту, и сколько бы они ни задавали ненужных вопросов и как бы ни старались тянуть время — приходилось тут же брать ножницы и корзины и идти в ряды.

Юзек прошел между сборщиками и показал каждому его место. Они работали по двое в ряд, и Юзек

следил, чтобы словоохотливый не стоял в паре с болтуном, бездельник с ленивым. Нет ничего лучше для сбора винограда чем молчание. Сбор винограда — тяжелая, изнурительная и нудная работа. И те, кто хотят собрать полные корзины отличного, чистого и сухого винограда, должны позаботиться о том, чтобы внимание было полностью сосредоточено на работе. Юзек — ветеран и знаток своего дела. Сколько молодых людей прошло через его руки! И только они вдвоем — он и виноградник — знают, что в конце концов сбор кончается, и еще ни разу не случилось так, чтобы хоть одна гроздь осталась на ветке, хотели они этого или не хотели.

— Сегодня нет новеньких, Юзек! — заявляет сборщица, считаящая себя ответственной за сбор винограда; вместе со всеми она терпит урон из-за каждого новичка, которого приходится обучать всем тонкостям работы. И все-таки Юзек проходит между сборщиками и проверяет их первые корзины. Делает замечание по поводу каждой испорченной грозди и каждой сломанной ветки, каждой мокрой или сморщенной ягоды. "Помните об упаковщицах, — повторяет он, — нервный народ, ничего не поделаешь. Лучше меньше, да лучше!"

Он вышел из одного ряда и перешел дорогу, чтобы попасть в другой. И вот перед ним Мика. Немного смущенная, а, быть может, и взволнованная, она срезает кончик ветки, всем своим существом олицетворяя вопрос: так ли?

— Собираешь, Мика?

Она кивнула головой и кокетливо подняла ножницы: смотри.

— Итак, они все-таки позаботились о том, чтобы у нас сегодня были новички. Тебе что, уже надоела кухня?

— Или я надоела им.

— Кому же ты там надоела?

— А, это неважно. Где мне работать?

Юзек с удовольствием вернулся к делу. Голос его стал тише.

— Да-а... где работать... пойдй сюда, начни новый ряд. Ты когда-нибудь собирала виноград? Возьми отсюда несколько корзин...

Они стояли в тени, в начале ряда, и Юзек начал медленно объяснять:

— Вот, Мика, обрати внимание... Эту гроздь черного "гамбургского муската" ты срезаешь поближе к ветке, чтобы она была как можно длиннее... обычно срезают всю гроздь... кроме этих, конечно, — видишь здесь, наверху? — зеленые и маленькие. Они еще не созрели. Это вообще не виноград. Понятно? Обрати внимание...

Она смотрела на Юзека, он занимал ее больше, чем его поучения. Его большая и тяжелая голова не соответствовала худому телу. Был он волосатый и очень черный, несмотря на то, что большая его лысина была покрыта лишь редким пушком. Щеки отличали синевой, брови были густые, а из ушей торчал клочок черных волос. Голос — низкий и монотонный. То, что делало его в глазах людей скучным, простоватым, на самом деле было каким-то внутренним запасом уверенности, характерным для людей, хорошо знающих то, что совсем неизвестно другим. Юзек заведовал виноградником, она знала о нем это, и больше ничего. Кого она встречала на работе? С кем успела познакомиться в киббуце? Несколько работниц на кухне, дворник, распределители работы, инструкторы, да, конечно, инструкторы ее группы — и кто еще? Со многими она не была знакома, не успела обменяться ни словом, каждый был занят своими неотложными делами. И то, что ей кажется таким важным: девушки и парни, нерешенные вопросы и дискуссии, будущие прогулки и учеба, специализация и многое, многое другое — для них это просто эпизод, еще одна группа молодежи в Гат-Хаамаким. Что вы вечно поднимаете шум?

И все же, среди них есть сердечные и добродушные

люди. Смотри — такой вот Юзек, первая встреча, а какой славный человек. Ведь он... прямой, умный, прислушивается... А ты бы осмелилась попросить у него вечером, если бы тебе понадобилось, карандаш?

— Ты меня слышишь, Мика?

— Да, да, Юзек... да... что ты вдруг спрашиваешь? Все в порядке!

Юзек отошел от нее.

— Вот здесь центральный ряд, видишь? Теперь прохладно, так что не страшно. Но скоро будет очень жарко, и оставлять корзину на солнце будет нельзя. Помни об этом... А там увидим, как ты работаешь...

Он направился к шалашу и, чтобы не терять времени, захватил с собой две корзины, полные свежих гроздей. Несмотря на тяжесть ноши, походка его была уверенной, и когда он вошел в высокие ряды, голова и плечи его выглядели очень гордо.

Мика срезала гроздь и внимательно оглядела ее. Мика была плотная, можно даже сказать, чуть полноватая девушка, как и все девушки из Алият Ханоар, как девушки, пережившие бедствия, страдания, голод и, наконец, обретшие покой. Тяжелый узел черных волос на затылке, темный оттенок кожи, руки, покрытые густыми, легкими волосиками, губы свежие, но покрытые тусклым налетом. Назвать Мику красивой нельзя было, но молодость и женственность в сочетании с девичьей непоседливостью, а также с недоверчивостью — результатом горького жизненного опыта, — наделяли ее своеобразным обаянием. Она была в молодежной группе Вили, группе новоприбывших из Тегерана, и среди них считалась стоящим человеком: педантичным, но полным жизни, привлекательным, хотя и негибким... К ней в конце концов пристало, как это часто бывает, определение — тяжелый человек.

Она бы не попала в виноградник, если бы не бесконечные выяснения отношений с подавальщицами, сплетни и шум на кухне, закончившиеся таким заявлением: "На кухне я больше работать не буду —

и пусть меня выкинут из группы, пусть поставят на сбор винограда — мне все равно!” Ее уговаривали недолго. Работницы на кухне так же хотели избавиться от нее, как и она от них. Они не любили Мику. И дело было вовсе не в том, что стареющие женщины были несправедливы к юной девушке, как это иногда бывает. По-видимому, Мика сама была виновата. Она не сделала ничего, чтобы завоевать симпатии этих женщин. С того самого момента, когда ее назначили на работу в кухне, она была твердо убеждена, что с ней поступили несправедливо.

Все здесь было ей ненавистно: властные крики обедающих — принеси то, подай сюда, и сумасшедшая спешка, и печи и кастрюли, кастрюли... И этот вечный страх. Чего — обжорства? Еды? Корыт? Она не могла разобраться в причине этого страха, а на самом деле боялась ежедневных, постоянных, явных контактов с людьми. Ей не приходило в голову, что она ненавидит не строгую рабочую дисциплину, а свою слабость, свое прошлое.

Не отдавая себе в этом отчета, она, не задумываясь, отказывалась от многих видов работ на кухне. Сначала на ее мелкие капризы смотрели сквозь пальцы и соглашались, чтобы она не входила в столовую, не мыла пол или посуду, пока это не перешло границы, и тут терпение у всех лопнуло. Распределители работы и инструкторы уже знали: с Микой всегда трудно. В конце концов ее перевели на продуктовый склад заниматься сортировкой сыров, соленьем мяса, очисткой риса. И что же? Она устроила скандал: ”Я на кухне больше вообще работать не буду, и пусть меня исключат из группы, поставят на сбор винограда — мне все равно!”

Мика положила гроздь в корзину и окинула ее внимательным взглядом. Все было в порядке. Тогда она нагнулась и, раздвинув в поисках следующей кисти густые ветви, сразу же заметила кисть достаточно черную и спелую; осторожно, чтобы не повредить ягод, она начала трогать ее ножницами и пальцами

левой руки. Мику обхватили вьющиеся по проволоке лозы. Она пододвинулась ближе, втиснулась между ними и тотчас ощутила на висках и пальцах нежное прикосновение тонких нитей, по волосам и лицу рассыпалась паутина, крепкий сладковатый запах распространился вокруг — и хлопотливая плотная стайка насекомых, жужжащих и надоедливых, поднялась из гнили у подножья лозы.

Мика тряхнула головой, на нее посыпались высохшие листья. Некоторые попали под воротник, соскользнули вниз и кололи спину, щекоча и возбуждая страх перед мурашками. Она хотела стряхнуть их, из рук выпали ножницы и вместе с ними выскользнула и упала тяжелая кисть, разбилась, ударившись о песок. Она подхватила ее — и пальцы покрылись липкой влагой; пока она пыталась выбраться с ножницами наружу, шея ее запуталась в ветвях, она ударилась затылком о воткнутую там палку. И это называется сбором винограда?!

Но достаточно было встать и немного отдохнуть, чтобы жадно впитать в себя все: пение сборщиков, шелест кипарисов на ветру, обрывки бумаги на песке, стук молотков из упаковочного шалаша, неясные крики вдалеке и вид киббуца на взгорье, с дымком, улетающим в небо, и бельем, обращенным к солнцу — достаточно было спокойно поразмыслить над этим видом, чтобы убедиться в том, что, по-видимому, это и есть сбор винограда.

Неудача с кистью и все, что произошло затем, не испортило настроение Мики. Даже наоборот, развешило ее. Представить себе, что неприятность, вроде этой, случилась бы на кухне! Как бы они раскричались! Весь мир бы подняли на ноги! А здесь ты наедине с собой. Ищешь кисть и срываешь, срываешь кисть и ищешь... И что же? Да, солнце, пот, физическая усталость, и, ноги, ноги... И силы иссякают! Конечно, работа — это работа, но, будьте уверены, Мика не раскиснет. Работа — суровая необходимость, вот если бы отдохнуть минутку или, например, собирать

виноград сидя, да, неплохое было бы изобретение — медленно проезжать вдоль виноградника и, сидя, сры-
вать кисти. Скоро перерыв на завтрак, и можно будет
немного отдохнуть, напиться воды в шалаше, поди-
виться числу упакованных ящиков, поболтать со
сборщицами, послушать сплетни, обсудить качество
ножниц. Ой, Мика! Ой, девушка! Здесь хорошо, что и
говорить. Здесь хорошо. Виноградник и кухня — день
и ночь. Вот еще одна гроздь, и еще одна — и рука
уже наловчилась, и работа идет споро, ведь скоро
Юзек придет с проверкой.

В это время Юзек хозяйничал в шалаше. Он закры-
вал полные ящики, взвешивал их, записывал вес и
ставил один на другой. Он пододвигал упаковщицам
полные корзины и прислушивался к их болтовне.

— Мика пришла на сбор винограда на целый день?

— Да.

— И ты не удивился?

— Удивился? Не знаю. Пришла и пришла...

Упаковщицы засмеялись. Юзек, как всегда, ничему
не удивляется.

— Она почти год работала на кухне. Мы, например,
удивились. Вдруг захотела работать ножницами. Я тебе
говорю...

Юзек оставался невозмутимым:

— И что из этого? Там что-то случилось?

— Грандиозный скандал. Просто требовали, чтобы ее
убрали. Но самое интересное, что она не поехала с
молодежью на экскурсию.

Юзек, стоя, что-то подсчитывал и писал карандашом
на серой коробке от папирос. Он запутался и все пере-
черкнул, после чего окончательно проснулся: "Вся эта
экскурсия — настоящее безобразие! Придумать такое
во время сбора винограда! Теперь мы не выполним
план. В самом разгаре работ послать двадцать человек
на экскурсию! Этого я не понимаю!"

— Думали, что Вили с ними пойдет. Для того и
устроили экскурсию так рано.

— Думали то, думали се. Но Вили не пошел с ними. И не пошел бы.

Юзек так подчеркнул это "бы", как будто этот вопрос касался лично его.

Упаковщицы работали быстро. Они укладывали черные гроздья тесно одну к другой, пока ящик не заполнялся, и тогда бросали Юзеку: "Ящик!", — а он выполнял их приказ.

Они немного помолчали, потому что думали о Вили, и, наконец, решили выступить в его защиту.

— Он хотел увидеть Ури. А сколько он успел побыть с ним? Немного позавчера и немного вчера перед выездом.

Юзек успокоился, высказав свое мнение и выслушав девушек. Вдруг одна из них, не в меру деловитая, взорвалась, как будто не она все это время болтала вместе со всеми.

— Юзек, нет винограда! Мы тут болтаем, а корзин уже нет. Где подвода?

— Действительно, где подвода? — Юзек направился к шалашу.

— В рядах стоит уже с десятков корзин.

— Кто сегодня на подводе?

— Наш дорогой Ури. Он будет работать с нами, пока молодежь не вернется с экскурсии. Я ему велел грузить ящики во втором винограднике. Но чтобы так опаздывать?!

Упаковщицы проявили осведомленность: "Ури? Он отлично управляется с лошадьми".

— И вот вам... — подчеркнул Юзек с гневом.

Он все еще был занят поисками полных корзин, когда на дороге загрохотала телега — это был Ури со своей каретой.

Юзек увидел его и поспешил к площадке, по которой двигалась телега, привозя полные и увозя пустые корзины, и начал расчищать ее от всего лишнего: рваных корзин, бутылей с водой, корзин с едой, случайного камня — чтобы Ури мог беспрепятственно въехать. Не успел он укрыться за сдвинутой балкой,

как Ури ворвался на телеге, небрежно и лихо зажав вожжи в кулак и ловко управляя лошадью.

— Ну и ну! — в один голос закричали упаковщицы, увидев, как испуганный Юзек с трудом увертывается, чтобы не быть сбитым. Он успокоил их и постарался превратить испуг в радостное приветствие.

Ури, подчеркивая свое безразличие к пешеходам, подогнал лошадь к самой стоянке, и, разумеется, не нашлось ни одной упаковщицы, не оставившей работу при виде гордого возчика.

Телега Ури была переполнена пустыми корзинами, а сам он возвышался над ними. Он оглядел шалаш с высоты своего величия и не сказал ни слова. На мгновение между ним и Юзеком возникла невидимая борьба: кто первый откроет рот. Но Ури был внутренне насторожен и в то же время посмеивался про себя, а Юзек же просто стремился к тому, чтобы работа была сделана вовремя. Правда, он сердился на Ури за его молодецкий въезд, который чуть не пригвоздил его к балке, но не собирался делать из этого события и играть с Ури в молчанку.

— Ури, к делу! У нас нет времени для церемоний.

— Какие уж там церемонии! — заворчали упаковщицы. — Этот типчик даже не поздоровался с нами.

— С добрым утром! — продемонстрировал Ури свое хорошее настроение, готовый принять даже упреки, лишь бы на него обратили внимание. — Доброе утро! Юзек, куда сваливать корзины?

Юзек подошел к нему.

— Я приду тоже туда, попозже, ко второму винограднику, а ты отвези пока туда корзины сборщикам. Видишь? — Где флажки. Сбрасывай корзины по дороге, чтобы не загружать въезд в ряды. Понял?

Ури тряхнул вожжами: "Хорошо, а потом вернуться?"

Теперь упаковщицы могли отомстить ему.

— Вернуться! Вы слышали что-либо подобное? Он даже не знает, что делать. Вернуться! Вези оттуда

виноград, езжай же. Забирай полные корзины в рядах. Это главное.

— Ну, ну! — встрепенулся Ури, — вы еще получите такое количество винограда, что не будете знать, куда его девать. Успевайте только поворачиваться!

— Слушай, Ури, — Юзек повысил голос, желая пресечь пустые разговоры, — пора ехать! — И за спиной Ури добавил, — я сейчас приду.

Ури нашел между корзинами свободное место для ног и встал во весь рост, расставив ноги, распрямив плечи и окидывая всех горделивым взглядом. Ури был отличный возчик, обученная лошадь понимала его с полуслова. О чем разговор? Он ездил на лошадях, еще не научившись как следует ходить. Ури! Вот это человек! После двух дней, проведенных дома, после вчерашнего отъезда отца, после горьких часов встречи и еще более горьких, в одиночестве, — после всего этого он ведет себя так, как будто ничего не случилось, как вел бы себя каждый на его месте — да и почему он должен вести себя иначе? Видели ли вы когда-нибудь, чтобы человек вдруг забыл, как запрягают лошадь? Разве из-за боли в сердце можно забыть то, что знаешь?

В винограднике стояло лето. Внизу у подножия расстилалась тень, но наверху, там, где стоял Ури, весь виноградник был залит солнцем. Последние капли росы давно исчезли. Колеса издавали глухой звук, переезжая сухие ветки, куски мела и комья земли. Настал час, когда тень желаннее солнца, чистая вода заманчивее виноградной грозди, отдых предпочтительнее работы. В это самое время с полным сознанием своего достоинства в виноградные ряды въехал Ури. Здесь, под кустами, стояли полные корзины, и сброшенные им пустые были приняты с криками восторга. Он сошел с телеги, направил лошадь между рядами, останавливал ее окриком у каждой корзины, нагружал корзины и ехал дальше. Так он работал, пока не вышел из второго ряда и уже собирался сесть в телегу и вернуться в шалаш, как вдруг увидел три

корзины, стоящие открытыми на солнце посреди дороги, как будто виноград в них собирались превратить в изюм. Он резко повернул телегу и остановился лишь тогда, когда она столкнулась с корзинами. Из-за зеленых веток тут же появилась их владелица, удивленная девушка с красной косынкой на голове.

— Эй, послушай! — во все горло крикнул Ури, приготовившись дать ей хорошую взбучку. — Эй, послушай!

— Меня зовут не "Эй"! — резко сказала она.

— Как же тебя зовут?

— Меня зовут Мирьям.

— Как раз сейчас меня интересует другое, и...

— Если хочешь, можешь звать меня просто Мика.

— Мика? Очень приятно... Действительно, очень приятно. Ури.

— Я знаю.

— Вот это хорошо. Но все-таки на солнце оставлять корзины нельзя.

Она испугалась, вышла на дорогу и, увидев стоящие на солнце корзины, очень расстроилась. Она подняла на Ури покорные глаза, и можно было видеть, что она чувствует себя неуверенно.

— Ну, что же ты стоишь? — сказал Ури сердито. — Давай их!

Она нагнулась, расставив ноги, чтобы стоять крепче, подняла корзину, поддерживая ее снизу левой рукой и протянула Ури. Она вела себя как новички в первый день работы — все, что им говорят, они выполняют, и каждый, кто на них кричит, становится их начальником.

Теперь Ури уже жалел ее. Зачем только он довел ее до того, чтобы она с такой покорностью таскала корзины? С какой стати он так ведет себя? Это просто свинство. Он нагнулся, взял у нее корзину и только тут разглядел девушку. Хороша! — Смуглая, взволнованная, податливая, с красивыми глазами... И линии тела привлекали взгляд округлостью...

Он спрыгнул с телеги и нагнулся к следующей корзине, руки их встретились, они рассмеялись.

— Ладно, оставь, я возьму их сам!

Мика отошла в сторону, а Ури разместил на телеге еще две корзины. Теперь ему больше нечего здесь делать, пора уходить. А Мика все еще чего-то ждала: ей казалось — не все еще сказано.

— Смотри, больше не оставляй корзины на солнце...

Он взобрался на телегу.

— А ты, Ури, — ответила Мика, поднимая пустую корзину, — постарайся не быть начальником или инструктором, хорошо?

— Один-один, — думал Ури по дороге в шалаш. Безусловно, она привлекательная девушка. А последнее замечание явно относится к Вили. Не делай из себя больше, чем ты есть, и не рядись в чужие перья. Твой отец был инструктором и погонял нас достаточно, а ты, Ури, постарайся не быть таким, хорошо?

— Хорошо, — думал Ури, — черт меня побери, если я буду вам напоминать Вили. Вы еще узнаете Ури! Вы узнаете Ури, Ури, который не слишком осторожен, но очень хорошо знает, чего хочет...

Вчера он шел с Вили к машине, неся чемоданы и прислушиваясь к его шуточкам, и ему казалось, что, когда он вернется, медленно шагая за Руткой и сохраняя определенное расстояние между собой и матерью, все переменится: даже дорога не будет выглядеть такой серой, а деревья — такими желтыми. О чем он вообще думал — или мечтал, — тогда? Полный переворот, все заново! Оказалось, ничего подобного... Как будто бы все было готово к этому перевороту, но он почему-то не свершился. Он не чувствовал бы той боли утраты, если бы мог переменить все: отношение к людям и себя самого — эх, снять бы с себя кожу до кончиков пальцев!.. Он был готов на все, готов отдать себя на волю случая, — стать шофером,

полевым сторожем, изучать педагогику, растить детей, обучать их плаванию, уехать в город, принять на себя руководство полевыми работами, спорить с кассиром или ветеранами киббуца, драться с Аврахамом Гореном, ухаживать за девушками — но ничего не произошло. Сегодня утром он впервые вышел на работу и не сделал ничего, кроме того, что испугнул несколько уток, да прикрылся панцирем гордой неприступности на тот случай, если будет чересчур много вопросов. Он боялся, что начнут расспрашивать, как вел себя Вили при расставании, как чувствует себя он, Ури, и тому подобное. Под таким натиском можно впасть в уныние.

И все же-то-то происходило.

В его душе почти неуловимо свершалась та перемена, которую он сам называл революцией. Постепенно она переберет все мелкое и случайное. Он чувствовал это. При встречах с приятелями он заставит себя болтать, в отношениях с девушками освободится от скованности, которой наградило его время, проведенное в сельскохозяйственной школе для мальчиков — и он сможет встречаться с ними спокойно и деловито, отнесется смелее и внимательнее к их тайным порывам и не станет так уж волноваться, увидев их обнаженные тела. Он сумеет также все осмыслить и противостоять неожиданностям, которые сулит ему жизнь сегодня, завтра и во все времена.

Ури понимал, что снова встретится с Микой. Она не могла представить себе, скольких усилий потребовала от него эта легкая болтовня, с которой обычно начинается короткий и одновременно такой длинный путь — от возникающих чувств до чего-то реального. И поэтому он снова вернется к Мике, чтобы еще раз пережить успех, чтобы преодолеть еще часть расстояния. Он вернется к ней и потому, что она показалась ему необычайно привлекательной.

Мика снова приступила к сбору винограда, хотя чувствовала сильную усталость и ей очень хотелось немного отдохнуть в тени шалаша. Там можно вдо-

воль напиться воды, пожевать хлеба и прислушаться к тому, как Ури развлекает упаковщиц, выкидывая свои фокусы.

Она знала, что он снова приедет за корзинами и старалась работать лучше, наполняя одну за другой. Нет сомнения, — их будущая беседа будет вертеться вокруг корзин и ягод. Она стояла у лозы, облепленной мошками. Чем старательнее она очищала грозди и чем больше склеивались ее пальцы сладким каплющим соком, тем сильнее надоедала ей эта противная лоза, этот жаркий день и это проклятое количество винограда, которое необходимо сдать, когда приедет телега. К тому же болели колени. Несмотря на это, она заставила себя работать еще быстрее. Ничто тебе не поможет; трудись, Мика, трудись!

Черный виноград, большие ягоды... Мошкара? Ничего не поделаешь — снимай, очищай! Главное, чтобы корзины быстро наполнялись хорошим, сухим виноградом.

Вчера, когда она подбежала к шедшему с узлами по дороге Вили, и он, положив свой узел, ласково распростер ей навстречу объятия и сердечно с ней распрощался, Ури не взглянул в ее сторону даже мельком. Он возился в этот момент с узлами, а закончив работу, встряхнулся и сказал: "Пошли, отец, иначе опоздаем". Вили тут же с ней распрощался и пошел за шагающим впереди сыном.

Теперь Ури показался Мике привлекательным. На нем была до пояса расстегнутая рубашка, темная крепкая грудь открыта солнцу. Все, что Мика пыталась укрыть от солнечных лучей, Ури стремился обнажить. Его рубашка не была заправлена в брюки. Когда он нагнулся поднять корзину, она задралась, обнажив стройную талию и спину. Безразличие к одежде — привычка или случайность? Он был очень мил, и ей не оставалось ничего другого, как признаться себе в этом. Конечно, при желании можно было и раскритиковать его: подумаешь, какой гордый! И что это за поведение? И почему ему не придет в голову по-человечески

надеть рубашку? Все это — кокетство, не хватает только усов! Но он не смог бы сильнее завладеть ее мыслями, если бы вернулся в рубашке, застегнутой на все пуговицы и заправленной в брюки и вел бы себя сухо и сдержанно.

Вот Вили она вспоминала как раз таким — всегда аккуратным, подтянутым, вежливым. А первое его появление в Тегеране! Слух о его прибытии распространился задолго до приезда. Те, кто заявлялись до него, повторяли одно и то же: "Погодите! Скоро приедет один человек, уж он-то все устроит. Поедете, поедете. Немного терпения!"

Сегодня она могла бы весь путь от военного польского госпиталя до лагеря еврейских сирот проделать снова с закрытыми глазами. Сначала надо было пройти мимо скопления барачных и печи для сжигания мусора, затем пробраться через дыру в проволочном ограждении, огибая горки пепла, которые высились у печи. Она осторожно шагала между кусками стекла и покрытыми сажей консервными банками, скользила между тонкими деревьями, названия которых не знала, а затем выходила на тропинку. Дорога, покрытая щебнем, вела ее к лагерю детей-сирот, расположенному по соседству с грязным персидским районом.

Входя в лагерь, она всегда натывалась на парней и девушек, по двое таскающих блестящие жестяные коробки, заполненные водой для мытья, питья и приготовления пищи и принадлежащие британским нефтяным компаниям.

— Мирусь, — радостно встречали ее девушки постарше, — вчера еще один приехал из Эрец-Исраэль, он сказал, что скоро приедет человек, который наконец-то сдвинет дело с места. Жалко, что ты не была, вчера было собрание: требуют инструкторов из Эрец-Исраэль!

Они расспрашивали ее о происходящем в военном лагере, в польском госпитале — и Мирусь рассказывала... До сих пор ей не выдали белого халата! Видите, ей приходится ходить в мужском халате, принадлежа-

щем этому противному лысому коротышке — польскому доктору, и, кто знает, нет ли на нем какой-нибудь заразы!

Но ничего не поделаешь! Все же лучше мне оставаться там, в госпитале. А вы как думаете? Перейти сюда, чтобы кое-как питаться, таскать из персидского района жестянки с водой и трястись от страха при появлении военных?

— Мирусь, дорогая, приходи завтра — будет встреча субботы. Будем разучивать песни на иврите. Постарайся, Мирусь, удери на полчаса...

Она жила в тени этого противного карлика, этого доктора. В военном госпитале никто не говорил, что она гоя, но никто также не говорил, что она еврейка. Этот доктор был в свое время директором польского сиротского лагеря в советском Узбекистане и после войны собирал для него пожертвования из Польши. В конце концов деньги осели в его кармане, а польские сироты остались в колхозах. Те из них, кто не сумели выкрутиться сами — не спекулировали сигаретами и тканями, и не продавали все, что можно, лишь бы удрать, так и остались там. А вместо них этот лысый карлик вывез много евреев. Но среди них вместо сирот были бородатые женатые люди и даже отцы семейств.

Когда они остановились в Иране, стране конституционной монархии, доктор снова начал собирать деньги. Евреи хотели создать для себя отдельный лагерь, но в аэропорту Тегерана им чинили всевозможные препятствия. А когда уже можно было сформировать отдельный лагерь, доктор потребовал за каждого еврея кругленькую сумму. Прошло немного времени, и лагерь был готов. Некоторые остались с доктором, в том числе девушки, объявившие себя нееврейками. Мирусь не говорила этого, она просто не хотела идти со всеми. Ее родители и родственники погибли в районах истребления, и она не хотела слишком удаляться от этих мест. И кроме того, ее удерживало еще что-то, о чем она никогда не говорила.

Польских сирот у доктора отобрали польские женщины. Положение многих польских девушек было настолько тяжелым, что им не оставалось ничего другого, как подрабатывать по ночам среди офицеров местного гарнизона. Доктора перевели в госпиталь, и тогда он радостно объявил Мирусь: "Теперь, доченька, ты тоже переедешь в госпиталь. Мы сделаем из тебя сестру милосердия с красным крестом. Видишь, как я тебя ценю, доченька".

Она ненавидела его, но белый халат взяла с радостью: не для того, чтобы в нем щеголять, а чтобы иметь возможность прожить, не прибегая к тому средству, к которому прибегали другие девушки.

Постепенно она стала послушной. Она не осмелилась удрать, потому что боялась окунуться в еврейскую бурлящую жизнь, огороженную колючей проволокой. Она не верила в Эрец-Исраэль и думала, что это такая же выдумка, как рай для беженцев из Средней Азии. Единственный путь — это путь наверх к власти имущим. В ее воображении он представлялся украшенным сверкающей позолотой башней, ей слышался звон колоколов и нежные приветствия — все это могло быть только в Польше.

В гостиную у дяди, брата ее матери, у которого она жила, когда училась в гимназии, в этой холодной гостиной висел темный огромный ковер, на котором разноцветными нитками был вышит Краков. По утрам, когда из-за сильного холода она просыпалась, сверкающий луч, падающий из окна, освещал вышки башен, и казалось, что голуби над ними взмывают ввысь, от тяжелых складок исходит звон колоколов, над картиной носилась золотая пыль, и из-за этого все в ней двигалось, пело, танцевало.

Дрожа от холода, лежала она тогда с широко раскрытыми глазами, рисуя себе великолепные картины сказочного королевства. Оно представлялось ей в виде большого пассажирского агентства, окна которого покрыты золотыми буквами, фотографиями кораблей и пальм. Она с восторгом смотрела на машины с

сидящими в них девушками, говорящими с варшавскими интонациями, букеты цветов, длинные перчатки, которые снимают медленно и чуть безразлично, галантные поцелуи. В те дни она чрезвычайно интересовалась модами. Точно определяла название меха, знала имена кинозвезд, с прилежанием учила английский язык, мечтала об Америке или, — на худой конец — о Варшаве, мечтала о высоких, обутых в сапоги, блондинах.

А теперь ненависть к тяжелым временам усилила ее стремления на Запад. Шелест белых халатов, польский язык, работа с доктором — таков был путь, который, казалось ей, приведет к осуществлению ее мечты.

Когда из Эрец-Исраэль прибыли посланцы, подругам пришлось почти насильно потащить ее послушать о чем они говорят. Однако постепенно у нее вошло в привычку тайно пробираться в еврейский лагерь чтобы узнавать новости. Сама она охотно, хотя и с проклятиями, рассказывала о своем прошлом. Девушкам интересно было слушать ее. Боже мой, какой ужас! И подсознательно они были благодарны ей: ее рассказы помогали им поверить в то, что их решение — правильно, и их судьба — вдали от этого мира грязи и фальши.

Постепенно она вырывала из сердца все, что ненавидела. В то же время не забывала зорко следить за тем, чтобы не опоздать и вовремя вернуться на свое место. Она была словно заморожена доктором. Ей казалось, что еврейский лагерь — это продолжение тяжелых времен, мучительных скитаний, стремление к ненужным трудностям, в то время как здесь, в госпитале, можно спокойно дожидаться лучших дней. А своего она добьется!

В ясный день во двор лагеря, завешанного сохнувшим бельем, заставленного котлами с пищей, украшенного короткими, прикрепленными кнопками объявлениями, въехала машина британского консула; из нее

вышел человек с двумя чемоданами и легким движением отослал машину.

Через несколько минут на доске объявлений лагеря появилось три новых, написанных по-польски, по-еврейски и на иврите: "Сегодня вечером состоится встреча с Зеэвом Кахана из Палестины. Присутствие всех обязательно".

Собрание проходило в кабинете управления, и после него все отметили, что впервые не было сказано: "Подождите немного, скоро придет один человек, уж он-то все устроит".

Когда девушки встретились с Мирьям, они были в прекрасном настроении, словно каждая обручилась с чудесным парнем.

— Мирусь, он ясно заявил, что пароход в пути. Он сказал, что не оставит у поляков ни одного еврейского ребенка, уничтожит лагерь и составит список всех евреев, живущих среди поляков. Он сказал, что мы должны перевести всех сюда, к нам. Что ты на это скажешь, а, Мирусь?

Мирьям страшно разволновалась. Она и не подозревала, что в глубине души давно ждала, чтобы какая-то высшая сила приняла за нее решение, чтобы ей не надо было ничего решать самостоятельно. Но все-таки гордо заявила: "Вот как! Не больше и не меньше? Ну, это мы еще посмотрим!"

Тем временем события разворачивались стремительно. Лагерь словно вырвался из сна, и евреи начали паковать и заполнять анкеты с указанием направления, так как часть должна была ехать сушей, а часть — плыть морем из разных портов вдоль всего индо-арабского побережья. В американских магазинах были закуплены консервы, были приготовлены сотни паспортов, настоящих и фальшивых. Выбрали инструкторов, которые объявили войну польскому языку — "идиш — как путь к ивritу!" Проснулись политические страсти, и многие стряхивали пыль с членских билетов Гистадрута. Все эти люди, настрадавшиеся в скитаниях, потерявшие надежду, успевшие нарушить законы пол-

дюжины государств и наконец соприкоснувшиеся с истинными ценностями и понявшие их, с восторгом внимали вестнику перемен — Зеэву Кахана, Вили.

Зеэв Кахана был скрытным человеком. Хотя он жил в лагере вместе с еврейскими сиротами, чего не делал до него ни один из прежних посланников, комната его была недоступной для посетителей. Людей он принимал в секретариате. Там у него был простой деревянный стол и несколько стоявших вокруг стола и вдоль стен стульев. Он сидел спиной к карте Палестины, справа от него на столе стояла голубая коробка для сбора пожертвований в земельный фонд Израиля ("Керен Каемет"). Он действовал самостоятельно, хотя не проявлял желания командовать; держался же уверенно и спокойно.

Ежедневно вокруг стола Вили собиралось правление лагеря, чтобы обсудить судьбы людей, обращавшихся к ним из разных мест Польши. Правление руководствовалось в своих решениях единственным принципом: среди поляков нельзя оставить ни одного еврея, всех необходимо перевести в эмиграционный лагерь.

Мирьям во всеуслышание заявила, что на комиссию не явится. Что это еще за комиссия? Она не прочь поговорить с Вили, он не людоед, но — комиссия? Кто там заседает? Кто они такие, эти люди из комиссии, между нами говоря?

Вили внимательно прислушивался к тому, что говорили о Мике и старался понять, почему она упорно не желает предстать перед комиссией. Ее подруги пересказали все, что она говорила о лагере и его, Вили, комиссии, ничего не убавив при этом, но кое-что добавив. Ему стало ясно, что эта трудная, упрямая девушка имеет какие-то блага в польском госпитале, и что вытащить ее оттуда будет нелегко.

Поэтому он решил встретиться с ней наедине — к тому времени он уже был сильно утомлен и нетерпелив, но Мирусь согласилась прийти неожиданно быстро и явилась точно в назначенный час.

Вили попытался улыбнуться девушке, он старался

держаться непринужденно и ни на чем не настаивать, но настроен был решительно.

— Твое имя?

— Мирусь Радимски.

Он на мгновение заглянул в бумаги, снова посмотрел на нее и сказал, как ни в чем не бывало:

— Садись, Мирьям Райзельман.

Мирьям села. "Да, он не очень-то ласков со мной", — подумала она. Вили откровенно разглядывал ее. ("Какие они невежи, эти, из Палестины"...). А он понял, что перед ним человек, которым нельзя пренебрегать. С чего начать, что сказать ей, сестре милосердия Красного Креста?

— Послушай, Мирьям, — перешел он на идиш, — ведь ты понимаешь по-еврейски, правда? Я предпочитаю не говорить по-русски — из-за англичан, а по-польски я говорю плохо. Послушай... я мог бы произнести большую речь, потому что мне известно твое положение. Ты считаешь, что мы не имеем права... что твой случай исключительный, а я тебе скажу, что как раз он-то — классический для еврейской сироты в наше время. Ну, оставим это. Но я... не забывай, кто я. Ведь не могу же я судить о тебе иначе, как об одной из многих. Имею я право говорить с тобой откровенно или не имею, скажи мне, Мирьям!

Он произносил ее имя по-новому, очень привлекательно — на иврите, с музыкальным и выразительным ударением. Мирьям молчала, сложив ладони и наклонив голову — поза ее говорила о сосредоточенности. Когда его голос повышался, она вздрагивала и вслушивалась еще внимательнее.

— Итак, Мирьям, вот что я тебе скажу — твои подруги рассказали мне о тебе многое. Хотя все равно я знаю о тебе мало. Но я не хочу, чтобы ты осталась здесь с этим доктором. То есть, извини, с польским госпиталем... Я тебе скажу правду...

Он приблизил к ней голову, и поневоле она подняла на него глаза.

— Скажу тебе правду: я их ненавижу. Все евреи

ненавидят их. Они такие же гнусные, как немцы. Даже хуже. Ты так не думаешь? Постарайся понять правду, а?

Мирусь молчала. Вили хотелось бы, чтобы она тоже говорила, но ему ничего другого не оставалось, как вести разговор одному, и он мог лишь стараться говорить как можно сердечнее, мягче и доверительнее.

— Я знаю, ты боишься, что тебя не отпустят. Нужно удрать, бросив в лагере все. В каком состоянии твои бумаги — на случай, если будет проверка в пути?

Он закончил вопросом, но она все молчала. И ему стало ясно, что она вовсе не волнуется. Подобное молчание легко могло закончиться тем, что она встанет, скажет несколько безразличных слов и удалится. Как он ни старался объяснить ей все, до ее сознания ничего не доходило. Тогда он неожиданно изменил тон. Он повел речь к главному — убедить ее, что у нее нет другого пути. Она упряма? Что же, я уважаю настоящий характер. Но она обязана понять, что она — еврейка. И если захочет, сможет привлекать к себе людей. Такая девушка, если пойдет с нами, потянет за собой других. А пока — к делу:

— Только не думай, Мирьям, что ты будешь молчать и в душе смеяться над нами. Мы тебя не оставим, как не оставили бы ребенка на съедение волкам. Все очень просто: пока мы не вырвем зубами и когтями всех евреев, старых и молодых, я тебе обещаю, мы не двинемся отсюда. Ты сможешь гордиться тем, что удержишь весь караван.

Неожиданная ярость парализовала Мирьям. Еле сдерживаясь, она молчала, и в молчании ее все еще не было согласия, она все еще пыталась упрямитесь, что-то горькое стучало в груди: ты ведь мечтала совсем о другом!

Он не почувствовал, что с ней происходит. Ему казалось, что надо быть еще настойчивее, даже если придется вывернуть ее душу наизнанку. Он встал, остановился за ее спиной и тут только заметил, что она не следит за ним взглядом. Тогда он усилил атаку.

— Только не думай, что мы задержимся здесь надолго.

го. Мы найдем пути вывезти каждого еврея, хочет он того или, к нашему сожалению, не хочет...

Мирусь затрепетала, не глядя по-прежнему на него. Она знала лишь одно, — он за ее спиной, все повторяется: допрашивают, пугают, уговаривают... что он будет делать дальше? И что ему о ней рассказали? Уж не думает ли он связать ее и тащить насильно? Будут ли они ее бить, чтобы она не сопротивлялась? Она попыталась успокоиться: глупая, ты что, действительно, боишься? Да, боюсь, конечно же, боюсь! В его руках сила, какое ему до меня дело? Что они от меня хотят, все эти сильные люди? Что им нужно от меня?

Усевшись, он заметил, что она дрожит, и понял, что перестарался. Ох уж эти девушки! На первый взгляд — неприступная крепость из хитрости и упрямства, а в конце концов оказывается, что перед тобой просто-напросто еще одна раненая душа. Он зажег сигарету, придвинул коробку к пальцам Мирьям и мягко спросил: "Куришь?"

Она нащупала коробку, взяла сигарету и сама зажгла спичку. После двух глубоких затяжек запрокинула голову и задумчиво выпустила дым в потолок. Так, значит, он ищет сближения... Она еще внутренне дрожала, но теперь поняла, что это был не страх. А может быть, ее волнует близость этого человека? Глаза ее были устремлены в потолок, но она ощущала всем телом, что он сидит здесь, рядом, по ту сторону стола, что он опирается своей широкой спиной о стену и пристально рассматривает ее — взглядом взрослого человека. По привычке прежних лет, она решила изменить поведение. Стала мягче, притворилась умиротворенной, попыталась заговорить. Вдруг ей удастся перехитрить его?

— Я... — произнесла она на идиш хриплым и униженным голосом, — я еще не знаю. Я не верю в Эрец-Исраэль. То есть я не хочу сказать... Я не хочу уезжать... Но... — Она опустила голову и посмотрела на него увлажнившимися глазами. Этот человек приехал

из Палестины? Откуда в нем это непонятное — вроде бы он одинок, вроде бы в нем что-то темное, непонятное? Чего он ищет? Чего он, в действительности, хочет? Она расслабилась. Она помнила, что прервала свою фразу, означающую отказ, примирительными словами. И продолжала: — Скажи правду... там, у вас, мне в самом деле будет хорошо?

Но что же, все-таки это за человек из Эрец-Исраэль? Что она наделала! Теперь в нем заговорил его дар оратора, проснулся жестокий талант убеждать, и он смотрел на нее спокойно и хладнокровно. Пролетел час, а вопрос Мирьям — какая же я дура! — остался без ответа. Он бросал слова уверенно, как будто судьба ее была решена.

— Там твое место — это все, что я знаю. Все остальное зависит от тебя.

И сразу же начал заниматься бумагами, как будто в комнате никого не было.

Она сидела тихо и видела перед собой сильного, сдержанного и скрытного человека, представителя неведомого мира. Больше он к ней не обращался, и она чувствовала, как глаза ее наливаются слезами. Этот человек, Зеэв Кахана из Эрец-Исраэль знает, что говорит. Ведь он — честный человек. Боже мой, честный человек! Нет, моя дорогая, ты просто ничего не понимаешь. Рассказывают, правда, что он приехал не для того, чтобы разбогатеть, обманывать сирот, покупать девушек сигаретами и увозить их на принудительные работы, а только для того, чтобы нам было хорошо. Он посвятил этому свою жизнь! За его спиной сила — киббуц, гордые парни и девушки. В Польше одни смеялись над киббуцами, другие хвалили их! В этих киббуцах удивительные люди, их не интересует ни торговля, ни карьера, они работают на земле и воспитывают детей. Ах, Боже, Мирусь, это же конец — Эрец-Исраэль, киббуц, а не Польша. Как там живут, что там за люди, Боже праведный?..

Мирьям рыдала, а в промежутках между рыданиями бормотала, что вспомнила папу, маму и всю семью:

как это она откажется от связи с ними, и что будет — ведь ей, возможно, удалось бы встретиться с ними — а если уедет так далеко? То есть уехать именно теперь, когда, может быть, как раз теперь они могли бы встретиться? Ну вот, поэтому она и плачет — что поделаешь, плачет...

Так возник союз между Микой и Вили. Вытерев слезы, она прошлась по улице, чтобы проветриться и забыть о всех переживаниях, а затем пошла к подружкам и с энтузиазмом расхваливала им Вили — она втолковывала им, что давно подумывала ехать в Эрец-Исраэль. К тому же, говорят, что оттуда будет легче связаться с Польшей... нет, ничего не скажешь — это чудесный человек!

Вили после разговора с Микой чувствовал необычайную усталость. Он по привычке перебирал свои бумаги и вдруг поймал себя на том, что делает это машинально.

Не очень-то это красиво — быть таким грубым с сиротами! Подумаешь, доблесть — воевать с ними! Он отставил бумаги и долго смотрел в окно.

Перед окном развевалось на ветру белье. Ему вдруг захотелось узнать, что происходит во дворе, и он поднялся с места. Чувство острого удовлетворения всегда овладевало им, когда он думал о работе. Отдать все силы, работать без усталости, быть преданным только одной цели — чтобы они поверили нам, восприняли наши идеалы и пошли вместе с нами создавать совсем новую жизнь!

— Не более и не менее, — рассмеялся он; и на лице его проступило выражение немного ироничной, немного отчаянной грусти. Такой вот разговор, без сомнения, — настоящий провал с воспитательской точки зрения. Она даже рта не открыла. Зато ты, вождь, много чего наговорил. И к чему в конце концов пришел? Довел человека до слез.

Тряхнув головой, будто пытаюсь избавиться от назойливых мыслей, Вили отпустил себе грехи и подошел к окну. Нет, нельзя тратить силы на такое занятие —

самоанализ. И все же игра стоит свеч, так или иначе, — он добьется, что ни один еврей не останется в польских переселенческих лагерях. А что касается Мирьям Райзельман — или как там она себя называет, Мирус? — он еще с ней встретится в более подходящих условиях.

Белье неслышно развевалось на ветру и некуда было от него деться. Перед отъездом в лагере была последняя большая стирка, и женщины вытащили на свет божий все свои сокровища. Между веревками бегали детишки, и было заметно, что в самом лагере никто не занимается ничем серьезным — ни воспитанием детей, ни окраской стен, ни уборкой двора, ни даже выяснением отношений.

Лагерь ему поверил.

...Мика взяла кисть пальцами и, намереваясь положить ее в корзину, заметила, что корзина полна. Она начала искать пустую и, держа кисть в руке, вышла на дорогу. Там она увидела, что сборщики выходят из рядов и весело переговариваясь, направляются к шалашу на завтрак.

Это означало, что ей удалось обмануть время, — она совсем не почувствовала, как оно ее перегнало и подвело к завтраку. Вот что такое воспоминания! Казалось бы — ненужная свалка, а как влечет к ней!

Она пошла вслед за сборщиками, по дороге весело обрывая ветки. Еще вчера она считала, что работа — это несчастье, от которого невозможно удрать, и удивлялась: как это человек может работать, оставаясь в то же время веселым? Теперь она не только напевала про себя, но и искала глазами в винограднике лошадь или хотя бы ее тень и была уверена, что к концу дня голос ее присоединится к хору сборщиц, и она весело поедет на телеге домой.

В шалаше уже вовсю пировали. Вокруг кувшина с водой (бывшего молочного), заржавленного, гнutoго, с обломанными ручками, собралась шумная компания девушек и Юзек во главе их. Постукивая эмалированной кружкой, он разливал воду. Возобновился

вечный спор между упаковщицами, находящимися за перегородкой из корзин, и сборщицами: имеет ли право сборщица помыть руки водой или это непозволительная роскошь — вода-то ведь предназначена для питья!

Кто-то предупредил: "Следи, Юзек, чтобы не нагрязнили здесь!".

Кто-то из-за корзин заявил: "Я заказываю кружку! Кто кончит пить, пусть даст ее мне".

Завтракавшие нашли себе место — кто в тени шалаша, кто в тени ящиков, а кто в тени виноградника. Они сидели или полулежали, опираясь на локоть и откусывая маленькие кусочки сухого хлеба. Более хозяйственные расстелили у ног мешки и уселись поудобнее. На мешке — корзина, на корзине — расстеленная газета. Тут, только тут, начинается самое главное. Лук, два помидора, маринованный или свежий огурец, несколько ломтей хлеба, намазанных толстым слоем маргарина, покрытого повидлом или творогом; яйцо, щепотка соли, кисть "бейрутского", лучше которого к завтраку не сыщешь, зеленый и сочный перец и, в довершение всего, — вчерашняя газета, чтобы усладить еду спокойным чтением.

Упаковщицы тоже прекратили работу и оставили на столах пузатые, полные винограда ящики, над которыми упаковочная бумага колыхалась, как платье на беременной женщине. Упаковщицы уселись возле корзины на столе, вытащили маленькие белые прозрачные ломтики хлеба, яблоки, и чтобы снимать с них кожуру — ножички.

Ури в шалаш еще не вернулся. Суматоха вокруг воды продолжалась, и Мика не знала, где ей усесться. Упаковщицы позвали ее и предложили место за столом.

Она села и начала с аппетитом завтракать. Упаковщицы оглядывали ее.

— Перемена климата, а? Улучшает аппетит, правда?

— Да, — Мика кивнула головой, челюсти ее зарабо-

тали так энергично, словно она уже забыла, как презирала этот процесс, работая на кухне.

Без особого шума, на телеге, груженной корзинами, в шалаш въехал Ури. Телега задела группу девушек, пьющих воду, и возникла паника. Все обрушились на Ури:

— Воображала!

— Из-за тебя мы разлили всю воду!

— Разве так въезжают в шалаш?

— Деревенщина!

Мика смеялась вместе со всеми и если бы не крошка, застрявшая в горле и заставившая ее замолчать, сердце разорвалось бы от смеха и удовольствия. Она видела, что бранили его те, кто родился в киббуце и позволяли себе это по старой дружбе. Городские девушки, приехавшие помогать во время сбора винограда, сидели тихо и молчали.

Ей тоже хотелось бранить его, включиться в этот союз грубоватых людей, так беззлобно переругивающихся. Вот и ей бы шлепнуть Ури или ругнуть его — без страха, зная, что их дружба прочна и никакая перебранка ей не опасна. И ей бы вот так же не обращать внимания на намеки и шуточки и так же бросать слова, ничего не значащие, но сердечные!

Ури уже снял корзины с виноградом и привязал лошадь к столбу. Потом вынул большой пакет с едой и начал разворачивать его, подыскивая глазами местечко, чтобы поудобнее устроиться.

Теперь Мика удивлялась тому аппетиту, с которым недавно жевала хлеб — она уже не могла проглотить ни крошки. Хлеб показался ей совершенно безвкусным. Она встала, держа в руке лопот.

— Ури! — испуганно закричала одна из упаковщиц. Достаточно было одного взгляда, чтобы Мика поняла, — это относилось к лошади, грызущей своими большими зубами столб, к которому была привязана, да с такой силой, что весь шалаш задрожал. Ури стегнул лошадь прутиком и сразу же, спокойный, отошел. Мике вдруг стало жалко лошадь. Она обошла ее и оста-

новились возле ее головы. Это была большая белая усталая голова, венчавшая толстую шею с мохнатой гривой. Поднести лошади на ладони остатки хлеба? Но Мика боялась ее, она вообще боялась животных. Но ей очень хотелось быть замеченной именно сейчас, хотя некоторые, наверное, оставили бы это без внимания, как если бы она гладила кошку. Раньше ей никогда бы такое не пришло в голову — гладить лошадиную голову, — но в это странное мгновение ей это показалось очень важным.

Острый лошадиный запах ударил Мике в лицо — запах пота и прелого сена. Лошадь наклонила голову и вздернула ею — ее кусала муха. Зашуршала цепь, и с металлическим звуком задрожали концы дышла.

Мика не замечала происходящего вокруг, а видела только большую лошадиную голову, прямоугольные скулы под косящими глазами, щетину на нижней челюсти, губу, искривленную в судорожных поисках воздуха... она протянула руку к самым лошадиным губам. Та потянула носом, сухая и жесткая губа нащупала ее ладонь; лошадь слизнула хлеб и сразу подняла его вверх — стараясь побыстрее отдалиться от опустевшей ладони.

Мика положила влажную руку на покрытую шерстью шею, незаметно вытерла ее и поспешила спрятать в единственном узком кармане брюк. Между лопатками она почувствовала острое прикосновение оглобли, которое, правда, совершенно не испугало ее. Она уже собиралась уходить, как вдруг Ури издал крик: "Вио, Беленькая, Вио!". Лошадь двинулась вперед, толкнув Микку сильным ударом. Девушка испугалась и громко закричала. Ури рассмеялся. В первое мгновение она люто возненавидела его, но сразу же поняла, что он ей очень нравится... Правда, в ту минуту ей было не разобраться: влюблена ли она на самом деле или ей это только кажется, во всяком случае — он сильный, смелый и веселый и ее к нему влечет, это уже определено...

Лишь теперь она поняла, что выглядит смешно и

подняла руку к лошади. Лошадь опять отодвинулась, и телега ударилась о балку сзади; Мика вернулась к своему месту возле упаковщиц, где теперь за разложенной на столе едой сидел Ури.

Он улыбнулся ей — то ли желая помириться, то ли готовясь к новой шутке:

— Ты, Мика, не приучай лошадь к хлебу. Ведь это... как это называется... непедагогично!

— Что ты говоришь! — подхватила Мика разговор, — а ты всегда поступаешь только педагогично?

Он не успел ответить на этот принципиальный вопрос, как она, схватив один из его ломтей, подскочила к лошади и воткнула половину ей в зубы. Лошадь немедленно зажевала. Ури вскочил с места. Мика со второй половинкой ломтя в руке начала удирать, она бежала все быстрее и смеялась все громче, а Ури следовал за нею. Они бежали между виноградными рядами, и Мика кричала весело и радостно, как кричат дети, бегущие наперегонки. Она уже давно выбросила остатки хлеба, но все бежала и бежала, и Ури пришлось припустить, как следует, чтобы поймать ее и схватить.

Обнимая ее дрожащими руками, он вдруг почувствовал, как в его лицо ударило — словно порыв ветра — ее девичье обаяние. Они вдруг оба перестали смеяться и, все еще в тесном объятии, повернулись назад, к многочисленным зрителям, наблюдавшим за ними из шалаша. И когда Ури опустил руки, они еще стояли рядом и молча поглядывали друг на друга.

Притихшие, ослабевшие, на приличном расстоянии друг от друга, они вместе вернулись в шалаш. В шалаше все осталось по-прежнему. Одни молча курили, другие вели немногословный разговор; но все, кто были в шалаше, думали о том, что пролетают последние мгновения отдыха.

Юзек, безразличный, как высохшее дерево, сказал: "Ури, сейчас ты поедешь домой и привезешь еще ящики. Эти шоферы — просто несчастье!".

Она с трепетом ожидала ответа Ури, первых его слов после случившегося.

— Почему бы и нет, — ответил он, ища согласия в глазах Мики. — Выпью дома стакан чаю. Эта шалунья отдала лошади мой завтрак, слышали ли вы про такое когда-нибудь?

Никто его не слушал, кроме Мики; она почувствовала, что состояние Ури радостно и причина этой радости — то, что возникло между ними.

Ури вскочил на телегу, уверенной рукой развернул ее и через мгновение телега уже неслась, поднимая пыль по дороге в киббуц. Юзек посмотрел на часы, произнес решительное "ну", объявляя сборщикам, что пора приступать к работе. "Уже девять, друзья, — ничего не поделаешь!".

Теперь в работе не было той легкой утренней радости, зато зашел серьезный разговор, — заспорили насчет болезней винограда.

Мика вернулась в свой ряд и с удовольствием погрузилась в молчание. Ее подруги, конечно, узнай, какое значение она придает минутам, проведенным с Ури, смеялись бы. Наверное, она действительно глупа, как те легковверные девушки, которые, если парень протянет руку, уже мечтают о замужестве. Ей не следовало бы так волноваться из-за этого случая. Обнял? Ну и что из этого? Она знакома кое с чем посерьезнее объятий... Настало время, когда ее опыт должен стать для нее чем-то вроде тормоза, который не позволит поддаваться мечтам, чтобы впоследствии не оказаться в дурочках.

Но как она ни старалась, ей не удавалось освободиться от возбуждения, которое охватывало ее снова и снова при воспоминании, как он обнял ее и быстрым, сильным рывком притянул к себе. Через час после того, как Ури впервые ее увидел, она уже была в его объятиях, а Вили — Вили два года жил в ее сердце и никогда не дотронулся до нее пальцем, не приблизился даже на волосок.

По дороге в Палестину, во время утомительного плавания она считала Вили самым необыкновенным и чудесным человеком. Во всяком случае, он не шел ни

с кем в сравнение. Расхаживая по судну, свободно разговаривал на нескольких языках; роль руководителя, приказы которого всеми выполнялись безоговорочно, умел сочетать с мягким обращением. Учил и воспитывал людей с уверенностью человека, хорошо знающего свое дело; рассказывал о киббуце, о его возникновении и каждодневной жизни, выпускал ежедневную газету, организовал хор, разучивал с детьми песни и даже занимался с ними спортом. Мика была уверена: этот человек умудрен светлым знанием, — что можно делать и чего нельзя. Она до одержимости верила, что он претворит в жизнь все, что проповедует, и что его строгость подобна суровости преданного своей вере монаха и он имеет право требовать от людей подчинения — право того, кто сам достиг большой внутренней и нравственной дисциплины. Чувствовалась в нем и трезвая мудрость человека, много видевшего и хорошо понявшего жизнь, а также здравость мужчины, который не повторит однажды совершенной ошибки, и уверенность в себе человека, который много раз в своей жизни был счастлив; а еще ощущалась в нем честность, свойственная тем людям, которые у вас ничего не просят, да и не в ваших силах было бы подкупить их чем-нибудь. Ей казалось, что во всем мире не разыскать подходящей награды для него. В нем сосредоточены безграничные способности, полнейшая душевная независимость и глубокая сердечность в отношениях с людьми. Во время путешествия Мика старалась сдружиться с девушками, которые были ближе к Вили. Как она завидовала тем, кто общался с ним как с равным! Она не могла так, — она не воспринимала его, как обыкновенного человека. Считала себя недостойной его внимания, его общества и все же стремилась к сближению с ним, нуждалась в нем и страдала, поняв, как ее влечет к нему. Она была уверена, что не имеет права свободно, просто прийти к нему, а должна радоваться тому, что он изредка замечает ее, справедливо деля свое внимание между всеми.

И все-таки поездка делала ее счастливой, она с удовольствием ощущала свободу от прошлого и не знала еще груза новых обязанностей. Эти дни казались ей сплошной длинной субботой с праздничными тортами. Разноцветные лодки в Индийском океане, вечера, занятия ивритом, матросы, говорящие по-английски, телеграммы из Эрец-Исраэль, танцы, — с их неожиданными радостями. Не все воспринимали эту поездку так, как она. Организовались разные группы, одни — лучше, другие — хуже. Это было причиной разногласий и споров на корабле. Мика была очень занята своими переживаниями и не представляла себе, что приезд в Эрец-Исраэль неизбежно закончит этот праздник, ослабит связи, разделит ее группу, и вдруг окажется, что эти люди все время скрывали свои главные мысли, притворяясь, будто им так важна возникшая на судне дружба. Как только все сошли на берег, каждый побежал в свою сторону, один — к теще, второй — к дяде, третий — в учреждение, занимающееся выходцами из Польши, четвертый просить помощи. Она не могла себе представить, что станет в Стране одинокой, что Вили не будет сопровождать ее, что она останется без подруг и не с кем будет перемолвиться словом.

Короче говоря, эта девушка, которая ранее так упрямо отстаивала свое желание обособиться, мечтала о едином пути с молодежью, об общем служении одному делу, стремлении к одной цели. Так случилось, что она прибыла с большой группой парней и девушек в кибуц Гат-Хаамаким.

Надо сказать, что друзья ее вошли в жизнь кибуца довольно легко, не причиняя головных болей ни себе, ни кибуцникам. Они не строили воздушных замков, были и раньше знакомы с лишениями и искали спокойной пристани. И потому справились здесь с самым суровым испытанием — с работой, с трудными буднями, с желтой пылью летом, превращавшейся в грязь зимой. Они сумели толково приспособиться к жизни кибуца — не пытались пересмотреть его жизнь, а приноровились к ней сами: к работе в нем, к его общественным

интересам, к принятой здесь еде, к привычной здесь одежде. Скотники и доярки вставали в три часа утра. Новички, как и старожилы, позевывая, поеживаясь, несуетливо шагали по ночным тропинкам к столовой и столь же спокойно провожали глазами движения тех, кто перекладывал яичницу со сковородки на тарелку; так же равнодушно ожидали, чтобы кто-то другой наполнил опустевший кувшин кофе, с той же стремительностью пытались получить лучшую, покрытую кожей табуреточку — сидя на такой, доярке легче работать. Утром они точно так же тянулись к столовой на завтрак. Они свободно чувствовали себя в коллективе, ссорились о заслуженном свободном дне, укоряли подавальщиц за холодную кашу, поругивали плотников, не построивших приличную ограду в телятнике и: "Вы бы видели, что они наделали, — лучше не спрашивайте!".

Молодежь, ушедшая на полевые работы после короткого учебного периода, получила тракторы. Немногим позже и скотники уже прислушивались к шагам ночного сторожа и отвечали ему "да" на стук в ставень. Они наполняли бутылки сладким чаем, вытягивали со склада полотенце, чтобы завернуть в него хлеб с яичницей. Сами тракторы уже не различали, кто их заводит — ветеран или новичок, зеленый тегеранский сирота. Они заводились с грохотом и покорялись ловкости человека в голубом комбинезоне. А потом выходили в ночь, нащупывая фонарями дорогу. В конце концов поля вспахивались и вечером возвращались домой покрытые пылью усталые люди.

Девушки спешили в дома для детей, и хотя сами были еще совсем юными, углублялись в воспитательные проблемы и даже поучали матерей.

Работали они и в винограднике, и в огороде, и там тоже узнавали много нового: и о сортах винограда, и о нормах выработки в час, и о сортах редиски, и о таре для рынка.

И только Мика была далека от всего. Она меняла одну работу за другой и нигде не находила себе мес-

та. В ее характере была одна несчастная черта. Любое событие в ее жизни являлось следствием ее переменчивого настроения. Часы работы она считала потерянными, неприятной необходимостью, настоящая жизнь для нее начиналась лишь вечером. О ней шла молва как о девушке "не своей", с некоторым избытком знаний, нервной, и во всяком случае — требующей к себе внимания.

В группе она была заметной, но не самой любимой. В компании она нужна была — ее появление на праздничных вечерах или на дискуссиях было всем приятно. И все же ни разу не было, чтобы она естественно и просто вошла в непринужденно болтающую компанию, — когда не ведутся серьезные разговоры, когда радуются просто тому, что все вместе, когда каждому пришедшему с удовольствием освобождают место у костра, и, потягивая кофе из маленьких чашек, распевая во все горло под необъятным звездным небом.

Сквозь тонкие, дрожащие от ветра стенки барачков Мика прислушивалась к происходящему снаружи, к людям, которым казалось бессмысленным вечерами оставаться в одиночестве. Она прикидывалась к книгам и пыталась жить своей жизнью, чтобы избавиться от закрадывающейся в сердце горечи при каждом доносящемся до нее радостном возгласе.

В учебе она продвигалась вперед быстрее других. Вили хвалил ее. Он гордился ею, говорил, что считает ее союзником, другом, "положительной силой" кибуца. Как кружили ей голову его похвалы!

Но танцевать с ним Мика никогда не решалась. Даже в те субботние вечера, когда Вили танцевал со всеми девушками и неожиданно становился главным среди юношей, самым желанным партнером, притягательным и требовательным.

Для себя она сохраняла его тихие беседы во время прогулок, когда он внимательно прислушивался к ее словам и с удивительным умением пробуждал в ней уверенность, что в данный момент она значительнее и интереснее всех вокруг. Она принимала его и в бараке,

когда он совершал свой хитрый и словно случайный осмотр комнат воспитанников, стесняясь при этом неприбранных кроватей соседок и стараясь, чтобы он заглянул в ее книгу или обратил внимание на новую картину на стене.

Она устраивала музыкальные вечера, и тогда притихшая группа любителей музыки слушала пластинки, а кто-то заглядывал к ним в окна.

Проходя мимоходом, Вили подходил к ней и спрашивал: "Мика, что играют?" Смущенная и притихшая, она отвечала сдавленным голосом: "Бетховен, пятый концерт". В эти минуты она была полна нежности и счастья.

Вили получил для работы комнату, которую сразу называли "комнатой инструктора"; там была библиотека, карты, учебные принадлежности, узкий диван, письменный стол, одностворчатый шкаф и масса стульев, среди которых не было двух одинаковых. Мика с первого взгляда полюбила эту комнату. Она мечтала о проникнутой духовной близостью дружбе с Вили. Часами напролет рисовала она в своем воображении такую картину: Вили сидит на диване, опираясь спиной о стенку, и, медленно покачивая ногой в сандалии, что-то рассказывает ей, и она сидит на одном из стульев, за столом, вертя что-то в руках, не двигаясь, — благоговейно слушает, тихо отвечает и поглощает, поглощает сияние чудесных глаз.

Она вызвалась помогать библиотекарю, потому что Вили почти все время находился там, в комнате инструктора. Когда она уходила, он продолжал сидеть у стола и работать. В те дни, когда они переехали в палатки и Вили был единственным инструктором, он был завален делами. Попроси он, — она бы с радостью, невзирая на поздний час, осталась с ним делать любую работу. Но Вили ничего не говорил. Быстрым, сосредоточенным движением ресниц он прощался, отвечал на ее приветствие и возвращался к делам, как будто ничто прочее его не занимало.

Мике хотелось задать ему некоторые вопросы, но

она не решалась произнести их, даже задать их девушкам. Ее не интересовали сплетни, она была слишком погружена в себя. Поэтому, пока ее не перевели на работу на кухне, она ничего не знала о слухах, ходивших в киббуце о семейных делах Вили.

На кухне, во время чистки кастрюль, выяснилось, почему комната инструктора превратилась в жилую комнату Вили. И это, оказывается, было всем известно, и нечему было удивляться. Наоборот, посмотри, как относятся друг к другу Вили и Рутка — с полным взаимным уважением. Правда, что-то между ними произошло, и поэтому Вили переехал в барак. Ведь он выполняет ответственную работу... А этот вопрос о его семейных делах сам по себе слишком деликатный.

Но вопрос этот стойт. И для нее, Мики, тоже. Откладывать его решение — только запутывать, затягивать дело. Чего ей желать лучшего, зная, что он сейчас живет один?

Для Мики перевернулся весь мир. Пока она еще не могла ничего изложить четкими словами, но мысль была настолько смелой, что она сама испугалась ее. Вили взял отдельную комнату, чтобы... разве он не ожидает каких-то событий?

С этого момента она начала внимательно присматриваться к Вили, толковать про себя каждое сказанное им слово, взвешивать и проверять каждое действие, каждый поступок. Теперь она это делала не с прежним трепетным обожанием, а с неистовством геолога, устало но упрямо продолжающего поиски золота в песке. Постепенно в ее воображении возник новый Вили; его действия и переживания были сложны и многозначительны: он на что-то намекал, о чем-то вздыхал, чего-то остерегался, вел героическую борьбу с самим собой, опасался за ее, Мики, судьбу, делал какие-то загадочные подсчеты, удалялся от людей, с трудом сдерживал свои чувства... Она погрузилась в этот мир, созданный ее мечтами; старалась не ставить Вили в тяжелое положение, сохраняла надлежащее расстояние между ними, не позволяла себе показываться ему в

плохом настроении. Вместе с тем, иногда в минуты одиночества, ее охватывало ясное, до дрожи сильное желание. Она была в состоянии бежать к нему босиком, — если бы не сковывающая ее зачарованность, заставляющая подавлять страсть и отнимающая свободу и смелость.

Это трудное время неожиданно закончилось в один вечер, когда отмечали окончание работы над пьесой.

Вили дал Мике главную роль, к которой она отнеслась, как ко всему, без особого интереса, и назначил ей часы для репетиций. Одна такая встреча — Вили, властный, требовательный, проверяющий каждое движение, настойчивый, убеждающий, как важно владеть своим телом, извлечь из своего голоса, миловидности все, что она в состоянии — такой встречи было достаточно, чтобы засверкало все скрытое в ней до сих пор.

Мика полюбила. Темные тучи превратились в весеннюю грозу. Ее обычное настроение в часы работы — серое, равнодушное и усталое — бесследно исчезло. Из-за любого пустяка она бушевала и скандалила, часто во время ужина убегала в город, в кино, ни с чем не считалась, крадя сладости со склада, поздно ночью поднимала шум и сердила сторожей, а потом заставляла их делиться с ней мясом и хлебом, была невнимательна на собраниях, писала несуразные статьи в стенгазету. Таким образом выплескивалось из нее скованное многими месяцами новой жизни бродячее, тяжелое прошлое. Смеющаяся, поющая, играющая глазами, беспрерывно лгущая, болтающая и флиртующая с кем попало, но думающая только об одном Вили... Правда, в его комнате она вела себя скромно, как девушка, из-за которой мужчина оставил семью и, чтобы быть с ней вместе, нарушил границы дозволенного.

Спектакль был поставлен и всем очень понравился. И Мике удалось ее роль. В душевой обсуждали исполнителей, участие молодежи в спектакле, и все хвалили Мику. Оказалось, что овладевшая ею страсть обогатила

ее душевной гордостью, наделила ее радостью творчества, открыла перед нею новые горизонты. В душе она мечтала, что теперь начнется новая жизнь, — успех! Публика обожает ее!.. В ее сердце окрепла уверенность, что она достойна дружбы Вили и всего киббуца, что она на самом деле возвысилась, открыла великую тайну жизни, — ту тайну, которая, возможно, — и является настоящей зрелостью, и по ночам какое-то особое, необычайное чувство шептало ей: ты — женщина!

Теперь, когда она перестала сдерживать себя и перестала притворяться, ее переживания выплеснулись наружу, и ей казалось, что то же самое должно произойти и с Вили. Она убедила себя, что подготовка спектакля для него — предлог побыть с ней наедине, и эти встречи доставляют огромное удовольствие не только ей, но и ему.

Но поведение Вили не отвечало этим ее представлениям. Может быть, видеть ее было ему радостно, но он этого не показывал. Он продолжал относиться к ней так же, как ко всем остальным — сдержанно, с дружелюбием и симпатией, но ничем не показывая желания быть с ней ближе, чем с другими.

Репетируя с ним в его комнате, обсуждая каждое движение, она трепетала от напряжения, которое с трудом сдерживала, и постоянно ждала — вот-вот произойдет волнующая долгожданная развязка. Каждый раз, когда он подходил к ней, брал ее за руку, она мечтала о том, что сейчас он положит конец всему второстепенному и откроется главное. Каждое случайное его движение пробуждало в Мике страсть, и бороться с этим она была не в силах. Теперь она ненавидела себя с той же страстью, с какой ее влекло к Вили: не могла ни читать, ни заниматься, ни спокойно думать о чем-либо; без конца вспыхивала, со всеми ссорилась, спорила. Вскоре в кухне произошел настоящий скандал, ее перевели на продуктовый склад, и там, среди острых запахов, она твердила слова ненависти к себе: "Теперь я поняла — ты протухла, моя

милая, провоняла! Из-за этой кухни, этого склада — провоняла!”

Одной такой горькой ночью она вышла из палатки, небрежно набросив на себя что-то, и направилась к его бараку. Было очень темно, и она знала, что скажет ему: ”Вили, я больше не работаю на кухне! Теперь все пойдет по-другому. Я поняла — эта работа была для меня бедствием. Понимаешь? Ты принимаешь меня, Вили? Вили...”

Она чувствовала, что идет навстречу жизни или смерти и не знала только, что ей страшнее — взбунтоваться против своей работы, своих будней, или идти в его барак и говорить начистоту.

Она прильнула к стеклу, но за ним была только черная ночь. Уж больше недели она не была здесь — с тех пор, как Вили выполнил всю свою работу. Она постучала в дверь — ни звука. Нажала ручку, вошла, пробормотала что-то — и вдруг поняла, что здесь никого нет, ее обманули, он у Рутки — и сейчас же с жестоким отчаянием, совершенно опустошенная, она покинула комнату, тихо и бесшумно пробежала между домами и вернулась в палатку. Соседки заскрипели кроватями, а она накрылась простыней, легла на живот, прислонилась лбом к твердому матрасу и долго и безутешно жалела себя.

На следующий день она узнала, что Вили уходит в армию.

У Р И

Ури держал в руках вожжи, не позволяя себе задремать или оглянуться назад, на долину. Лошадь тянула телегу по привычке, и он следил лишь за тем, чтобы она не наехала на помидорные грядки или не очутилась в рядах яблонь вместо того, чтобы продолжать свой путь по хорошо знакомой широкой дороге, покрытой взрыхленным песком.

Ури не был склонен к размышлениям. Он предавался им только тогда, когда что-то очень уж занимало его — до того, что не давало покоя. Размышления в силу привычки, обособленная внутренняя жизнь, бесконечные анализы происходящего — все это просто... несчастье. С того момента, как Ури выехал из виноградника и стал подниматься в гору, его переполняло чувство какого-то особого наслаждения — словно бы он поел необыкновенно вкусную еду. Он не вслушивался в те мысли, которые были порождены чем-то радостным, — рассеянно предавался он размышлениям одновременно о тысяче приятных вещей — эти размышления не требовали никаких усилий. За этой рассредоточенностью мыслей и чувств кроется многообещающее новое чувство, но для того, чтобы оно обнаружилось, стало явным, требуется какой-то толчок извне, встреча, внезапное потрясение.

Пока что он небрежно держит вожжи, позволяя мыслям бродить и бродить на некотором расстоянии друг от друга, примерно как между мыслью и словом, — и которое попробуем назвать смутными грезами. И он позволяет им витать в такой уважаемой компании, как красные помидоры, комья вспаханной земли, арабский плуг у грядки, ящик, дым, машина на дороге, блузки упаковщиц, разговоры: "почему девушкам дают пижамы с короткими рукавами, а нам даже летом с длинными, и рабочие рубахи тоже. В разгар лета на руках — тяжелые закатанные рукава..." "У нас, наверное, выкопают еще один колодец, чтобы увеличить площадь обработки..." Где теперь отец? "Война между Черчиллем и варварами"... Зачем посылать на войну быков, из них лучше делать мясные консервы. А солдаты? Из них тоже делают отбивные. Тюрьма тоже ужас, но интересно, что я этого не боюсь, хотя, наверное, до поры, до времени, пока толком не поймешь, что это такое. Кроме того, пока нет женщины, меньше мучений. А значит — лучше, когда ее нет.

И вдруг он увидел, что путь его пересекает времен-

ный канал для орошения. "Сейчас будет грандиозный скандал!" — подумал Ури и приготовился уже во второй раз сегодня вступить в яростный спор. Канал был огорожен свежей и влажной землей, разбросанной по всей дороге. Он соединял раскрытую пасть водопровода с сетью каналов на картофельном участке бурным, кругообразным движением мутной воды.

Ури поискал глазами человека, занимающегося орошением, чтобы высказать ему мнение насчет тех, которые из-за орошения прерывают чужой путь. Он искал довольно долго и вдруг заметил плетущегося по дороге малого в длинных брюках, резиновых сапогах, с мотыгой на плече.

Ури остановил лошадь и ждал этого человека, но тот осматривал землю и ручейки воды, а потом нагнулся, чтобы ковырнуть мотыгой землю.

Тогда Ури крикнул: "Эй, ты там! Эй, на грядке, эй!"

Человек в резиновых сапогах выпрямился. Это была Ноа, дочь Нафтали и Дворы. Он увидел ее вблизи: на собранных волосах мужская шапка, блузка, оголяющая покрасневшую шею и выпущенная на брюки; скучная девушка, в грязных сапогах. Она спросила: "Ты что, работаешь на винограднике?"

Ури было неловко, что он заставил ее подойти к нему. Ему нечего было сказать, и выходило, будто он просто хотел ее увидеть. Сердиться на нее из-за этого канальчика просто смешно, но все-таки он спросил:

— Это ты выкопала здесь канал?

— Да, — ответила она и оглядела участок. И совсем не к месту добавила: "Там, за оградой, до следующей ограды сеют и мешают нам".

— Так знай, Ноа, что я должен буду проезжать здесь не меньше шести раз в день, а когда я проезжаю, этот потоп, ты понимаешь... Когда я проезжаю, у тебя портятся стенки канала...

— Ну и что?

— Не хватает только, чтобы ты мне оставила моты-

гу, а я каждый раз слезал и исправлял тебе канал!

— А что тогда мне делать? — Ноа не поняла иронии.

— Ведь у меня нет второй мотыги.

— Я хотел только спросить, с каких это пор роют каналы посреди дороги?

— Мы всегда проводим канал в этом месте.

— Так это всегда безобразия.

— Ну, что тебе нужно, Ури? — в ее голосе послышалось нетерпение.

— Хорошо, увидим, кто еще пожалеет об этом, — в тон ей ответил Ури.

— Поезжай тогда вокруг.

— Еще чего не хватало!

Ури еще раз оглядел Ноу. Она не злила его. Когда-то они были довольно хорошими друзьями, но никогда по-настоящему не интересовались друг другом. Теперь, когда он вернулся после двухлетнего отсутствия, оказалось, что между ними нет ничего общего, и то небольшое, что связывало их в школе — учеба, спортивные и общественные дела, насмешки над учителями — все это исчезло. Она осталась дома и прожила два унылых года, в то время как он — ничего не скажешь — кое-что увидел.

Он заметил, что ее близость, большой вырез блузки и ключицы, обтянутые белой полоской материи, не вызывают в нем никакого интереса, что разговор получился сухой, словно он вел его с совершенно далеким ему, чужим человеком, просто с рабочим. И это в те самые дни, когда после двух лет, проведенных в "Кадури", после всего, что он видел и чего не хотел видеть, он постоянно пребывал во взволнованном состоянии!

— Короче, — заключил Ури, натянув вожжи, — я не отвечаю за последствия!

Ноа спокойно смотрела, как он разрушает колеса стенки канала, как сразу же, словно кровь из раны, выливается вода и заливают дорогу. Она взяла мотыгу, собрала сухой песок, камни и сделала новую

ограду на месте разрушенной. Когда она подняла голову, Ури уже исчез в дымке пыли.

Ури был увлечен Микой. Интересно, что она совершенно не дает ему покоя! Ноа — доска, быть может, кто-то и захочет ее, для кого-нибудь вид ее голого тела будет событием — чего на этом свете не бывает... Но Мика, вот это да! Может быть, она сама этого не подозревает, но факт, что она просто не дает ему покоя! Ури снова представил себе Мику, как она бежала от него и каким гладким и податливым было ее тело, когда он схватил ее.

В общем-то он не представлял себе ее грудь; он видел только часть блузки, которая отзывалась на каждое движение, натягивалась при поднятии руки, то падала свободными складками, то опускалась до бедер. Эта блузка, полная жизни, скромная и нескромная, именно своей простотой, безразличием к тому, что она может распрямляться и сжиматься, исчезать и выделяться — именно в этом есть...

Мысленно он провожал взглядом изгиб ее ноги до места, где начинаются шорты, ту линию, которая так красиво выделяется, когда она сидит, обняв колени, и еще одна линия, проходящая по загорелой коже, открытой солнцу, игре теней, пыли, царапанью ветвей, прикосновениям — конец ее находится в месте, где сходятся ноги, месте темном, защищенном от ударов, слабом, вызывающем жалость, нежность... руки ее становились более нежными по мере приближения к короткому рукавичку, такому короткому, что он был просто не в состоянии прикрыть темную подмышку. Ее живот был оголен над поясом; кожа под ремнем слегка сморщилась, — лишь настолько, что мягкость тела была этим подчеркнута, а красота его не повреждена.

Мика...

Дорога кончилась, и Ури въехал во двор. Ему нужно было миновать его, чтобы добраться до широкой долины, лежащей между киббуцом и горами — там находился второй виноградник.

... Не дающая покоя девушка — Мика. Он вспомнил, что во время пребывания в сельскохозяйственной школе они выходили полоть кукурузу, а в обеденное время располагались с едой под оливковым деревом. В это время мимо проходила молодая арабка, они оглядывали ее со всех сторон и обсуждали.

— Среди них есть такие, что можно просто умереть.

— Дружище, когда арабка молодая, они у нее стоят без бюстгальтера. Как теннисные мячики...

— Заткнись!

— Что, твои безгрудые лучше?

— Дурацкие разговоры!

Без повода, сам по себе, вспыхивал бессмысленный смех, просто, чтобы поднять шум и скрыть постыдное волнение.

... В зимние ночи в больших спальнях велись долгие разговоры. Было душно. Доставали припрятанную для этого случая бутылочку, и в воздухе повисали потертые, как клеенка в столовой, анекдоты. Бутылку передавали из рук в руки, обижая самых слабых — к ним она приходила пустой, и, чтобы завершить вечер, запевали бесстыжую песенку:

Если бы девушка стала матрацем,

Парни бы спали весь день.

Если бы девушка стала седлом,

Парни ездили бы верхом.

Они прекращали крики только тогда, когда в комнату вбегал сам Риклис, и, прохаживаясь на своих скрипящих подошвах, призывал к тишине.

... Да, Мика — девушка, не дающая покоя. Что же будет в конце-то концов, чем все это кончится, а, Ури? Что это за жизнь? А у них, у Вили и у Рутки, с чего все началось? Чего они искали тогда? Как вели себя, думали о будущем, или просто покорились зову крови? Кровь — это глупости. Вот умрет Вили — армия, фронт, черт их знает. Позволяют уничтожать армии, как объявляют военные сводки. А он будет убит и

будет лежать на краю дороги, как лежали русские или немцы в фильмах, которые мы видели, так будем поступать и мы с теми, кто нападет на нас.

Ури и сам не заметил, как в его сознание вселилось предчувствие, что Вили умрет, и он испугался этого... Как... ведь он ему еще столько должен. Вили старился, состарился и теперь умрет. Но когда же он получит от Ури то, что Ури должен ему? — Ночи, в которые охранял киббуц; часы, проведенные в грязи, когда дети, — группа испуганных сонных цыплят — сидят у него за спиной. И вдруг Ури ясно, болезненно ощутил, что больше всего его мучило в отъезде Вили: отец будет лишен всего того, что Ури был обязан дать ему и очень хотел ему дать, чтобы быть достойным того, что получил сам.

Вот так оно и выходит — мы стареем и все рассыпается... И вдруг однажды чувствуем, что шагаем уже не в жизнь, а в смерть. Вдруг оказывается, что вопрос только во времени. Когда? В одежде цвета хаки с длинными рукавами, в грубых ботинках — так он будет лежать у края дороги. Седеющие волосы, умное спокойное лицо, ноги разбросаны, как у человека, который после работы устал и крепко заснул. Он будет мертв, мой папа. И он уже не сможет ответить ни на один твой вопрос — во сколько отходит поезд в Хайфу, почему голландские коровы лучше всех других, как зовут человека, идущего по улице и машущего нам своей шапкой, или как мыться зимой холодной водой. А может быть, наступит момент, когда он будет очень нуждаться в тебе — кто-нибудь выругает его, плюнет в лицо или пырнет ножом в спину, украдет у него хлеб или что-нибудь в этом роде — он будет очень нуждаться в хорошем, сильном и смелом сыне, а ты в это время будешь топтаться с какой-то вонючей кобылой по сонным виноградникам. Первый и последний раз в жизни отец будет нуждаться в тебе, и ты смог бы вернуть ему хотя бы самую малую часть сыновнего долга, но ты в это время будешь заводить трактор, а он умрет раньше

тебя и для тебя, как до этого жил до тебя, женился до тебя, создал киббуц до тебя и сделал много трудных дел... Под силу тебе сделать хоть одно из них? — и вот теперь он умрет до тебя, — до твоего прихода. Ты не мог жить до него, но ты можешь уйти раньше, оставив мир с Вили и Руткой, но без Ури. Попытаться уничтожить то, что тебе казалось сущностью бытия: их трое. Мир начинался с Ури, включая в себя Вили и Рутку, расширялся охватывая киббуц и через все увеличивающееся чужеродное расстояние бесследно исчезал. Теперь можно исключить Ури из жизни, умереть до них. Принять на себя боль, падающую на семью. Быть выше и чище их обоих, страдать, принести свою жизнь в жертву — единым разом вернуть им все; лежать, посмеиваться и смотреть, как они оберегают все, что хранит прикосновение твоих рук — девушку, книгу, ручку, спортивные ботинки; как они любят вспоминать связанные с твоим воспитанием трудности; и льет слезы какая-нибудь взбалмошная девица: "Уж если он должен был умереть, жалко, что не переспал со мной! Какой мужчина пропал!"

Ури въехал во двор; он старался как следует следить за дорогой, кочками и колеями, и вместе с тем им завладели нечеткие, приятные мысли. А смерть он представлял себе как состояние удобного покоя и вдруг понял, что люди не боятся смерти и, предчувствуя возвышенность этого момента, спокойно и смело смотрят ей в лицо: быть может, важно не как живет человек, а как он умирает?

Когда они проезжали мимо конюшни, кобыла направилась было туда, но Ури встряхнул головой и уверенной рукой направил ее в нужную сторону.

— Ах ты, сволочь, может быть — хоть немного еще поработаешь?

Он нахлестывал лошадь, пока она не припустилась галопом и не привезла его к главной дороге у входа в столовую, на центральную площадь киббуца, где всегда кто-нибудь может тебя увидеть. Однако, при его въезде не собралась большая толпа, лишь два

шалуна сзади прицепились к телеге, появилась уборщица, которая вылила воду вместе с тряпкой, а Биберман, расставив руки, попытался его задержать.

Ури проехал мимо, а он продолжал кричать и размахивать руками; потом Ури натянул вожжи и, наконец, остановился.

Биберман, высокий и сутулый, был в своей парадной одежде — сверху донизу в выцветшем хаки.

— Ну!

— Постой спокойно!

— Если ты ничего не имеешь против — я занят, работаю.

Биберман положил руку на край телеги — это была исцарапанная и очень большая рука, рука труженика.

— Насчет жилья — ты знаешь...

— Слушай, Биберман, — Ури поднял вожжи, — может быть, найдем более подходящее время?

— У меня нет другого времени. Я получил свободный день, чтобы уладить квартирные дела.

— Но я не получил его.

— Где ты работаешь?

— На сборе винограда.

— Так они уже заразили тебя паникой? Этот Юзек и упаковщицы?

— Слушай, Биберман... — начал Ури.

— Слушай, Ури, — Биберман подчеркнул слово "Ури" и этим позволил себе указать, кто здесь важнее, — если дело не уладится, не я буду страдать.

— Черт побери, — подумал Ури, — со всеми я должен сегодня спорить.

— Я умоляю тебя, Биберман, меня там ждут не знаю как! Встретимся за обедом. Ведь ты не работаешь сегодня.

Но Биберман не сдавался: "Как хочешь, но знай, что только сегодня я занимаюсь делами. Потом сам бегай".

— Хорошо.

Биберман ничего не ответил, поэтому Ури подчеркнул: "...Итак, до обеда".

Ури вымыл руки в корыте у конюшни. По дороге в столовую он размахивал ими, чтобы поскорее высохли. В столовой стоял такой шум, что было удивительно, если иногда выделялся стук одной вилки о тарелку и гулко разносился по помещению.

Вдоль террасы тесными группами расселись пообедавшие и просматривали утренние газеты. Ури, надеясь вытереть руки, задержался над развешанными у умывальников полотенцами, но они были мокрыми и измятыми. Тогда он вывернул рубаху и вытерся подолом.

Он был доволен тем, что происходило. Теперь он сравнился со всеми, находившимися здесь, и с рассеянными на отдых, и с шумно обедающими. Теперь он такой, как все. Такая же усталая походка, такие же пятна пота на спине, под мышками, под поясом. Так же небрежно наброшена на гвоздь шапка.

Если бы сюда заглянул посторонний, то ему никак не пришло бы в голову, что этот паренек чувствует себя здесь еще не совсем своим, что он чересчур задумчив и сам себе кажется здесь не до конца полноправным. Он старается быть, как все: не искать глазами места, не колебаться, а свободно двигаться вдоль большого зала, между столами, и сесть, — все равно где. Подавальщицы им недовольны. Они думали, что он не находит места, и несколько раз пытались указать ему, где сесть, но он отказывался движением головы: "Ах, к чему это, я не нуждаюсь в помощи у себя дома!"

Бибермана он нашел за столом, заваленным грязной посудой; он жевал напряженно, как человек, проверяющий силу своих зубов. Он казался одиноким в этой комнате, где стояли столы, опустевшие, как шахматные доски без фигур. Ури уселся напротив, взял ломоть хлеба и посыпал его солью.

Биберман проглотил последнюю ложку супа.

— Ты уже пообедал?

— Нет, — ответил Ури, ища глазами подавальщицу. В этот момент она вышла из кухни.

— Мири, дай порцию!

Не задерживаясь, она бросила на него удивленный взгляд: "Сюда?"

Ури встал и догнал ее: "Какая разница? Давай!"

И пока она колебалась, он взял еду сам и вернулся к столу Бибермана, сел напротив и начал есть мясо в соусе с вермишелью.

— Итак, Биберман, что слышно насчет жилья?

Биберман отодвинул пустую тарелку, ложки и вилки, стряхнул крошки — освободил место на столе для локтей и подпер ладонями тяжелую голову, наклоненную к Ури.

— Положение трудное, — начал он, — между прочим, в пятницу возвращается молодежь, и тебе придется освободить палатку.

— Не могу сказать, что я в восторге.

— Нет, нет и нет, у тебя не должно быть никаких иллюзий. Выхода нет. Они и так живут четверо в одной палатке.

Биберман человек негибкий и юмора не воспринимает.

— Не бойся, — успокоил его Ури, — мне самому не хочется быть пятым; подыщи мне другое место.

— Я просто не знаю, что делать.

Ури вдруг испугался, как бы Биберман не предложил ему жить вместе с Руткой или что-нибудь в этом роде и почувствовал, как вспыхнуло его лицо. Только не это, к черту! И что ответить, если ему предложат это? Биберман сам должен понять, что мне нужен свой угол.

— Послушай, Биберман, — безапелляционно заявил Ури, — так или иначе, я должен иметь отдельную комнату. Надеюсь, это тебе ясно. Неважно — комнату, палатку, барак, но отдельно. После двух лет школы я могу требовать...

Только услышав самого себя Ури понял, что он был бы просто идиотом, согласившись на любое предложение. Как вообще он мог бы жить в одной комнате с матерью? Идиот, дурак! Теперь ему — жить с матерью

или вообще с кем-нибудь! Еще чего! Один — и только! Хоть в гробу, но только один!

— Отдельную комнату? — Биберман так удивился, что даже не успел рассердиться. — А где я тебе возьму отдельную комнату?

— А что с баракком отца?

— Барак Вили? Забудь о нем. Сегодня утром туда переехала семья, у них скоро будет ребенок.

Биберману это показалось настолько смешным, что он тихо засмеялся, будто полоща горло. "Как они хорошо усвоили эти дела — Боже ты мой великий! А ты потом ищи им жилье — у того мальчик, у того — девочка! И кроме семейных комнат нужны еще и ясли и детский сад. Со всех сторон — семьи! Ну и молодежь пошла!"

Но Ури уже прислушивался к своим мечтам; как хорошо ему будет в отдельной комнате! Он ни за что не сдастся ни Биберману, ни кому-либо другому.

— Я вижу, ты смеешься, Биберман, но знай, что с этим делом я готов обратиться во все комиссии в киббуце.

— Во все комиссии? — вдруг вскрикнул Биберман и вытянул шею, — а иди-ка ты ко всем комиссиям!..

Ури остолбенел. Бибермана охватила дрожь. Он схватил Ури за руку и обрушил на него целый поток слов. Казалось, что Биберман хочет вывернуть перед ним свою душу.

— Как ты думаешь, почему меня назначили ответственным за жилищные дела? Потому что все наши не раз ломали там шеи! Это — больное место, понимаешь? И хоть убей их, никто не захочет взять на себя это гиблое дело. Они спокойненько работают в секретариате, в воспитательной комиссии, а самая неблагодарная, сводящая с ума должность, из-за которой приходится ссориться со всеми и вызывать ненависть — это распределение квартир. И это в нашем-то положении! Ты думаешь, есть для этого средства? Или уже купили новые бараки? Ничего подобного. Они знают — Биберман ломает себе голову, но кого, скажи мне, это

волнует? Они интересуются политикой, хотят каждую пятницу слушать доклады. Чудесно! Но попробуй — предложи им узнать, что у нас творится с квартирами! Как мы теперь примем новую группу молодежи? Где мы их разместим, что будет зимой? И что делать, если придут еще? Через неделю к нам приедет группа, которая организует кибуц в горах. Где мы их разместим? А через неделю, до переезда на свое место к нам придут все члены нового кибуца, — кто о них позаботится? А в последние два дня, когда они все соберутся здесь, кто тогда будет заниматься этим? Политика им нравится, ты что думаешь, я не мог бы заниматься политикой? Глупости, спроси у любого, кто привез сюда молодежь двадцать лет тому назад? Кто — Аврахамчик? Между прочим, кто его знал еще пять лет тому назад? А Броши — болтает по-английски и крутится среди офицеров — кто это Броши? И в чем его сила? И кто такой Аврахамчик, этот великий оратор? Мы все еще помним, как он заикался — хуже ребенка. Выходит, я не мог бы заниматься политикой, разъезжать по всяким общественным делам?.. А мне поручают заниматься жилищными делами! Так что — не пугай меня комиссиями, слышишь? Комиссии ничего не стоят — даже если они примут какое-то решение, проводить его в жизнь поручат мне. Они тебе заявят — пойд и скажи Биберману, чтобы он устроил тебе комнату. Ты придешь к Биберману, и я скажу тебе — нет! Так что ты сделаешь? Будешь кричать, жаловаться на меня? Пойдешь к ним и скажешь: вы правы, Биберман — тяжелый человек, не любит помогать, когда к нему обращаются, любит слушать только себя, он всегда недоволен, потому что хотел быть большим человеком... послушай-ка, товарищ Кахана, уж я-то знаю, что говорю, и твои комиссии полетят ко всем чертям. Поверь мне!

Он неожиданно взорвался, неожиданно и остановился. Почему это именно с Ури он изменил своему обычному молчанию? Руткин Ури. Вот тебе на! И

он погрузился в глубокую, угрюмую ненависть к самому себе.

Ури понял, что не услышит больше ни слова и самое лучшее, что можно сейчас сделать — это уйти. Он встал, думая о том, что все равно не уступит, что в конце концов все равно добьется отдельной комнаты — и с трудом выдавил из себя: "Так... Ну что же посмотрим..."

И медленно поплелся к выходу. Ну и странная это была встреча!

На дворе стояла машина полевых рабочих или, вернее, та таратайка, на которой они ежедневно ездят вот уже несколько лет, этот удивительный фورد со сплюснутым носом — по-своему симпатичный, покорно принимающий все, что на него нагрузят.

Возле Ури молча остановился Песах. Он посмотрел на грузчиков, потом на Ури.

— А ты что же? — сказал он, уверенный в том, что это смешно. — Смотришь и завидуешь?

— Вот уж нет!

— Поговаривают, что ты хочешь работать в поле?

— Я сам тебе об этом сказал.

— Ты говорил не только мне. Я и понял: парень действительно этого хочет.

— Гута уже успела поговорить с тобой?

Песах рассмеялся, различив в голосе Ури раздражение, но при этом сам даже не заметил того, как потеплело у него на сердце. Ох, уж эта Гута! И он представил себе, как они разговаривают перед сном, и Гута, как всегда, что-то делает на столе или на подоконнике и будто бы между прочим говорит об Ури, давая понять — не только Песаху, но даже и цветку, который она держит в руке, или подушке, или странице в книге — дает понять, что она любит, любит нежной любовью все, о чем она говорит, чему уделяет внимание в делах, в мыслях, во взгляде.

— Они сегодня запаздывают, — Песах повел носом в сторону рабочих, — им за это нагорит.

Ури присматривался к разыгрывающейся сцене.

Он опять увидел группу Вили, с которой выезжал в поле позавчера, в день приезда домой. Шайке, практикант, сегодня сидел внутри, на переднем сиденье. Ахарончик привязывал что-то к машине, а Нафтали подавал ему оставшиеся пачки. Возле него стояла Двора и, казалось, пыталась убедить его в чем-то важном, во всяком случае такое впечатление производили ее жесты и колыхание большого живота. Двух человек не хватало — одного, назначенного на место Вили и другого — на место Бибермана. Эти двое были, наверное, на кухне и брали, как и он с Вили два дня тому назад, котлеты и кашу для полевых рабочих. Оказывается, не только небо не меняется, не меняется и наш бедный форд и распорядок работы.

Позавчера, когда они вернулись с поля, была ночь, вероятно, отец искал Ури и не мог найти. Потом было утро, и Вили уже не вышел на работу. Но они встали в темноте, вывели тракторы из-под навесов и с грохотом выехали на огромных машинах; странно, что каждая управлялась всего одним человеческим телом. Биберман тоже был с ними. Может быть, он немного опоздал или пришел раньше всех, но грусть, овладевшая им, несмотря на его крики в столовой, — не оставляла его и в то утро, и в то время, когда его чересчур большие руки точными движениями заводили блестящей ручкой мотор, или когда он ложился под сноповязалку, если она умолкала. Оказывается, и грустные люди каждое утро выходят на работу, ведь у каждого человека есть свой внутренний мир и свой темперамент. И несмотря на все это, ничего не меняется, и если кого-нибудь не хватает, найдутся двое других, и если придется отлучиться по делам — получают свободный день, если уйдут навсегда — будет и им замена. И снова будет стоять верблюжье выносливый форд, и снова нагрузят на него еду для полевых рабочих, и кто-то неторопливый сядет за руль, машина со скрипом сдви-

нется с места и взметнет пыль над улетающей дорогой.

Ури устал и хотел полежать; еще оставалось немного времени для отдыха; поискав возле себя шапку, он накрыл ею глаза и чуб.

Форд тронулся с места. В ярком, солнечном свете Ури шел к палаткам, и жизнь представлялась ему, как огромная всемирная тяжесть, которую люди вынуждены нести, по-видимому, всю жизнь, каких бы страданий ни стоило им это.

Мика тащила последнюю корзину в шалаш. Ури нагрузил телегу, Юзек шел рядом с ним и каждому встречному говорил:

— Эта телега — последняя. Теперь будете носить корзины сами.

Когда он сказал это первому, то добавил:

— Осталось еще пятнадцать минут работы, — а последнему сказал:

— Еще десять минут. Как раз каждый успеет собрать по корзине.

Поэтому Мике пришлось самой тащить свою последнюю корзину в шалаш. Оказывается, было уже шесть часов или что-то вроде этого, и солнце стояло над кипарисами, освещая слабым светом разные незначительные вещи: палку, к которой привязывают виноградную лозу, растрепанный край мешка, волосок, выбившийся у нее из челки — поблескивающий и назойливый. Только от земли солнце отступало с огромной скоростью, и тени сгушались, как будто стремились не оставить свету ни одного клочка земли.

Мика устала, корзина была тяжелая, ее ручки больно давили на пальцы. И все-таки она была преисполнена счастьем, которое укреплялось в ней в течение дня, состоящего из стольких радующих событий: удавшейся работы, утреннего прихода Юзека, обеда в столовой, когда ты не бегаешь и не подаешь. И главное — Ури, Ури в течение всего дня! Вид его фигуры и его

лошади... Все радовало Мику — болтовня упаковщиц, усталость, приближающийся вечер — все то, из-за чего еще быть может стоит верить во что-то. И Ури — сын Вили!

Она увидела стоящую у входа в шалаш телегу и работающих возле нее людей. Пока она подняла глаза, телега тронулась с места. Ей пришлось перебороть грусть, закравшуюся в сердце от сознания того, что телега увозит Ури.

Она смотрела, как телега, поднимая за собой пыль, удалялась все дальше, как она обогнула виноградник, выехала на дорогу, и не почувствовала, как ноги сами привели ее к шалашу.

— Мика! — этот голос заставил ее вздрогнуть, — о чем ты мечтаешь?

Это был Ури. Он брал у сборщиков корзины, укладывал их, забирал ножницы и по одному разрешал сборщикам уходить.

Мика поставила корзину на длинный упаковочный стол и подумала, что, наверное, она, удивленная и взволнованная, выглядит глупо. Но упаковщицы, занимающиеся последним ящиком, думали иначе: "Посмотрите-ка на нее! За один день так загореть!" Они предложили и Ури задуматься над этим, но он ничего не ответил. Зато Мика набралась смелости и подошла к нему.

— Что это? Ты продал лошадь?

Ури хотелось ответить шуткой, но он не сразу понял вопрос:

— Прогдал?

Мика засмеялась.

— А... понял, да... нет... Я остался, чтобы грузить машину.

Естественно, он хотел продолжать в том же духе и спросить ее, почему она не уходит, но вовремя сообразил, что тогда у нее не будет возможности остаться, и молчал. Он хотел продолжить разговор, но произнес только одну фразу:

— Ты еще будешь работать в винограднике?

— Я не знаю, как скажут.

— Что значит — как скажут?

— Меня направили на кухню. Теперь я ушла... Меня выг... перевели сюда, на виноградник. Ребята вернутся с экскурсии, и здесь, как всегда, начнутся споры, крики. Посмотрю, как здесь будет...

— В винограднике работать неплохо, — ответил Ури и после некоторого молчания добавил: — девушкам.

Упаковщицы ушли. И смотрите, какое чудо, даже не предложили Мике присоединиться к ним. В шалаше стало темно, и уже ничего не было видно. Ури сел на упаковочный стол и уперся спиной в доски. Было странное мгновение, когда все казалось нереальным, но все обычное вернулось, когда Мика уселась рядом с Ури и спросила: "Когда приедет машина?"

Да, Мика решила остаться. Он понял, что легкое волнение, овладевшее им — это радость.

— Точно не знаю... — сказал он в становившейся все более глубокой тишине, — иногда приходит не раньше восьми.

Чего она ждала от Ури? Она, знающая, к чему ведут такие минуты, сейчас не могла осознать свои желания. Она сидела рядом с ним, ощущая разливающийся по всему телу трепет, огромную усталость и чудесное спокойствие окружающего их мира.

...Темнеющий виноградник, теплый вечер, в котором все тонуло, — все это было сейчас преисполнено глубокого смысла.

Ее воображению рисовался большой виноградник, нет — большая долина, покрытая виноградниками, и в их гуще, далеко-далеко скрываются двое — парень и девушка. И тишина — это уже не просто тишина, а та, которая их поглотила. Она представила себе безграничное, пустое пространство — в действительности оно не пустое, потому что только что в нем родились два маленьких, никому не ведомых мира, которые невозможно обнаружить даже при самых тщательных поисках.

Иногда она бросала слова, выслушивала его корот-

кий, неопределенный ответ, и ей казалось, что она не разговаривает, а ступает по высокой и влажной траве, безмолвно принимающей ее шаги. Иногда она веселилась, ловила вдруг руку Ури, как будто желая вырвать его из сна, а то — шаловливо соскакивала со стола и возвращалась обратно.

Ури медленно отвечал и, рассказывая что-то, делал большие паузы. Он рассказывал о школе и о друзьях, о тракторах, о Тель-Авиве, о Рутке. Говоря по правде, — он растерялся. Теперь, после работы, под темной крышей шалаша, не было никакого смысла вести с девушкой шуточный разговор. Сейчас, в темноте, самое время объясниться. А Мике казалось, что она удостоилась от судьбы дорогих минут, высшей откровенности, и ей захотелось, чтобы разговор сейчас зашел не о каких-то таинственных вещах, а о самых простых, и чтобы слова эти были будничные, случайно, бездумно брошенные. Ей нравились эти медленно текущие минуты, ясные и тяжелые, как спелая гроздь, — и хотелось извлечь из них все главное — близкую дружбу с сыном Вили.

Она хотела взглянуть на часы — в шалаше было уже совсем темно, и ей пришлось выйти на дорогу, поднести руку к лицу и при свете луны посмотреть на циферблат. Ури вышел вслед за ней, схватил ее руку и повернул вместе с часами к своим глазам. Мика не вырвала руки, не сдвинулась с места, но как раз в этот момент прогрохотал пустой грузовик.

— Вот и он, — сказал Ури и отпустил ее руку. Мика поспешила скрыться в шалаше. Она спряталась, чтобы ее не было видно, и напрягала зрение, чтобы увидеть, что же будет дальше.

Машина подъехала к шалашу задним ходом, виляя то вправо, то влево, пока не остановилась у ящиков. Вдруг она взвыла, будто пытаясь взлететь, и тотчас же смолкла. Впереди открылась дверца, затем послышалась ругань. У входа в шалаш появился шофер, отчетливо выделяясь на фоне ясного неба, — и начал сту-

чать молотком в задний борт грузовика. Ури помогал ему.

— Давай потихоньку! — предупредил шофер, но в этот момент в задней части грузовика загрохотал откинувшийся борт.

— Это в Гат-Хаамаким называется потихоньку? — спросил шофер и тем самым заявил о том, что он из другого места.

— Подымайся лучше наверх, — ответил на это Ури, — а я буду подавать. Главное, взять нужный темп. Может быть, мы не знаем, что такое тихо, но зато отлично знаем, что такое быстро.

Ури набросился на ящики, и Мика услышала скрип и звуки шагов. Большая тень сновала туда и обратно, в просвете появлялся Ури, бросал ящики в кузов грузовика. В какой-то момент Мика увидела, что он сбросил рубашку и майку и остался полуголый. Снова скрипел ящик, слышались тяжелые и быстрые шаги, надвигалась неуклюжая тень и, наконец, появлялся Ури с напрягшимися мышцами спины, с прижатым к ней ящиком; мощным усилием плеч он делал разворот вокруг себя и ящик со стуком летел в кузов.

Мика напрягла зрение и постепенно начала различать движения Ури даже из темноты шалаша. Она увидела, как постепенно уменьшается гора ящиков. Шофер больше не разговаривал, а только резкими ударами задвигал ящики по местам. Ури хватал ящик за края, прижимал к груди, поворачивался назад, делал два-три шага, подскакивал к машине, поднимал отчетливо различаемые в проблесках света руки — их движения напоминали игру двух рыжеватых гладких щенков — и подбрасывал ящик.

Так он двигался между светом и тенью, в темноте мерцали его блестящие плечи с играющими мышцами, наклонялся, когда груда ящиков опускалась до земли, выпрямлялся с вытянутыми руками, приступая к новой груде. Дыхание его становилось все громче и его шум, наконец, слился со звуками шагов. Тянет ящик, дышит, поворачивается, наклоня-

ется, подбрасывает ящик, шагает, появляется в про-
свете, напрягает мускулы, дышит, бросает, дышит —
втягивает и выпускает воздух, возвращается к ящи-
кам, наклоняется, — темный, большой, — наклоняется
и вдруг становится еще больше, шагает вместе со своей
тенью, наклоняется назад, нагружает, появляется
опять, подбрасывает ящик вверх, руки его — при
свете луны это видно — блестят от пота, возвращает-
ся в шалаш, поворачивает лицо, блестящее, как будто
его смазали жиром. Впалые глаза, пряди прилипших ко
лбу волос опускаются до сросшихся бровей, лицо
сурово, как у мужчин во время боя.

Из своего темного угла Мика смотрела на Ури,
напряженная и такая возбужденная, что неожиданный
звук или треск ящика вызвал бы у нее разрыв сердца.
Для Ури тоже, несмотря на тяжесть работы, пролетаю-
щие минуты были полны ощущения праздника и тай-
ны, созданных присутствием Мики. Шофер расставлял
ящики, сопровождая это занятие непрерывным пото-
ком ругательств, и никаких других слов не произно-
сил.

Погрузка длилась очень долго, и все-таки Мика
была удивлена и взволнована, когда услышала, что
Ури, низко склоняясь к земле, шепчет: "Последний".

Он поднял ящик, бросил его в кузов и у входа в
шалаш остановился отдышаться. В глубине кузова
мелькнула тень шофера; он наклонился и затем прыг-
нул вниз.

— Последний?

— Последний!

— Дай руку.

Оба схватились за задний борт, подняли, прикрепи-
ли его, шофер еще некоторое время возился с верев-
ками и затягивал их вниз. Веревки издавали странный
шелест, как будто кто-то тянет по песку тушу быка.

Покончив с веревками, шофер спросил: "Где доку-
менты для пересылки?"

— В киббуце, — ответил Ури, поднимая с земли ру-
башку и майку.

— Ты едешь со мной?

Мика вздрогнула. Она сидела в темноте и ждала — неужели он выдаст их тайну? Она боялась, что он скажет шоферу — его здесь ждет девушка, давно ждет, поэтому мы оба поедem.

Но он ее не выдал. Они сделаны из одного теста. С завидным безразличием он солгал: "Нет! Я останусь сторожить. Потом пойду пешком".

От этих слов ее охватила огромная радость. Она не сдвинулась с места и только ждала его в темноте.

Грузовик зашумел, окатил их бензиновым зловонием и уехал. Ури вошел в шалаш. Она услышала шелест рубашки и подумала, что он замерз. К ней приблизилась тень, закрывшая собой машину. Сзади виднелись ряды виноградников, брусья шалаша и висящие мешки. Он подошел к ней вплотную, положил кулаки на доски по обе стороны ее бедер и начал вглядываться в ее лицо, как будто никогда раньше не видел, а она, с остановившимся взглядом, дышала в его обнаженную грудь.

Она задрожала при мысли о том, что сейчас произойдет. От его бурно дышащего тела исходил обильный запах пота, слегка пахло туалетным мылом и еще чем-то острым — от упавших на нее волос.

Мика закрыла глаза и уперлась лбом в его твердую грудь. Кулаки с обеих сторон ее бедер разжались, руки взметнулись вверх и обняли ее страстно и жадно.

Ей хотелось разжать пальцы, изо всех сил охватывающие дерево, нежно обнять его грудь, в которой она отчетливо слышала биение сердца, погладить мускулы его рук, но ногти впились в дерево так крепко, что ей показалось, будто она прилипла к нему навсегда.

Он молча взял ее за напряженные локти и вдруг спросил: "Пойдем?".

Сразу же исчезло напряжение, пригвоздившее ее к доскам. Она вскочила, проскользнула между его рук и растворилась в темноте:

— А что же, ночевать здесь?

Она была очень весела, и главным образом пото-

му, что не только не отказалась от игры, но сумела сохранить превосходство. Для обоих наступил праздник. Они вышли из шалаша — Мика — с косынкой в руке, Ури — полуголый, с рубашкой на плечах — и окунулись в первые часы летней ночи.

Как и в течение всего дня, Микин взгляд усталился куда-то — бесцельно, но восторженно. Небо уже рассеяло все свои краски и стало вначале бело-голубым, а затем все более и более темнело и покрывалось звездами. Киббуц сверкал многочисленными огнями, пока еще точками, а не линиями, как в более поздние часы. Земля казалась совсем черной, и только под ногами можно было заметить тропинку, следы телеги, камень или сорванную ветку.

Ури шагал рядом. Возникло то напряженное молчание, которого, по-видимому, невозможно избежать, когда все обыкновенные дела кажутся слишком мелкими, а сам момент слишком значительным и когда оба так взволнованы, что не могут это выразить.

Несмотря на усталость, Мика молилась про себя, чтобы дорога продолжалась бесконечно. И так и было.

Что это за место? По правую руку тропинку пересекал ряд кипарисов, охраняющий яблоневый сад от ветра.

— Идем, — Ури потянул Мику за руку, — пойдем этим путем, может быть, найдем спелое яблоко.

Она послушно шагала за ним. Кипарисы сгущали темноту. У их ног белела тропинка, но Ури свел Мику на дорогу в сад. Это была вспаханная, покрытая кочками земля.

Ури тянул ее за собой, и они топтались между кочками. Идти было трудно, и в Мике заговорил здравый смысл — она не выносила неразумного даже тогда, когда оно переплеталось с радостью.

— Хватит, — сказала она, и они остановились у подножья кипариса. Зеленоватые звезды над его верхушкой освещали расстояние между двумя взволнованными мирами. На вспаханной земле лежали ароматные яблоки. Отсюда не были видны ни киббуц, ни

поля, ни долина, и только Газелья гора возвышалась над садом огромной темной массой.

Ури слегка подтолкнул Мику к кипарису, спина ее надавила на плотные шершавые ветви, и пыль посыпалась на уши и шею. Она бросила косынку, протянула руки и обняла его. Он подался вперед и приник к ней губами.

Ури и сам удивился, как это ему пришло в голову, что в это время в душевой пусто, и вдруг сверкнула закружившая голову мысль, что тут, под рукой, рядом с ним — на все готовая женщина. Он опять удивился тому, что это может быть, снова обнял Мику правой рукой, а левой стал вытягивать блузку из-за пояса. Блузка поддалась легко, и он почувствовал на своем волосатом животе гладкую кожу Мики.

Она застонала, как от боли. Рука Ури заскользила по ее ребрам, наткнулась на натянутую ткань, поспешила к спине, дотронулась до пуговиц, снова отпрянула. Тяжело дыша, он снова поцеловал ее.

Теперь она будто увидела себя со стороны, не рассердилась, а рассмеялась и почувствовала себя легко, ей снова стало весело.

— Почему ты смеешься? — прошептал он сдавленным голосом.

— Мне хорошо. Вот я и смеюсь. — Она обрадовалась удачному ответу и насмешливо сказала: — Я вспомнила что-то забавное.

Быть может, ей не понравилось то, что происходило с ее телом, с телами их обоих? Ури на мгновение поразился и обиделся. Может быть, он имеет дело со взрослой женщиной, для которой встреча с ним — лишь эпизод в ее похождениях? Он снова потянулся к ней с такой силой, что заболели колени. Он притянул ее к себе и хотел медленно положить на землю; он мня ее тело, стараясь обнажить живот и бедра.

Но тут она его оттолкнула и сказала голосом, противоречащим сказанному: "Оставь, Ури... не теперь".

В ее голосе была нежность, в которой невозможно

было ошибиться, она прибавила: "Потом, Ури... вот увидишь..."

Зеленоватые звезды над кипарисами отмечали в пространстве огромные расстояния между двумя горячими телами.

ДОЛГ И СЧАСТЬЕ

Отчетливое ощущение мужского сухого и чистого счастья, смешанное с острым запахом горных растений. За полотнищем палатки дышит прохладное утро, а внутри ее витает густой запах покрытых копотью и маслом рабочих комбинезонов.

Заученными, размеренными и точными движениями проснувшийся человек садится на кровати и начинает одеваться. Он достает из ящика, стоящего у изголовья, одежду, оставляет неубранной постель и приподнимает полог палатки. Просторный заезжий двор — хан, большое помещение с крышей, покрытой кое-где обломанной черепицей — все это предстает перед ним в виде смутно различимых черных предметов. Через широкое отверстие в стене видны долина и гора, а еще дальше — целая горная цепь. Долина покрыта серым туманом. Солнце еще не встало и не разогнало его.

Через темный ночной двор Аврахам Горен направился к бочке, погрузил алюминиевую сплюснутую кружку в черную воду и сполоснул лицо холодной водой. Затем запрокинул голову и прополоскал горло, поставил кружку на место и через отверстие в стене вышел наружу. Перед ним расстилались земли Рамот-Эфраима, Ум-а-Зитуна и Седжерана, неясные в предутренней дымке. Хан был расположен на округлом холме, который казался искусственно воздвигнутым и производил издали внушительное впечатление. Холм с ханом напоминали нетронутый временем высокий замок. Крыша хана была покрыта черепицей, а сам он был сложен из черных камней, песка и глины. Вок-

руг валялись куски извести и большая куча обломков глиняной посуды. Аврахам отошел от помещения и встал около низкого, вздрагивающего от предутреннего ветерка колючего куста. Маленькие растения распространяли острый запах. Воздух был напоен сильным и бодрящим ароматом.

Они приехали сюда три дня тому назад — четыре механика на двух тракторах, чтобы вспахать земли будущего киббуца. Они проделали долгий путь на дребезжащих тяжелых машинах, с легкостью преодолевающих встречные препятствия. Во всяком случае, было ясно, что они проезжали дороги, не знаящие до сих пор, что такое железо. Они поселились в хане, расширили вход, чтобы туда смогли въехать тракторы, освободили место для ночной стоянки машин и в закрытом дворе возле серого дуба, возвышающегося над баней, разбили две палатки.

Пахать в долине было легко. Привыкшая к жалким арабским плугам земля с готовностью покорялась огромным стальным ножам. На откосах пахать было труднее, а в скалистых местах дело было вовсе худо.

Аврахам отошел от куста и почувствовал, что у него появляется аппетит. К нему снова вернулось то острое чувство счастья, с которым он проснулся. Он руководил делами, переездом, устройством, обучением новеньких и отвечал за общую безопасность. Он решил, что они вчетвером поселятся в бане, пока через два месяца сюда не придут все новые киббуцники. Он отвечал также за раздел земель и отношения с соседями. Три приехавших с ним молодых механика были из нового киббуца и во всем ему подчинялись. Он объяснил им, как пахать в горной местности, дал задание, что делать в его отсутствие, выкопал тайник для трех пистолетов, двух винтовок, гранат и других боеприпасов. По утрам, в дни своего дежурства, он всегда вставал раньше и готовил завтрак. Аврахам снова прошелся по твердому, вымощенному гладкими камнями двору хана. Под дубом лежали двое, накрытые одеялами. Это были первые

гости — Мика и Ури. Они пришли вчера вечером и от души повеселились с механиками. Сегодня они свободны от работы и хотят посмотреть, как идут здесь дела. Когда гости собрались ложиться спать, щедрые хозяева нашли для них три летних одеяла, одно — постелить вниз, а двумя накрыться.

Аврахам посмотрел на них внимательно. Он не знал, где тут Мика, а где Ури, но сразу заметил, что они съезжились от утреннего холода. Он вернулся в палатку, осторожно приподняв полог, и сразу же в лицо ударил горячий, душный воздух. Это всегда вызывало у него удивление: как это он только мог в такой духоте спокойно проспать всю ночь?

Он стянул одеяло со своей неубранной постели и вынес во двор, осторожно подошел к спящим и с большой нежностью накрыл их. В этот момент он понял причину своего счастья. Он чувствовал себя как человек, избавившийся от скрытой, но давно мучившей его боли. Внутренний голос подсказывал ему, что есть вещи, которые нужно делать, потому что в этом есть необходимость, — не ради удовольствия. Это даже хорошо, что найдутся люди, которые скажут: правы были те, кто говорил — в общем-то ты — хороший парень.

Аврахам направился к нише, в которой стояли тракторы, там обычно готовили пищу. Сначала нужно поставить на примус чайник, а потом уже вынести корзину с продуктами. И, хотя он точно знал, где все это лежит, при первом же шаге споткнулся о большой камень и почувствовал запах плесени.

Темнота была глубокой и стойкой, и только едва уловимый запах бензина и машинного масла нарушал ее окаменелое спокойствие. Аврахам нащупал прохладный металл мотора. Он знал, что это дизель, и знал, что при дневном освещении цвет его — рыжеватый... Но в полутьме он казался ему каким-то чудическим, и он прошелся по нему руками, как бы приручая. Он добрался до ящика с инструментами и выта-

шил оттуда коробку. Осторожно, кончиками пальцев нащупал спички.

Эту процедуру приходилось проделывать каждое утро. Легче всего было взять спички в палатке возле лампы. Но ему нравились эти поиски в темноте и не хотелось пользоваться другими спичками. Он зажег свет. Тени вокруг него неожиданно сгустились. Труба дизеля вздымалась вверх, а цепи вырастали из земли, как огромное фантастическое растение. На сиденье лежал фонарь, потушенный вчера после окончания работ. Аврахам поправил фитиль и зажег его, затем, проверив, достаточно ли в нем горючего, повесил на гвоздь в стене возле крюков и стальных цепей.

Теперь, подняв глаза, он увидел зарождение света и снова почувствовал себя счастливым. Со дня приезда в Гат-Хаамаким он не ощущал такой полноты жизни, как здесь. Размеренное, спокойное существование в киббуце после пережитых кровавых событий тяготило его. Ему казалось, что он живет не совсем полноценной жизнью, и что со дня на день его силы, не находя выхода, убывают. Поэтому он уединился в своей комнате и старался усыпить время чтением книг, усмирить сердечную тоску случайными девушками, большой, полной противоречий любовью к Рутке. Жизнь с Руткой только усугубляла его одиночество в киббуце. Их отношения нельзя было извлечь на свет божий. Киббуц упорно ничего не желал видеть и отказывался признать существование зреющей в его стенах тайной жизни. И сама Рутка предпочитала тайную любовь. Сначала ему казалось, что их отношения приблизят его к жизни киббуца. Но оказалось, что он заблуждается. Главным для Рутки, несмотря ни на что, был и оставался Вили, их союз казался ей таким естественным, понятным и не нуждающимся в объяснениях, что это подчеркивало, насколько он, Аврахам Горен, случаен в ее жизни, хотя и украшает ее... В их отношениях сохранялась напряженность, которая обостряет ощущение счастья при встречах и становится удручающей и мучительной в долгие часы между свиданиями. Так и

получилось, что, несмотря на кажущиеся в его жизни перемены, в действительности все осталось по-прежнему. В киббуце он продолжал быть одиноким и чужим. Интеллигентность, знания, уверенность в себе и прошлое, прошедшее под знаком суровых испытаний, породили в его отношениях с людьми оттенок легкой иронии. Комната его не изменилась, порядок дня не был нарушен и даже кинжал, как всегда, валялся между книг на столе, как символ недостигнутой мечты и надежды на то, что еще придут дни, когда о его хозяине будут говорить.

И вот через неделю после отъезда Вили и прибытия его сына, когда некоторое равновесие, с таким трудом достигнутое им благодаря силе ума и самообладанию, начало нарушаться, он неожиданно получил предложение, которое принял: он, Аврахам Горен, был назначен ответственным за заселение юго-западной части Газельей горы — в действительности же он руководил и подготовкой места и определением дня заселения, и отвечал за безопасность в первые дни жизни, и был инструктором нового киббуца, начиная с налаживания отношений с соседями, визитов в деревню Ум-а-Зитун и кончая закупкой машин в магазинах прибрежных городов.

Теперь Аврахам вместе с тремя новыми киббуцниками занимался глубокой вспашкой. Вечерами, сидя в поставленной в хане палатке, он говорил: "Самое главное — подготовиться к зимнему посеву. Если мы не будем лениться, то сумеем обработать наши первые восемьдесят гектаров!"

Новые киббуцники нуждались в нем, и он посвятил им себя целиком. Спозаранку приступал к полевым работам, возвращался, проглатывал приготовленную ребятами из второй смены еду, мылся из бочки и садился работать над топографическими картами, изо дня в день пополнявшимися сделанными смелыми карандашными штрихами пометками. Иногда он уезжал в город или домой устраивать кое-какие дела и возвращался поздно ночью в хан в горах, к двум одиноким

палаткам под дубом, в нишу, где стояли тракторы. В окрестностях он изучал растительность и камни, посылал почву на анализ в научные центры и со дня на день ждал специалистов по бурению. Он не пропускал ни одной встречи с арабами и с удовлетворением узнал, что имя его в окрестностях стало известно и что его называют из-за светлых волос "Абу-Авиад"*. Теперь он узнал названия всех деревень, любого холмика, каждой развалины, всех окрестных деревушек. Источники были далеко, но он не раз поил в них свою лошадь. Что это за фруктовые деревья в горах? Как ваши абрикосы, а, феллахи? Вы когда-нибудь пробовали выращивать здесь виноград?

Результаты земледелия у арабов были жалкими. Их пшеничные зерна — маленькие, красноватые — были твердыми, как камни. Они пытались сеять то один сорт, то другой, но не добивались успеха, и он понимал, что ему нужно учиться и учить.

Визит Мики и Ури обрадовал его, он искренне спрашивал о Рутке, о письмах от Вили, обо всем говорил добродушно и тактично, иногда шутливо, он был умным человеком, тактичным и воспитанным. Когда он шутил, Мика и Ури вместе с ним смеялись и даже не думали обижаться. Накрыв их одеялом, когда никто этого не видел, он снова почувствовал радость, оттого что сделал доброе дело, не нуждаясь для этого ни в поощрении, ни в свидетелях.

Аврахам направился к ящику у стены и занялся примусом и чайником. Он разжег огонь, наполнил чайник чистой водой из накрытого кувшина, стоящего рядом. Поискал в кулечке чай и всыпал его в чайничек. Поискал в пакете сахар, ополоснул чашки и тарелки; за короткое время ниша наполнилась веселыми голосами людей, радующихся завтраку. Этот шум завершился громогласным приглашением "Завтрак готов!"

Аврахам посмотрел на часы: двадцать минут седь-

* "Абу-Авиад" — араб.: сын беловолосого, — приблизительный смысл — главный среди светлоголовых.

мого. Двадцать минут прошло с того момента, как он, проснувшись, взглянул на них. Теперь наступил час подготовки тракторов. Мимолетный взгляд в сторону примуса и чайника, — и Аврахам убедился, что там все в порядке; потом он направил свет фонарика на тракторы, чтобы проверить одну за другой все металлические части.

В это время в нише появился его напарник по утренней смене, высокий и худой парень. Он зашелся в удушливом кашле и бил себя в грудь кулаками, пытаясь вымолвить хоть одно слово и поздороваться с Аврахамом.

Аврахам молча ждал, когда он успокоится.

— Доброе утро, Муля!

— Доброе утро, черт бы тебя побрал! Ты не можешь хоть бы раз разбудить меня пораньше?

У Мули всегда наготове были анекдоты, в которых он посмеивался над собой. Он был несчастным, больным человеком. По утрам и вечерам его били приступы кашля, и больше всего на свете он боялся холода. С фанатическим упорством он ставил перед собой цели, которых никогда не мог достичь. Шутки его были остроумны и не грустны. Его любили в киббуце и, вспоминая его страдания, сочувственно качали головами и говорили: "Ну, в его положении..."

Теперь он подошел к трактору и начал возиться с дизелем, как до него это делал Аврахам. Некоторое время они работали молча, но когда чайник начал свистеть, поспешили, подстегнув себя несколькими крепкими словцами, закончить работу.

Сели завтракать. Аврахам достал из корзинки хлеб с маргарином, кольцо колбасы, кулек с сахаром и попросил всех есть быстрее и больше, чтобы ничего не оставлять.

Продолжая жевать, Аврахам поднялся и взглянул на трактор Мули. Бедный Муля привык к тому, что ему не слишком доверяют, и все-таки чувствовал покалывание в сердце, когда его проверяли. Аврахам

наклонился над тяжелыми цепями. Они были покрыты толстым слоем пыли. Он поднял голову:

— Скажи, Муля, вчера ты смазывал машину?

Муля не ответил.

— Эй, Муля!

— Ну, я слышу...

— Так отвечай...

Аврахам тотчас почувствовал, что перебарщивает.

— Вчера я был от усталости мертв, — объяснил Муля, — а теперь забыл...

Аврахам принес масленку, прижал ее к отверстию в цепи и три раза нажал.

Муля вскочил, остановился возле него и без слов отстранил руки Аврахама, сразу же уступившего ему место.

Аврахам пошел завести мотор дизеля. "Слушай, Муля, — сказал он, — я запускаю мотор и выезжаю. Постарайся во дворе не нажимать слишком на газ. Там спят наши гости".

— Как будто это поможет.

Ручка сдвинулась с места и шум трудового дня впервые нарушил утреннюю тишину.

Ури проснулся, приподнялся, опираясь на локти, и прежде всего почувствовал колыхание земли. Он увидел, как из отверстия в стене хана, сотрясая весь белый свет, во двор выезжают тракторы. Следующий взгляд он бросил на лежащее рядом с ним закутанное тело. Мика не думала просыпаться и сладко спала. Вот видишь, Ури, оказывается, что девушки, прошедшие через страдания, привыкли спать в любых условиях. Он окинул ее взглядом, угадывая изгибы тела, пока не увидел пальцы оголенной ноги. Моментально сбросив одеяло, он встал на колени и осторожно прикрыл розовые пальцы, замерзшие в этот холодный предутренний час.

Потом он выпрямился, и из-за черепичной сломанной крыши на него надвинулось светлое, тихое и на-

пряженное небо. Ури опустил глаза и оглядел большой двор. Ему казалось, — он что-то забыл или потерял; черт побери, неужели что-то исчезло?

Вокруг дуба почва была вытоптана и чиста, но чем ближе к стене, тем больше было мусора, разбитой посуды, сена и различных диких растений.

Вдруг он увидел свои сандалии. Вот они! Вот куда она их забросила! Он схватил их и начал обуваться и в тот же момент вспомнил вчерашнюю прогулку и веселье и представил себе те радости, которые ожидают их сегодня. Он вскочил, стараясь тихо обойти Мику и не разбудить ее. Но когда подошел к дубу, чтобы взять из вещевого мешка полотенце, внезапно услышал голос:

— Вынь и мое!

— Что? — от неожиданности Ури не знал, что сказать. Мика рассмеялась и сбросила одеяло.

— Чего ты испугался? Мое полотенце, полотенце Мики.

— Какая Мика? — Ури поддержал игру. — Просыпающаяся или спящая?

Она все смеялась, обнимая одеяло, сползающее до бедер, и ее розовые пальцы вытанцовывали игривый танец. Смех ее все усиливался. Ури присоединился к игре, вынул из сумки полотенце и бросил в нее.

— Ду-рак! — она повысила голос. — Не бросай в меня полотенце, я тебе говорю!

Она обулась,правила блузку и юбку, стараясь принять опрятный вид.

— Ну, я пошел, — сказал Ури, — попытаюсь что-нибудь найти.

Он быстро умылся, повесил полотенце на дубовую ветку и пошел туда, где, как ему казалось, должны находиться продукты, так как вчера оттуда носили ужин. Перед тем как исчезнуть в темной нише, он бросил взгляд на Мiku и на мгновение увидел ее, скинувшую блузку, с упавшими вперед волосами и застегивавшую на спине бюстгальтер. Он был уже в темноте и вновь обернувшись, ощутил острое жела-

ние поддержать ее груди, тяжелые и плотные как кисти винограда.

Его пронзила мысль: она моя! Я уже не могу без нее... И более спокойно, будто решая серьезную проблему, подумал: прогулки с ней — приятны, ночи под дубом — хорошо, просто замечательно. Но это все — не главное. А главное — эта женщина должна быть моей женой, и я готов к любым трудностям, лишь бы она была моею всегда. Вы имеете что-нибудь против?

Он искал в темноте еду. Когда выехали тракторы, ниша опустела и уже не казалось, что в стенах ее что-то скрывается. Он пошарил взглядом вдоль стен. Он искал еду для женщины, для своей жены. В их сумке почти ничего не осталось, кроме двух слив и нескольких бисквитов из детской столовой, которые дала Рутка. Любовь не только в страсти! В жизни — тысячи обязанностей, ведь приходится думать и о еде, и об одежде, ухаживать друг за другом во время болезни, и многое, многое другое.

— Дурак, — бранил себя Ури, — ну, как найти продукты в этой проклятой темноте? Возможно, что он задал себе этот вопрос, зная, где они лежат. Через минуту он нащупал пакет, поискал и вынул лук, помидоры, пачку, по-видимому, маргарина, затем нащупал половину хлеба, вилки, нож. Нагрузившись продуктами, он вышел, гордый, через проем. Вернувшись, он с удовольствием обнаружил, что поведение Мики соответствует его представлению о семейной жизни: одеяла были аккуратно сложены на земле под дубом, а сама Мика расчесывала волосы у бочки с водой и смотрелась в нее, пытаясь найти там свое отражение.

Разложив еду на земле возле сумки и одеял, и наведя там для предстоящего завтрака порядок, он прижал хлеб к груди, нарезал его и позвал все еще не отходящую от бочки Мику.

— Эй, мадам, прошу вас...

Она повернулась к нему.

— Завтрак?

Он дружески кивнул головой.

— Чудесно! — воскликнула она весело и капризно.

Они оперлись спинами о дуб, соприкасаясь коленями, и протягивали друг другу кусочки еды. Мика повторяла про себя, что она счастлива, то же происходило в душе Ури. Оба они искренне желали быть счастливыми но, оказывается, это дается нелегко. Десять дней тому назад, вечером, закончив нагружать машину и отправившись домой, они закончили свой первый день неясными обещаниями неуверенной в себе Мики и убежденностью Ури, что он сильно, навсегда, привязан к ней.

С тех пор прошло десять дней, только десять дней, а что, собственно, в них заключалось? Что могло произойти в течение десяти дней?

Все это время Ури с постоянным волнением, испытывая при этом смущение и бессилие, пытался приспособиться к Мике. Мика боялась показаться с ним на людях, неуверенность в себе мешала ей смело войти с Ури в столовую, ей казалось, что все закивают в их сторону головами: "Видите, наш Ури уже попался в лапы этой сучки". Она боялась, что ее желания исполнятся, а она считала их нечистыми. Влечение к Вили представлялось ей темной и грешной тайной. Ей всегда казалось, что ее самые сокровенные мысли написаны у нее на спине, почему-то именно на спине, и что позор ее поэтому может обнаружиться во всей своей непривлекательной откровенности.

В течение дня они не приветствовали друг друга даже кивком головы. Непринужденная веселость, случайная и невинная, охватившая обоих в первый день в винограднике, к ним больше не вернулась. Только по ночам они уединялись и страдали от утомительных бесед, из-за неясности в их отношениях и робких поисков утоления страсти.

Были и отрадные минуты, минуты молчания. Тогда они жили не реальной жизнью, а тенью утихших страстей, немymi прикосновениями и возникающими в темноте мечтами.

Ури не получил комнату, а в палатку Мики вернулись девушки. Поэтому они встречались в рощице, в яблоневом саду или винограднике.

Иногда они устраивали праздник: Мика посылала в ночь полные тоски восточные песни, а Ури брал тяжелые кисти винограда, выжимал сладкий сок в рот Мики и целовал ее пряные губы. Но сердца их были пусты. Они инстинктивно, как звери, искали тропу жизни, но знали, что к самому главному еще не пришли.

Они вышли в путь со смешанным чувством — так и не дойдя до выяснения своих отношений, не расставшись с мнимо-искренними и саморазоблачительными излияниями и не зная, какой характер будет носить их прогулка, что они оба в ней ищут. Что касается Ури, то мысль о прогулке была ему приятна; он любил защищать, предводительствовать, указывать дорогу. Она же боялась трудностей, боялась упасть, но все же надеялась, что что-то должно произойти. Беда ее была в том, что она сама точно не знала, чего хочет.

Теперь в хане было хорошо. За их спинами, над черепичной крышей в предутренней заре загоралось небо, предвещая погоржий летний день. На глазах Ури и Мики палатки осветились розовым светом, будто в них разожгли костры, а стены окрасились в яркий огненный цвет.

Мика первая кончила завтракать. Она собрала посуду, остатки хлеба и хотела уйти.

— Мика, ты куда?

— Положить все на место.

— Подожди! Я хочу тебе что-то сказать!

Ури встал, подошел к ней и взял посуду. "Теперь, — сказал он, — закрой глаза!" — он стремительно схватил ее голову и припал к ней продолжительным поцелуем. Не успела она отдышаться, как он сказал: "Это — во славу восходящего солнца. Смотри!"

Она вынуждена была признать, что вид действительно необыкновенный. Ури был не то, чтобы груб, но несколько напорист, хотя при этом чуток. И все же что-то в нем изменилось. Он стал сильнее, увереннее в себе. Вот что дало это путешествие!

Ури поставил посуду в нише, следя за тем, чтобы не осталось явных следов "хищения". Затем, после короткого спора, он позволил Мике нести рюкзак, и они вышли наружу. Обойдя стену хана, двинулись по тропинке, ведущей к Газельей горе. Так они решили еще вчера, а если бы даже и не решили, все равно пошли бы по этой, единственно подходящей дороге.

Поднялось солнце, освещая темную, заросшую грудь горы. После жарких обеденных часов они собирались взобраться по удобному откосу, оставив за спиной солнце. И какой потрясающий вид откроется им с залитой светом вершины! Мика от удивления задержит дыхание, а Ури будет стоять рядом с ней, внешне невозмутимый, учтиво выпуская восторженные восклицания девушки. Под ногами раскинется разноцветная и далекая долина, доходящая до Гат-Хаамаким.

Они шли по бегущей между двумя холмами тропинке. Один холм, на котором возвышался хан, казался выстроенным людьми, а второй — скалистый, не вызывал сомнений насчет своего природного происхождения. Они взбирались легко, и перед ними открывались все более красивые горные виды. Тропинка была сравнительно легкой, поэтому можно было смотреть по сторонам; было только непонятно, где скрываются тракторы, создающие в воздухе постоянный и ровный гул, идущий как будто из-под земли.

Они шагали молча, поглощенные размеренным ритмом движения. Оставив позади хан, они направились на северо-восток. Севернее — горы, а за ними долина, западнее — южные цепи Кармея и зеленая Мухрака, с белой крыши ее монастыря вчера они видели море, Зихрон-Яков и хан.

Ури обратил внимание на походку Мики, и ему показалось, что ходит она, как человек, случайно очутившийся в незнакомой местности. Она шла прямо по тропинке, не минуя преград и не ища мест полегче. Он немного отстал, идти за ней следом было ему приятно. Они долго молчали, погруженные в прелесть прозрачного воздуха, и еще потому, что Мике было трудно преодолевать подъемы. Ури шагал, наблюдая за ней сзади. Ее платье трепетало вокруг ног, и он думал — как это люди ходят в платьях, наверное — ужасно неудобно?

После первой встречи на сборе винограда он больше не видел ее в шортах. Она стыдилась своих оголенных ног, во всяком случае перед людьми, мнением которых дорожила. Ее ноги были покрыты черными волосками, сверху же они — слишком полные и неупругие. Она стыдилась их рыхлости и нечеткой линии, а ее походка казалась ей некрасивой. Как хотелось бы ей быть уверенной в себе, такой, — как Ури, или хотя бы как девушки-спортсменки, наездницы, разгуливающие в коротких брючках с обнаженными ногами. Однако, мечтая об этом, она не позволяла себе того, что делают порой девушки, любой ценой старающиеся подражать сабрам, отчего выглядят тяжелыми и неестественными. Мика была разумна, она знала себе цену и знала также, что ей идет. Она знала, что ее бедра и верхняя часть тела созданы для любви, что ее опыт и темперамент имеют большую притягательную силу, нежели неопределенные намеки на плотские радости этих закаленных ежедневным трудом, рожденных в киббуце спортсменов. Во всяком случае, о ней-то уж никак не скажешь — доска! Есть, кажется, такое выражение... Она умела быть привлекательной и оттенить то, что Ури искал в ней, а не то, что он мог найти у другой. Поэтому пока что она предпочитала скромность в одежде, сдержанность, свойственную неторопливой дружбе, некоторую напряженность и натянутость вместо легкости отношений — разумеется, все это до момента, пока не определится, куда ветер

дует и что предпочесть — осторожность или открытую страсть.

Оставив справа прямой спуск, они прошли вдоль горной кручи, идя навстречу солнцу, озаряющему своим сиянием скалы, камни и цветы.

Речка еще казалась темной, но низкие кусты вдоль извилистого берега, расставаясь с чернотой ночи, уже начали зеленеть. По противоположному подъему взбирались темные линии борозд, невозделанные каменистые участки почвы — все это создавало яркую мозаику из черного, серого и темно-коричневого. Они шли по затененной тропинке, сверху громоздились скалы, внизу — кусты чертополоха. Солнце лишь припекало затылок, но, когда они поворачивались к нему лицом, приходилось зажмуривать глаза.

Жара все усиливалась, Ури видел, что идущая впереди Мика начинает уставать; она то и дело передвигала лямки рюкзака, освобождая натертые места. Он немного повременил, затем двумя-тремя быстрыми прыжками догнал ее и взял рюкзак. Мика с благодарностью посмотрела на него.

— Ну как, лучше? — весело спросил Ури.

— Чудесно!

Шагая рядом, они начали болтать, и Ури время от времени соскакивал с тропинки, когда она становилась слишком узкой для двоих, или если он просто не мог устоять на месте от счастья. Они перебрасывались словами, не придавая им особого значения.

Беседу вела Мика. Она рассказывала о своем грустном прошлом, и сама удивлялась, насколько велико расстояние между тем, что она хотела рассказать, и тем, как это воспринимал Ури.

— Ах, лучше не спрашивай о колхозах! Здесь многие чувствуют симпатию к России. Может быть, это и хорошо. Но когда теперь, во время работы, кто-нибудь неожиданно закричит, а другой испугается... я вспоминаю, как работали там... и представь себе, они почти дикари, иногда хуже наших арабов. Представь себе, что могло получиться из этой идеи, когда каждый

стремится лишь удрать да обмануть начальника!

Ури слушал и иногда вставлял короткие замечания. Время от времени он тоже говорил, но только о своем:

— Ты заметила, что Аврахам Горен выглядит очень довольным? Говорят, он настоящий специалист, и дела идут хорошо. Здорово он нас принял, правда? А я думал, что не очень-то он обрадуется... Вчера, когда увидел его на тракторе, даже немного испугался...

— Испугался? — удивилась Мика, — с чего это?

— Не знаю... — он бросил на нее испытующий взгляд, колеблясь, говорить или нет? Что она знает?

— Не то чтобы испугался, скорее удивился... так... дома он всегда был недовольный... много лет сидел... ничего не делая... а говорят, что когда-то слава о нем шла по всей стране. И что же? Черт его знает, что... у нас ему не давали развернуться...

— Так часто бывает в киббуце, — поддержала Мика и вернулась к своей теме, — пока еще молодому человеку поручат что-то серьезное... Наши парни вечно на это жалуются, хотя сами тоже хороши. А там... Там было еще хуже — на помощь еврейского парня не приходилось надеяться. Кто помогал? Старик, родственники. Были и такие, которые, когда служили в армии, скрывали, что они евреи, они боялись, что это обнаружат и поэтому были злее поляков. Встречались, конечно, и неплохие люди. Я сама никогда не участвовала ни в каком молодежном движении. Но те, кто участвовали в нем, по-настоящему помогали друг другу, даже ели вместе. Армия же прогнила насквозь — меня оттуда Вили вытащил. Там был один доктор, когда-нибудь при случае я расскажу тебе о нем страшные вещи...

— Мика, вода! — воскликнул Ури и остановился.

— Что? — Мика от неожиданности вздрогнула.

— Родник! Видишь, там стадо? Мне кажется, это Эйн-а-Тина. Давай спустимся к нему.

— При условии, что потом немного отдохнем.

Сердце Мики сжалось от обиды, и все-же она была

рада переменить тему. Интересно только, почему Ури так не любит ее воспоминаний?

— Конечно, — ответил Ури, — а потом съедем то, что у нас осталось. Эйн-а-Тина! Так называется половина источников в Израиле.

Мика все еще шагала по тропинке, а Ури спускался все ниже и ниже.

— Почему ты не спрашиваешь, что означают эти слова — Эйн-а-Тина?

— Считаю, что спрашиваю.

— Это означает — фиговый источник. Но я что-то не вижу ни одного фигового дерева!

— Когда-то, наверное, были.

— Вот именно. А теперь — за мной!

Мика бросилась с крутого спуска вниз и догнала ожидающего ее Ури. Они бежали быстро — Мика издавала радостные вопли, а Ури время от времени останавливался, чтобы дождаться ее и схватить в объятия. По крутой тропинке они спустились к источнику.

Коровы, козы, пастухи в чувяках из верблюжьей кожи, малыши, бросающие друг в друга камнями, острый запах дыма, помета и верблюдов — всем этим встретило бы их арабское селение.

Большая гладкая площадка была покрыта зеленоватым пометом. Рядом — несколько скал, засыпанных мусором, а между ними на дне — тоненький ручеек, вначале прозрачный и чистый, постепенно превращающийся в грязную лужу — питье для скота.

Перед незнакомыми пастухами, опирающимися на палки, Мика вела себя сдержанно, зато Ури громко разглагольствовал, и не потому, что ему хотелось говорить с ними, а чтобы покрасоваться перед Микой. Он затеял с ними разговор, сам смеялся и их рассмешил.

— Мика, — обратился он к ней, — не хочешь ли напиться?

— А как?

— Ох, извини, не подумал об этом.

Он распрощался с пастухами, снял с головы шапку,

внимательно осмотрел ее изнутри и, многозначительно промолвив "порядок", окунул ее в прозрачную воду прямо под скалой и наполнил холодной водой. Мика опустила голову и пила, пока не утолила жажду. Когда она подняла лицо, с ее губ и подбородка стекала вода и на блузке блестели прозрачные капли.

— Достаточно?

— Спасибо, — вздохнула она, — большое спасибо. Хватит!

Тогда Ури вывернул шапку, отжал ее, натянул до бровей и прилег, чтобы напиться прямо из источника. Он долго лежал, опираясь на ладони, расставив в стороны локти.

— Я боялась, что воды не останется, — сказала Мика, когда он наконец поднялся.

— А я-то думал, что ты будешь волноваться за меня, а не за воду.

— Ты что это, притворялся?

— А ты и вправду думала, что я все это время пил? Да что я — паровоз, управляющийся водой?

Они продолжали свой путь вдоль потока, тень была лишь на резких его поворотах. Они искали подходящего для отдыха места, а пока кружились по тропинкам. Без рюкзака Мике было легко, она с удовольствием принимала нежную заботу Ури, ощущая при этом его силу и уверенность в себе. Ей захотелось снова начать с ним душевный, глубокий разговор.

— Знаешь, Ури, иногда мне жаль что ты незнаком с моими родителями. Вообще, мне кажется, — вы себе не представляете, что есть на свете такие люди. Правда, я сама недолго была с ними. Я жила в городе у дяди. Как они работали, чтобы я могла учиться в гимназии! А когда я приезжала на праздники, мама всегда бегала покупать для меня масло. Ты не можешь этого понять, а?

Мика старалась завязать непринужденный разговор, но Ури не отвечал, и ей пришлось продолжать дальше:

— А у тебя как раз очень симпатичные родители!

Вили просто чудесный человек! У нас по нему все сходили с ума. И в Тегеране, и здесь, в группе. Знаешь... его нельзя не любить. Есть люди, которых только увидишь и сразу чувствуешь, что равнодушен к ним.

Мике хотелось выяснить свое отношение к Вили не для собеседника, а для себя самой, сумеет ли она хладнокровно говорить о нем. Может быть, так ей удастся избавиться от некоторых мучительных вопросов. Она все еще не знала, освободилась ли из-под его власти, изменил ли для нее что-то его отъезд. И действительно ли она любит Ури — или он — для нее — лишь воспоминание о Вили, что-то вроде... сувенира. Вот она и пытается беседовать о нем с Ури, до сих пор они не говорили об этом. Но Ури с таким упорством сопротивлялся воспоминаниям, что она не могла понять: боится ли он их или, напротив, они слишком занимают его.

Чем был для нее Вили? Какое чувство было у нее к нему?

— Знаешь, Ури, иногда я пытаюсь навести порядок в мыслях, разобраться в себе — кого я ненавижу, кого люблю, к кому просто безразлична. Мне это кажется таким важным — установить точное отношение к людям. Поразмыслить с самой собой о жизни.

Ури никак не мог понять, куда она клонит, и он лишь заметил: "Это не всегда легко. Ведь все меняется... но это интересная мысль... послушаем, что дальше..."

— Так что же я придумала? Что-то вроде солнца, солнца и его лучей. Я бы сказала так: мои чувства к людям — это солнце. А лучи — разные виды чувств, любви. И на эти лучи нанизываются люди. Ты меня понимаешь? На каждом луче — отдельный человек или чувство к нему. Например, на первом луче у меня мама, еще с тех пор, когда мне было десять лет. А за ней, самая близкая — Рутка, твоя мать, и Гута. Это все. Обе они у меня на одном луче. И когда мне рассказали о Розе Люксембург, я присоединила ее к тому

же лучу, только подальше. Да, еще Рахель, Рахель — поэтесса. Я поместила ее где-то между Гутой и Розой Люксембург. Потом у меня есть особый луч с папой. И отдельный луч с Вили... и иногда оба эти луча сливаются... когда Вили суровый и жесткий... были такие дни в Тегеране. Но отца я почти не помню... родители мои были бедные. И интересно, что на луч Вили, чуть дальше, я бы поместила известных скрипачей и писателей... в общем — больших людей. Но только тех, которых люблю, понимаешь? Это тот же род любви, он подобен восхищению героем фильма. Я сосредоточиваюсь, закрываю на мгновение глаза и думаю: что именно так привлекает меня в каком-либо замечательном человеке, почему я восторгаюсь им. И постепенно все неглавное — внешность, окружение, разные мелочи — отпадают, я делаю еще одно усилие и передо мной возникает образ Вили!

Мика вдруг умолкла, и чтобы подчеркнуть, что то, что она ему рассказала, действительно очень дорого ей, схватила Ури за руку и прошептала: "Ты что-нибудь понял?"

— Да, — Ури разозлился на свой голос, он показался ему не соответствующим такой интимной беседе. — Почему же нет? Я будто читаю книгу: солнце, лучи...

Они продолжали идти молча, не такие веселые, как прежде, но более близкие друг другу.

— Теперь надо найти место для отдыха, — промолвил Ури. — А скажи, для меня у тебя есть в запасе хотя бы небольшой лучик?

В этот момент они увидели перед собой небольшой лесок.

— Лес! — обрадовался Ури, не дав Мике возможности ответить на вопрос. — Пошли скорей, там мы отдохнем!

Он смотрел не на Мику, а куда-то поверх нее, схватил ее за руку, и они побежали к лесу.

Это был маленький запущенный лесок. Они прошли мимо тонких, беспорядочно посаженных сосен, подыскивая удобное место в тени. Воздух был напоен ост-

рым запахом сосен. Ури искал подходящий камень, чтобы сесть. Они поднимались вверх, пока не добрались до середины леса. Деревья, хоть редкие, все же создавали иллюзию уединенности. Они нашли плоский камень, на котором играли пятна света и тени. Глухая и знойная тишина напомнила им, что они одни во всем мире.

Ури сел сразу, а Мика все еще продолжала искать подходящее место.

— Садись, Мика!

Он был так красив и сердечен... Она села с другой стороны, опершись о его спину спиной.

— Хорошо? Скажи, чего бы тебе хотелось на второй завтрак, каких фруктов?

— Мне не хочется ничего, — ответила она и подняла с земли шишку.

— Ничего? Ну, это мы сейчас проверим.

Она чувствовала спиной движение его мускулов, когда он нагнулся к сумке и начал искать там еду. Ну, Мика, какой луч ты хранишь для Ури? Любовь — но какую любовь? Что общего между чувством к нему и к Вили? Любовь — это когда кровь кипит, и ты готова отдать свою жизнь. Казалось бы, тебе ясно, как твое собственное тело, все его достоинства и недостатки, а также его желания. И все-таки любишь. Почему? Просто любишь, и все.

Мика молча смотрела на подъем между деревьями и кустами, уходящий к голубой линии горизонта и обрывающийся там. Красивый, ясный день, который, быть может, никогда не повторится.

Как ему объяснить все? Получается — ты сама должна сказать ему, чтобы он просил семейную комнату. Будто берешь его за руку и говоришь: "Ури, ради тебя я оставила группу. Они уходят без меня. В киббуце я одинока. Знаешь, Ури, у меня никого нет, кроме тебя". Она чувствовала, что ею овладевает грусть. А мир вокруг был полон жизни — лес напоен горячим дрожащим воздухом, от куста к кусту перелетали птицы. Ури толкнул ее спиной и бросил

две желтоватые сливы. Они вдруг поразились, как они сидят. — Тесно прижавшись спиной к спине. Они ощущают малейшее прикосновение друг к другу, и, хотя смотрят в разные стороны, но желание возникает... Интересно, какое теперь выражение лица у Ури?

Ха, да он уже перемалывает еду, и его слова долетают до нее, как из колодца: "Ну, Мика, разве здесь не чудесно? Ты что молчишь?"

— Я вспоминаю позавчерашний разговор в группе.

— Что, у тебя нет более приятных воспоминаний?

Его резкость обидела ее. Неужели он не понимает, что сейчас шутки неуместны?

— Ведь ты не знаешь, что там было.

— Скажу тебе по правде, меня это не очень-то интересует.

— А напрасно, это должно бы тебя интересовать.

В лесу стояла горячая тишина. Мягко падали шишки. Ури жевал у нее за спиной. В мире не было никого, кроме них двоих, но вот и они расстаются...

Лишь два дня назад ты сидела с группой молодежи в классе, и вот теперь ты в лесу, в глубине гор, одна с этим парнем. Как это получилось?

Тишина. На дереве птица. Шишки. Жарко.

... Комната в школьном бараке была полна дыма. С того момента, как они приступили к разговору о работе, число курящих увеличилось. Начали распределять, что каждый будет делать в наступающем году.

— А как насчет Мики? — раздался вопрос. — Что, ее нельзя трогать? Она в счет не идет?

Мика съехала. Вопрос задан, придется отвечать.

— Мика еще ничего не решила, — заявила девушка, считавшая, что знает все ее секреты.

— Глупости, — отрезал Шмулик, более взрослый парень, считавший себя циником, и все услышали его слова: — парень... то есть... Ури с ней серьезно...

Она молчала. Порядок был нарушен. Ей нужно было бы ответить, но в воздухе летали шуточные

замечания по этому поводу, и напряженность исчезла.

— Спросите у нее, и дело с концом.

— О чем, собственно, вообще разговор? — услышала она недобрый голос. — Что ей здесь делать, когда Вили ушел?

— С нее хватит и сына.

К своему огорчению, она почувствовала, что не может изобразить безразличие. Каждая новая обида ее волновала. Она сказала деревянным голосом, как человек, обращающийся к стене или читающий вслух данные арифметической задачи: "Я остаюсь в Гат-Хаамаким".

— А группа?

— Я ухожу из группы.

И назавтра, вместо того, чтобы обсуждать с группой ее ближайшие дела, она ушла путешествовать с Ури, не сказав ему о том, что хочет жить в его комнате, не зная, поймет ли он ее, не высмеет ли, не подумает ли, что она просто-напросто решила нахально вселиться к нему.

Приняв решение, она уже не прислушивалась к мнению товарищей об ее уходе из группы. Они по-настоящему встревожились, и смех, который неуместен рядом с ответственностью, — мгновенно стих. Они говорили много, и обсуждали все, что ее касалось, будто вспахивая землю, — не раз возвращаясь к одному и тому же. Для группы это была интересная тема, а Мике осталось лишь ждать, что скажет на это Ури, примет ли он ее в свою жизнь.

Ури закончил жевать, со вздохом прислонился к ней, и, как будто между прочим, проронил: "Я слышал, вы собираетесь уходить из киббуца?"

— Вы? — свой испытующий вопрос Мика направила лесу.

— Я говорю — молодежь.

— Они!

— Что означает — "они"?

— Я оставила их. Вчера. Нет, позавчера.

Ури не шелохнулся. И вдруг она почувствовала, что он выпрямился.

— Оставила? Почему оставила?

В горле у Мики стоял ком. Предлагая ей пропустить учебный день, он сказал: "Ты не участвовала в большой экскурсии — пойдем со мной путешествовать на два дня". Неужели он ничего не понимает? Или я ему совершенно безразлична, и он не понимает, что группу я оставила ради него?

Эта мысль только мелькнула у нее в сознании, как Ури вдруг вскочил и потянул ее так сильно, что она села лицом к нему.

— Что я слышу? — зрочки его расширились. — Ты остаешься? В Гат-Хаамаким? Что я слышу? Ну-ка, повтори еще раз!

— Остаюсь!

— Со мной?

— Посмотрим.

— Не говори "посмотрим".

— Посмотрим.

— Еще один поцелуй.

— Посмотрим.

Спустя некоторое время Мика поправила блузку, села на камень, подняла с земли прут и хотела начертить им что-то на земле, но она была настолько утомлена, что Ури не разрешил ей даже пошевелинуть пальцем. Он выхватил у нее этот прут и переломил его, как соломинку.

Он уже понял, что Мика ему необходима, понял и то, что она заставила его приспособливаться к своим настроениям. Он и не пытался подчинить ее своей воле и старался чутко прислушиваться к движениям ее души.

Кажется, теперь она его любит. Молчит. Глаза спокойны. Вокруг — ни души. Никого нет, никого и не будет. Наступил час — великий час главного.

Он подхватил Мику под руки и поставил на ноги. При этом он коснулся ее груди, она была податливой и мягкой.

— Пойдем, найдем местечко попрохладней, — придумал он.

— Посмотрим!

Он попытался рассмеяться, но это ему не удалось.

— Ты устала, — повторил он, — может быть, немного отдохнешь? Найдем такое место, чтобы можно было полежать.

Лгал.

— Посмотрим.

— Это упрямое повторение одного слова просто сводило его с ума. Если она произнесет его еще хотя бы раз, он растерзает ее.

Мика шла, спотыкаясь о кочки, задевая кусты, прижатая к нему и продолжала свое однообразное "посмотрим", как будто была погружена в глубокий сон.

— Здесь тень, Мика, — предложил Ури.

Это было душное, укрытое между сосен место. Он вспомнил, что забыл на камне сумку, но пойти за ней даже не подумал, посадил Мику на постель из опавших игл и сухих веток и опустился рядом на колени.

— А теперь, Мика, еще раз повтори, что ты ради меня осталась в Гат-Хаамаким.

— Посмотрим, — ответила она сонным голосом, и вдруг разразилась смехом, будто желая показать этим, что всю дорогу с ним шутила, — посмотрим, посмотрим, посмотрим... — повтряла она сквозь смех, как сумасшедшая, но вдруг, посерьезнев, добавила:

— Если хочешь, я буду даже Мика Кахана, Мирьям Кахана — это я и хотела тогда написать.

— Где написать?

— Неважно — иди сюда.

Он склонился над ней, и ему показалось, что глаза ее повлажнели. Он положил ее на спину, что-то хрустнуло.

— Ох, — застонала она, — убери камни.

Он быстро очистил место рядом от игл и шишек и потянул ее туда. Юбка задралась от быстрого движения, открыв голые ноги. Он обнял ее и сильно прижал к себе. После захватывающего дух объятия она нежно отстранила его.

— Больно? — спросил он.

— Больно, но хорошо, как сама жизнь.

Она упала навзничь и лежала, не поправляя юбки, раскинув обнаженные ноги. В голове стучало — вот оно, пришло. Только чтобы он был мудрым, понимающим, — ах, Боже мой, разве есть в мире полное, ничем не омраченное счастье?

— Ты заметил, — прошептала она, — что ночью кто-то накрыл нас третьим одеялом? Кто это мог быть? Наверное, Аврахам. Хороший он парень!

Ури расстегнул ее блузку, но она перехватила его руку.

— Без нее на земле будет колко, правда, мальчик?

Он обнял ее, закрыл глаза и вытянулся вдоль ее тела. Ногами он чувствовал ее голые, прохладные ноги и, протянув руку, ощутил мягкое, нежное прикосновение тонкой материи, податливой и эластичной.

Она протянула руку к его руке, одновременно второй рукой обнимая шею.

— Мой... — она искала подходящее слов, — муж. Я люблю тебя.

Его обдала горячая волна, когда он почувствовал, как ее рука помогает ему медленно и чутко. Страсть в ней растаяла, превратившись в нежное, полное жалости, ровное влечение. Она помогала ему спокойными, как будто привычными движениями потной осторожной руки. Он вздрогнул, ощутив ее кожу, легкие выпуклости чуткого тела, их шевеления. Приподняв голову, он заглянул ей в лицо. Глаза были закрыты, он чувствовал, как ее ноги двигались медленно, будто сбрасывая последний покров. И вдруг он подумал: "а она красива?" и сам себе удивился, и никак не мог оторвать взгляда от маленького углубления,

тянувшегося от ноздрей к губам, на котором покоились три большие капли пота.

Мика просунула руку под его рубашку и гладила мускулистую спину. Рука ее была горячей и потной. Сколько готовности было в ее пульсирующей шее, в чувствительных кончиках пальцев, в голубых жилах на внутренней стороне ног с чуть шероховатой кожей! Ури хотелось дать ей намного больше того, что она пожелает, что она сможет взять. Чтобы ей уже стало невыносимо, чтобы она стонала, кусала губы: хватит, Ури, хватит! Чтобы она этого боялась.

А если он не сможет?

Он положил руки по обе стороны ее опущенной головы и осмелился бросить горячий взгляд назад, вдоль задранной юбки и ниже.

Он увидел белый живот, мягкий, вызывающий жалость и грусть. Он был округлый, немного припухший и неожиданно спускающийся к темному углублению. На мгновение он ослабел, но сейчас же обнял Мику за спину и положил голову на ее плечо. Он увидел падающую сверху шишку, задержавшуюся на случайной ветке и с шорохом опустившуюся на землю. Запах пота, ее горячего тела, ее губы, припавшие к его груди и долго не отрывающиеся — все это пронзило его. В ее черных волосах, возле блестящих заколок, запутались сосновые иглы — тонкие и прямые.

Тень деревьев. Тишина.

Вили нес на руках Ури, голова его была запрокинута. По железному мосту проехал поезд, и увез на площадке вагона Ури, потом она увидела себя, падающей с моста в очень узкий колодец, со стен которого что-то струилось — странное, темное, зеленое. В то же время Рутка ощущала, что словно прикована к креслу. Раскрытая книга лежала на коленях, сон был страшно глупый. Что случилось? Неужели она так ослабела, или это от неожиданных болей

в спине, из-за которых она просто не в состоянии сдвинуться с места?

Рутка продолжала сидеть в кресле, и внезапно ее охватило острое чувство одиночества. Она одна, без Вили и без Ури. Где они теперь? После долгой и утомительной жизни в этот, внезапно наступивший час, в комнате, залитой желтым светом, среди удобной мебели, ты снова совершенно одинока — без Вили и без Ури. Где они? Какая несправедливость — жестокая и грубая. Кто в этом виноват? Киббуц? Спокойные семьи, удовлетворенные крохами уюта? Тихие люди, теперь ненавистные ей? Что отняло у нее Ури и Вили? Безразличие ответственных людей? Тех, которые возвращаются после длительных заседаний в комнаты с коврами и, потирая руки, любуются семейными фотографиями?

Рутка взяла книгу и закрыла ее. Шелест страниц вывел ее из оцепенения. Книга закрылась не до конца, в ней лежали два письма, вернее, письмо и записка. Письмо от Вили, а записка для Ури. Записка почему-то вызывала у нее враждебное чувство, даже человек, рыжеватый верзила, принесший ее, показался ей неприятным и самоуверенным.

Почти одновременно в ней возникли два чувства. Первое — подсознательный страх за Ури, — он еще вчера, в пятницу утром, ушел гулять с Микой и еще не вернулся, а второе — горячее желание обнять Вили, которого направили куда-то в Египет. Тоска, тоска.

Письмо Вили шло к ней два дня. Оказывается, он будет в "стране десяти казней"; таков его стиль — из-за цензуры, конечно.

"Мы выезжаем в страну десяти казней, и это — одиннадцатая, не описанная в Торе. Никогда, во всех моих поездках, а их было много (может быть, слишком много, а, Рутка? В минуту отрезвления кажется, что это так), я никогда не чувствовал столь острой тоски, как теперь по вечерам в Сарафанде".

Таким было его письмо — сердечным, как и все его письма, которые легче было принять, чем самого

Вили. Он подробно рассказывал о том, как у него проходит время, о различных событиях и случаях своей жизни. Спрашивая о цветах на балконе, о самочувствии кашлявшего в последнее время ребенка, сообщал, что видел в витрине магазина отличные книги по искусству и по воспитанию детей. Оказывается, его внимание к ней — глубокое, настоящее; мысли связаны с тем, что дорого ей, он помнит и о важных для нее ежедневных мелочах.

”Пиши мне об Ури. Я все еще не знаю, сделал ли для него то, что надо, или, наоборот, то, что ему повредило. Пиши поподробнее, даже если тебе этого не хочется. Может быть, издалека я сумею понять самое важное. Что ты рассказала ему о нашей жизни?”

Рутка подумала, что стоило бы взять в столовую куски материи и там, за беседой, заготовить работу для следующей недели. Тяжелые думы сами по себе улетучатся, а тем временем вернется Ури. Кто знает, может быть, он уже пришел, просто не зашел поздороваться... Он обрадуется письму, спросит, о чем оно, и удивится, что отца отправили в Египет.

Она встала и открыла шкаф. На отдельной вешалке висело белое спортивное платье. На полке лежали куски грубой белой материи. Рутка взяла их, поднесла к лицу и с удовольствием втянула в себя приятный запах. Арабская материя, отличная для салфеток или занавесок в детском доме. Она подошла к кровати и села. Проверила еще раз свое богатство, и, удовлетворенная, аккуратно его сложила, провела по нему рукой и чуть слышно свистнула.

Ури еще не вернулся, во всяком случае не зашел поздороваться. Чего ты ждешь — Ури или эхо голоса Аврахама? Все равно Ури ничего не расскажет. Да и что расскажешь об этой прогулке? И что будет скрываться за его молчанием? Разочарование или счастье? У него никогда ничего не узнаешь. Ведь он — умница, как будто созданный для откровенных бесед, и все же понять его до конца просто невозможно. Был благословенный час, когда он высказал ей свои мысли,

а слышал от нее бессвязный лепет. Потом он ушел — а что было в его сердце? Обида или безразличие? Ненависть, направленная на защиту отца, его гордости? Неужели он ее совсем не понял? А может быть, он все понял — как всякий ребенок, от которого не скрыть ничего, что касается родителей. Их троих связывают незримые нити, и, быть может, он ходил в темноте и посмеивался — глупцы, они объясняют мне то, что я давно уже понял.

Как он относился к Аврахаму? Означало ли его молчание недружелюбие? Почему же в таком случае он, Ури, позавчера пошел к нему с Микой? Неужели действительно существует какая-то природная преграда, мешающая родителям и детям понимать друг друга?

Двадцать лет ты прожила с Вили, девятнадцать — с Ури. И почти все это время Вили оставался все тем же, его можно было хорошо изучить за эти годы. Вили, снова Вили и опять Вили... А Ури менялся от вдоха до выдоха. Он рос на твоих глазах. Но вот он возвращается после двухлетнего отсутствия, и ты не узнаешь его. Он молчит. Молчит, как человек, который не признает чужих советов и ни в ком не нуждается.

”Мне кажется, я не простился с ним как следует, — волнуется Вили в письме. — Я пренебрег его опасениями. Что он теперь делает, Рутка? Работает ли в поле? Скажи ему, что я много о нем думаю, и первое письмо к нему уже в пути. Как он воспринял то, что ты ему рассказала о нас? Мне до сих пор неясна суть этого разговора. Стоило ли вообще вмешивать его в эти проблемы, которые для нас в общем-то утратили актуальность, или же тебе самой важно было сказать ему об этом? Будущее покажет. В ответ на твой вопрос о Мике: она хорошая девушка, но слишком впечатлительная...”

Рутка хотела полюбить Мику, но никак не могла. Она понимала, что в самых главных жизненных вопросах Мика намного взрослее Ури. Ури сабра, Мика —

чужая. Его все любят, она — отверженная, но это ничего не меняет. Ури впервые встречает на своем пути женщину, а она — черт знает что! Он возбужден, а она хитрит, — он не замечает этого. Он просто не знает некоторых элементарных вещей, а она знает, по-видимому, слишком много — и это ослепит, поработит его, а в конце концов для обоих наступит разочарование. Конечно, есть определенные, принятые людьми нормы. Но если первая же встреча сопровождается тревогой, то нормы оказываются сами по себе, а жизнь ставит свои вопросы.

”Воспитанная”, — что же означает ее воспитанность? Нервная... а это еще что такое? И правда ли — капризная? Плохо работает — с чего бы это? Во всяком случае, Рутка была довольна тем, что в последние дни, после того как стала известна дружба Ури с Микой, и они начали появляться вместе, она, Рутка, была приветлива с ней, Мика же всегда словно старалась спрятаться, остаться в тени.

А потом пришел Аврахам Горен. Он сказал, что уходит работать на Газелью гору. Только это и сказал, не добавил ни слова.

Рутка встала с кровати, собрала все мелочи — нитки для вышивания, цветные карандаши, иголки, ножницы, и все вложила в рабочую сумочку. Потом наклонилась над книгой, вынула из нее конверт с военным штемпелем — письмо с запиской, положила их в сумку, протянула руку, чтобы погасить свет...

Вдруг ночь пронзили равномерные, четкие звуки ударов о металлический брус. Кто-то терпеливо, педантично посылал в тишину эти звуки, и они медленно уплывали в пространство. В комнате потемнело, Рутка оказалась в большом, замкнутом и тесном мире, который в этот субботний вечер прислушивался к звону металла, шуму хлопающих дверей, топоту на лестницах, громкому смеху.

Рутка открыла дверь и остановилась. Легкий сырой воздух, черные деревья, бледные тени домов и ша-

гающие люди окружили ее. Она осторожно двинулась по тропинке между цветами, ступила на бетонный тротуар, стараясь обходить людей и не отвлекаться от своих мыслей.

Я скажу тебе, Аврахам. Прошло уже десять дней; возможно, я и обиделась. Я никогда не предполагала, что в этой трудной жизни, заполненной Вили и Ури, между нами возникнет нечто постоянное. Не думаю я, что и ты любил меня. Не так уж много было минут, когда я размышляла о твоей любви — существует ли она вообще и какая она... Я тебя любила по-другому. Да, я нуждалась в тебе. У тебя старомодные представления о любви, — по-твоему, главное в ней женщина, дающая тебе счастье. У меня другое понимание любви. Я не знаю, как это назвать. Я не считаю себя святой. Есть люди, которых я не люблю, просто не люблю. Может быть, даже ненавижу! Но новый человек, тот, к которому я не привыкла, всегда вызывает у меня интерес. И у меня возникает любовь к нему, такая любовь, которая не требует немедленного удовлетворения. Пути ее не прямые, я бы сказала, окольные, но именно она так много мне дает, именно в ней, в этой любви для меня так важно найти разнообразные впечатления, не разочарование и отчаяние, а постоянное воскресение. Я любила тебя и твою комнату, как воплощение одной из прекрасных возможностей нашей жизни. Благодаря тебе я полюбила в Вили то, что до сих пор не могла переносить — дерзость, его стремление жить не так, как все. Ну, хватит! На сегодня достаточно. В конце концов, не такая уж я необыкновенная женщина. Просто — Рутка. Правда, что-то во мне, обиженной женщине, сопротивляется, но Рутка... Рутка радуется твоему отъезду! Любила я тебя странной любовью: мне было очень важно, чтобы жизнь твоя снова приобрела остроту. Ты ведь жил окруженный лишь книгами, щенками и трубками, и хотел показать невзгодам, что плюешь на них, и поэтому я радуюсь переменам в твоей жизни, хоть мне и тяжело.

Я понимаю, что сегодня для тебя работа важнее, чем я, и что люди нуждаются в тебе еще больше, чем я. Несколько раз заходила я в твою комнату. Слежу за тем, чтобы дети не забывали кормить Писто, и когда ты вернешься, то не найдешь у себя дома ни пыли, ни других следов заброшенности.

После отъезда Вили мне стало ясно, что жизнь постепенно упрощается. И то, что когда-то потрясало нас, исчезло, как круги на воде. Ури вернулся домой, теперь он взрослый человек, киббуцник. Вили ушел в армию, но я верю, что это его последняя поездка, и что там, наконец, он окончательно, глубоко и навсегда проникнется чувством, которое называется любовью к дому. Мне кажется, — Вили тоже это понял; лишь тогда мы ощущаем полноту личной свободы, когда подчиняемся тому, что называется продолжением рода. Бесконечно повторяющиеся приключения становятся замкнутым кругом. Видишь, Аврахам, постоянство важнее приключения! Корни побеждают природу, семья — развлечения.

И все-таки я обижена. Может быть, это первое ощущение приближающейся старости? Меня никогда не оставляли. С Вили было совсем по-другому. Это были трагические расставания. Мы слишком боялись счастья. В наших представлениях оно было связано с изменой киббуцу, с уходом в себя. И нам казалось, — чтобы искупить перед киббуцом наш грех, мы должны подарить ему все свое внутреннее богатство. Так Вили посвятил всю свою жизнь сумасшедшей работе — от одного задания к другому, и в киббуце не нашлось никого, кто бы сказал ему: хватит! А я погрузилась в работу и молчание, не осмеливаясь думать о личной жизни. Поэтому у нас не было второго ребенка — я позволила Вили вести бродячую жизнь, признавая свой долг перед ним за те два-три спокойных года, что я провела в буржуазной тель-авивской среде. Так мы отдалились друг от друга. Потом появился ты. Что я искала во встречах с тобой? Восполнения того, что не растратилось в молодости, полноты физической

жизни. Вот мы и достигли окончательного перелома — ухода Вили в армию, и сейчас же после этого, после двух его писем и чувств, воскресших во мне — и это удивительно, — прежнее. Теперь я почувствовала, что не могу без Вили и знаю, что расстояния потеряли свое значение и изменилась мера тоски. Конечно, мы оба тоскуем, но я твердо знаю, что там, в лагере, марширует Вили, и что в нем живут два существа — Вили и Рутка, и его это радует. И, несмотря на то, что в Гат-Хаамаким я живу одна и временами поэтому тоскую, я знаю, что мы вместе. Я нахожусь с Ури, наблюдаю за тем, как он взрослеет; я слежу за его поисками и, должна сказать, еще не всегда знаю, как относиться к ним.

Сейчас, проснувшись после нелепого сна, я поплелась в столовую. По дороге в темноте стараюсь не столкнуться с торопливыми тенями и не попасть в полосу света, падающего из окон читального зала, разговариваю с друзьями, с Вили, с Аврахамом, нашедшим, наконец, свое место. Только Ури не вижу я и беспокоюсь, что что-то здесь не в порядке. Чего хотел от него этот рыжеволосый верзила? И почему он такой официальный? Он даже чем-то похож на вокзального служащего...

Я продолжаю свой разговор с неизвестным собеседником и говорю о том, что киббуц каким-то странным и чудесным образом продолжает свою жизнь. Сегодня субботний вечер, я точно знаю, что потерявшие терпение родители пытаются в своих комнатах всеми правдами и неправдами отправить спать упрямых детей, для которых этот час — драгоценнейший и единственный в мире. У родителей же сейчас — самое напряженное время, потому что работа кипит, и, чтобы не было напрасно потерянного времени, каждый должен заранее точно знать, где будет работать завтра. И при этом каждый уверен, что если он сию минуту не отправится в столовую, где происходит распределение работы, то обязательно пропадает. Немногочисленные, не занятые детьми "избран-

ники” уже давно в столовой и в третий раз читают объявление о том, что кто-то потерял авторучку или ремешок от часов. И я спешу в столовую. Сегодня там лекция. Тема обычная — киббуц. Мои размышления, естественно, улетучатся... Оказывается, я действительно старею. Если сегодня вернется Ури, у меня есть надежда приятно провести вечер, посвятив его воспоминаниям. Одно из самых лучших человеческих качеств — это то, что человек с течением времени способен менять свои желания...

Рутка вошла в столовую. Привычный гул, звон посуды, спокойное время до начала беседы были ей приятны. Она уселась у входа, так что все входящие и выходящие проходили мимо нее. Вытянула ноги, оперлась спиной о край стола и посмотрела по сторонам. Беспокойство, вызванное размышлениями, не проходило. И именно здесь, чувствуя себя одинокой в толпе, она вдруг нашла ответ на свои неясные вопросы. Неужели все эти трудные и долгие годы в киббуце были возмездием за ее вину, платой за грехи?

В самой сущности киббуца есть что-то, что не могло простить бегства с маленьким Ури, хотя бы ради спасения его жизни. Даже если можно было бы оправдать этот временный уход, все равно — он был здесь нарушением основ жизни. Киббуц — это не кооператив, здесь все ценности превращаются в единое целое. Поэтому человек должен вместе со всеми принимать не только жизнь, но и смерть. Киббуц ведет человека из земли снова в землю... другого выхода нет; невозможно искать спасения в другом мире. Киббуц сам растит детей, и он не согласен с исключением из этого правила. Он обязан растить их у себя, своими средствами, со своими воспитателями, со своими ошибками и своими несчастными случаями. И его первые дети должны проложить дорогу будущим поколениям.

Киббуц ничего не забыл. Он не простил тихой жизни в городе, когда здесь проливали кровь, умирали от малярии в каменистых горах Фука-эль-Кабира, превратившегося затем в Гат-Хаамаким. Она так и не получи-

ла прощения. Рутку любили, ценили, очень уважали в течение всех двенадцати лет. Но были часы, когда воспоминания возвращались к прошлому киббуца, к его первым пяти годам, и тогда взгляды людей теплели, а Рутка чувствовала себя лишней. Вили вечно был в разъездах. Права его были неограничены. Но из-за неукоснительного следования своим принципам киббуц отказывался передать ей, Рутке, часть его прав. При этом все теплые чувства доставались Рутке, а твердого, сурового Вили боготворили, но не любили.

Кто-то постучал рукой по столу — беседа началась. Рутка стала искать себе место, более подходящее для шитья.

Она подошла к столу, что находился подальше от выступавшего и разложила на нем материю. Человек, призвавший к тишине, толковал, по-видимому, о чем-то малоинтересном, потому что люди в столовой все еще рассаживались, переговаривались; его это несколько не беспокоило. Наконец стало тихо. Биберман хотел что-то объявить, и даже Рутка, внимание которой было рассеяно, сообразила, что обсуждаются приготовления к созданию нового киббуца на землях Газельей горы. На повестке дня стояло несколько вопросов: где должна поселиться подготовительная группа, как разместить людей и распределить работу, нужно было определить и день заселения. Говорили о полной мобилизации всего киббуца и о том, что заселение должно произойти не позже, чем через полтора-два месяца; необходимо помнить — времени мало, а работы много.

Рутка расстелила на столе кусок материи. Это будет салфетка. Ближайшие соседи нагнулись взглянуть — чем это занимается Рутка. А ей надо было принять важные решения: во-первых, кому предназначается эта салфетка? В каком углу будет вышито имя владельца? Какой будет рисунок... В субботний вечер Рутка сидит на собрании в киббуце, работает и решает — как будет выглядеть рисунок, дорогой ребенку, имя которого она пока не знает, но который получит

первое понятие о красоте, первый урок хорошего вкуса и представление о том, как много умеют делать взрослые люди.

Наискосок она начертала имя "Ури" крупными и ясными буквами, — имея, конечно, в виду не своего сына, а малыша из садика, хотя в общем-то она испытывала к нему чувства как к новому Ури, — чужому и вместе с тем близкому. Эта салфетка предназначается для Ури. Она вышьет его имя нитками ярко-красного цвета. А что нарисовать? Пожалуй, так — дом и дерево справа. За ними мягкими линиями возвышаются три горы. И чтобы завершить композицию, она нарисовала в воздухе двух больших летящих птиц — обязательно летящих, чтобы каждый понял: это — птицы.

Рутка сложила салфетку и, взяв в руки другую, задумалась о новом рисунке, но ничто не приходило на ум. "Есть, наверное, на свете более талантливые художники", — усмехнулась она про себя.

Беседа шла, как обычно. Члены киббуца терпеливо слушали, покуривая, просматривая счета, быстро двигая спицами, теснясь у входа на кухню и у главного входа, заглядывая через раскрытые окна в прохладную темноту ночи; со скамейки, где засела молодежь, доносились шепот и смех. Субботняя беседа и составление плана работы — это атака на следующую неделю. Люди, ответственные за различные участки работы, собирают свои группы, советуются, обсуждают планы на будущее, шутят и вновь возвращаются к тому, что требует теперь особого внимания: "придется, наверное, устроить основательный скандал, чтобы все поняли, каково это — в разгар лета запускать работу!"

Казначей уселся за отдельный стол, перед ним возвышалась стена толстых папок, а вокруг него собрались выезжающие завтра в город — ответственные за покупки, заведующие складами — а также большая и шумная толпа просто любопытных.

Беседа не прерывалась и текла плавно. Иногда она затихала, иногда становилась напряженной, и лишь

изредка навевала скуку. Здесь решались все самые главные дела, в которых заинтересован каждый. Во время этих разговоров редко хвалят, много критикуют. Поэтому в обсуждение включаются и самые безразличные люди, приобщаясь к активной жизни. Здесь принимают новые решения и напоминают о забытых, в свое время записанных в протоколах. Никто ничего не боится, никто никого не стесняется, каждый может отстаивать свое мнение. Субботний вечер. Предстоит рабочая неделя, которая неизбежно наступит, хотим мы того или нет. Да будет она благословенна.

...Рутка все никак не могла придумать новый рисунок — не дай бог повторить одно и то же дважды. Индивидуальность — мы это так называем, должна проявляться во всем. И вдруг ее пальцы взяли химический карандаш и стали сами по себе рисовать. Получился круглый, сложенный из камней колодец, пастух, опирающийся на палку. С одной стороны — ягненок, с другой — дерево. Пламенем озарило ее воспоминание о Йосле Брумберге и тут же погасло, она вновь взглянула на рисунок, и воспоминание воскресло. Она не знала, было ли оно вызвано рисунком, или рисунок возник из воспоминания, которое таилось в ее сердце весь этот вечер, и все последние дни, когда ее память воскрешала минувшее, старые сердечные счета, невозвращенные долги, тель-авивские дни и их сегодняшние последствия.

Йосл Брумберг делал рисунки для одного торгового дома на улице Нахалат-Биньямин, который назывался "Бецалель — подарки и сувениры из Святой Земли". Он рисовал на арабской ткани, покрывая ее толстыми слоями грубой краски. Заказчики предпочитали розовые тона, туманную сладость. Он рисовал для них Стену плача, деревню в лунном свете, караван и верблюдов, лошадь с наездником у гробницы Рахели, первых поселенцев-халушим, танцующих хору, старого еврея, читающего Тору, девочку у входа в палатку, священный плод этрог на фоне красноватого шкафа со свитками.

Он гордился своей работой, приносил все рисунки в дом Кахана и раскладывал перед Ури. Малыш любил их страстно, и его мир наполнился образами, созданными по заказу торгового дома.

Йосл Брумберг привязался к малышу и хотел покорить его сердце. "Наш Ури, — говорил он и добавлял, — Вили даже не достоин быть отцом ребенка, которому каждый готов отдать свое сердце! Как он может сидеть там и крутиться по стране, как министр, когда у него в Тель-Авиве есть такие Рутка и Ури! Я этого просто не понимаю". Иногда он осмеливался и добавлял: "Если вам будет что-то нужно, я хочу сказать... даже отца... я хочу сказать — я здесь. Положись на меня, со мной не пропадешь".

— Я художник, — сказал он Рутке, когда пришел искать ее дружбы, после того, как покинул их киббуц, — и если у тебя было право уйти из-за Ури, то я ушел из-за вещей, которые мне не менее дороги!

Он вел себя, как не вполне нормальный... человек. Неделью приходил часто, неделю — редко. Являлся обычно в послеобеденные часы и всегда забирал с собой на прогулку Ури с Руткой или одного Ури. Никогда не ходил на прогулки с одной Руткой. Они спускались к берегу моря, и Йосл затевал долгий разговор. Ури прыгал между ними, время от времени повисал на их руках и без конца задавал вопросы. Рутка всегда отвечала на вопросы мальчика и вместе с тем старалась выслушивать и этого растрепанного горе-художника, который покинул киббуц и почти сразу же стал считать себя центром мироздания. Свою прошлую жизнь он небрежно зачеркнул и старался забыть все, что было в ней. Удивительно, что, несмотря на любовь к Ури, он не переносил его вопросов. Они прерывали его длинные, запутанные, витиеватые речи. "Почему-почему-почему, — говорил он сердито и наклонялся к Ури, задающему очередной вопрос, — потому-потому-потому..." — но заставить ребенка замолчать он не мог, потому что Ури удваивал число вопросов, услышав неясное бормотание своего взрослого друга.

Они сидели на берегу моря. Йосл говорил, Рутка молчала, а Ури бегал вокруг и приносил интересные находки, оповещая о них громкими и восторженными криками. Йосл тем временем говорил:

— Я художник, у меня есть мое искусство. Может быть, у меня не будет жены и детей — так что, мир из-за этого перевернется? Тоже мне, несчастье, у Йосла Брумберга, нормального, сильного мужчины, нет детей и нет наследников... Но что я хочу сказать? Может быть, мне лучше не рисовать? Тебе я могу сказать: то, что я делаю для магазина — это все г.... Знаешь, теперь на Алленби строят новый дом. Ты заметила? Приходит ко мне хозяин и просит, чтобы я сделал рисунки на лестничной клетке. Первый этаж — Иерусалим, второй — Хеврон, третий этаж — сеют и пашут, Тель-Авив, корабли, словом, новый Израиль. Я плюнул на это дело. Я тебе скажу, зачем мне заработки? Что мне нужно? Чай два раза в день, ателье на крыше и немного работы, но работать только для продажи. Нет уж, пусть покупают мои настоящие работы.

Одет он был всегда одинаково — брюки-галифе, привезенные из кибуца, желтые ботинки, потрепанные и облезлые, и черная косоворотка с зеленой вышивкой по краям воротника и рукавов.

Рутка ни разу не была в его комнате на крыше, несмотря на то, что он умолял ее об этом. Зато Ури бывал с ним повсюду.

— Ури, — заходил он в дом Кахана и шептал на ухо малышу, как великий секрет, — хочешь увидеть кошку с десятью котятами, малюсенькими, — еще меньше, чем ты? Пойдем со мной, я их видел у моего соседа-сапожника, на это стоит посмотреть. Спроси у мамы, разрешит ли она тебе. Разрешает? Тогда пошли!

Он приносил Ури деревянные игрушки, которые делал для него сам. В одну из суббот потащил его на футбольный матч, и когда Ури стал приставать к нему с просьбой купить ему у араба один, два или три банана, Йосл согласился при одном условии — что Ури его тут же на месте поцелует. Он подставил Ури щеку

и заработал поцелуй. Ури очень любил его. У малыша просто-напросто захватывало дух от восторга при виде вещей, которыми Йосл одаривал его: ножичков, фарфоровой обезьянки, арабской шапки, купленной в Яффе, отработанных, твердых от засохшей на них краски, кистей...

Йосл перебрался в город в то время, когда начали гореть гумна в Эмек-Изреэль, в Хевроне были убиты ешиботники, да и сам Тель-Авив прислушивался по ночам с раскрытыми глазами к стрельбе армии Его Величества, взявшей на себя миссию охраны Святой Земли. Он ходил с Руткой и Ури по летним улицам города и пространно высказывался о свободе искусства. Они спускались к морю, мать и сын прислушивались к его речам. Его совершенно не занимало, что в это время в Эмек-Изреэль горят хлеба.

Вили тогда не приезжал в город. Приходили лишь его короткие милые письма. Все происходящее настолько заполняло его, что он даже не считал возможным говорить о нем, он только вскользь упоминал об охране, о больших трудностях в работе и о пожарах в киббуцах.

Так он объяснял свое долгое отсутствие. "Поцелуй за меня Ури и напости ему обо мне, а как только станет немного легче, я приеду к вам надолго".

Рутка находилась в радостно-приподнятом настроении и того, что происходило в Гат-Хаамаким, совершенно не представляла себе.

Минуло больше года с тех пор, как киббуц обосновался на новом месте, а Рутка все еще не была там. Вили никогда не просил ее об этом. Как-то случайно в городе она встретила знакомых из киббуца. Она бросилась им на шею и была с ними так ласкова, как только могла, но они ее не звали с собой... Она и сама этого боялась, боялась ехать на новое место. Она стремилась к тому, чтобы ее уход остался незамеченным, чтобы прекратились разговоры о нем. Она понимала, что ее приезд непроизвольно воскресил бы в ее памяти прошлое и все трудности. А к чему все это?

Резкая перемена еще не наступила. Она, Рутка, пока искала только спокойствия. И уехавший из кибуца Йосл дал ей что-то в этом роде. Он окружил ее нежностью и вниманием, хотя был и чрезвычайно погружен в себя, и озабочен собственной тяжелой жизнью, и очень захвачен модернистскими течениями в живописи и в искусстве. Густая пелена, приятная и отупляющая, окутала Рутку до такой степени, что она перестала думать о муже и его товарищах, об их тяжелой жизни, о борьбе со всеми бедами, о которых блаженный Йосл ничего не хотел знать. Где-то горела под ногами земля, его это не касалось. В то время и она не могла представить себе страданий людей, если они не были связаны с творческими поисками или собственной несчастливой судьбой.

Горе из-за неурожая или стихийного бедствия. Голод "художника" и постоянное недоедание многих людей в осаде! Там воевали с огнем, с неудачами в сельском хозяйстве, с банковскими процентами и пытались разрешить наболевшие социальные проблемы — мог ли, хотел ли Йосл донести до спокойного Руткиного дома хотя бы отголосок их боев? Наоборот, с первого дня он окутал ее туманом своих душевных поисков и проблем, и она погрузилась в состояние, близкое к душевному сну — все происходящее проходило мимо, не затрагивая ее.

Вот тогда пришел Вили и вырвал Рутку из этого странного сна. Он остался тогда в Тель-Авиве на несколько дней и сразу же понял, что в его и Руткиной жизни наступил переломный момент. Или он, или Йосл; тель-авивская оторванность от жизни либо кибуц с полной отдачей себя окружающему миру; либо наш Ури, или — избалованный, капризный, единственный ребенок; или эмигрантская жизнь в Тель-Авиве, или семья в Гат-Хаамаким. Ему было безразлично, что скажет отец. Все его внимание было сосредоточено на Рутке и Ури. Вначале сын встретил его пугливо и настороженно, но вскоре у него появилась к отцу симпатия, а затем — привязанность и любовь. Но все-таки

малыш без конца рассказывал про Йосла — у него не было другой темы для разговора, так этот чужак заполнил всю его жизнь.

Вили с напряжением ожидал появления Йосла, в глубине души ощущая радость предстоящей битвы. С Руткой он провел несколько тихих часов. Он рассказал ей о том, что в Палестине прокатилась волна кровавых погромов. Она, конечно, знала об этом, но как-то не приняла близко к сердцу, не испытала страха, который бы сблизил ее с народом, находившимся в опасности и вынужденным защищаться. В Гат-Хаамаким пока еще не произошло ничего серьезного, но один такой погром мог стать бедствием. Хульда была оставлена, Беер-Тувия — тоже. Кто знает, не будут ли покинуты и другие места.

Что из себя представляет Йосл Брумберг? Вили не хотелось говорить об этом. Рутка не успела познакомиться с ним в киббуце — он появился там после ее отъезда, в самые тяжелые дни, когда не было уже работы и на строительстве дорог. Рассказывают, что последняя палатка прокладывающих дороги — самая последняя, дырявая, сиротливая, покинутая всеми — была его. В стране он недавно. Где только он не побывал! Почему ушел? Может быть, почувствовал приближающуюся опасность? Работы в хозяйстве прибавилось. Приходилось дежурить ночью, все труднее и опаснее стало передвижение... Вили высказывался очень осторожно, и все-таки Рутка вдруг почувствовала тревогу, будто и ее подстерегает смерть... Вили, Боже мой... Вили оставил разговор на вечер, когда должен был прийти Йосл. Тот пришел поздно. Он был на открытии художественной выставки, где были показаны и его работы. Он и их, Вили с Руткой, потащил туда. Вили так устал, что плохо воспринимал живопись, а Рутка была настолько озабочена рассказами мужа, разбудившими в ней целое море размышлений и опасений, что развешанные по стенам картины не вызвали у нее никакого интереса. На выставке, хотя и было накурено, посетителей было мало,

участники ее подшучивали друг над другом. Потом Вили с Руткой и Йослом пошли в кафе "Ливанский снег"; они хотели сократить путь, и поэтому им пришлось идти в ночной темноте, рядом с шумящим морем, с трудом вытаскивая ноги из песка, переходить пустые площади под сиянием звезд и под завывание шакалов, доносящееся с горных виноградников. У Вили накопилась ненависть к Йослу и из-за любви к нему Ури, и из-за теперешней отдаленности от него, Вили, Рутки. Не мог он ему простить и побега из кибуца; а его картины вызывали у Вили только раздражение. Вили не понимал искусства и не признавал его значения. Злость его все усиливалась и в конце концов превратилась в настоящую ненависть. Он был неумолим. До глубины души преданный кибуцу, он считал, что сейчас не время для занятий искусством. Сидя в кафе, он чувствовал, как на него накатывают волны ненависти все сильнее и сильнее.

Рутка же, несмотря на все свои сомнения, раскаяние и самобичевание, невольно развеселилась. Это было такое приятное место! Она кокетничала с Йослом, пожимала его руки. Посетители подходили к Йослу, радостно его приветствовали, словно произошло что-то важное. Эти ничтожные люди подыгрывали друг другу! Ненависть Вили все возрастала.

Наконец, Йосл повел их в свою комнату на крыше пить кофе. Они взбирались по бесконечной лестнице в задней части большого дома, построенного — либо по ошибке, либо по какому-то мошенническому расчету в далеком бедном районе. Пока люди поднимались по пожарным лестницам, они должны были проходить мимо развешанного мокрого белья, их оглушало мяуканье разбуженных кошек и со всех сторон окружали запахи — характерные запахи густозаселенных квартир с общими коридорами, запахи еды, грязного белья, уборных. После того как они миновали четыре этажа, — казалось, что их было сорок, — Йосл сказал "тут" и зажег спичку. Они, нагнувшись, пролезли под мокрым бельем, перешагнули через лужу под ним, пробра-

лись между старыми ящиками и выброшенной мебелью и, наконец, остановились у двери. После продолжительных усилий она со скрипом открылась, и гости вошли. Комната Йосла была небольшой, но мягкий, льющийся из-под зеленого шелкового абажура свет создавал впечатление простора. Окна были чересчур велики, и Йосл поспешил сообщить: "В моем распоряжении вся крыша. Вид здесь необыкновенный, чудесный!"

Он говорил много, как человек, чувствующий себя неуверенно. Гости молчали; Рутка сидела на диване, Вили — на сломанном низком арабском табурете. Йосл хлопотал у примуса — поставил маленький чайничек с водой, принесенной откуда-то с крыши. Во время его отсутствия Рутка и Вили обменялись взглядом, одновременно выражающим и безразличие, и критическое отношение к комнате с зеленоватым освещением и ко всей этой неприятной ситуации.

Йосл, вернувшись с водой и, по-видимому, поняв настроение гостей, опять попытался развлечь их беседой. Нарочито глумливо чернил он все стороны жизни — ругал искусство, все выставки, городскую жизнь; не обошел и проблемы воспитания, досталось и Вили.

— Я не пьян, так и знайте! Но я вам говорю, что самое главное в жизни — это свобода! Это — мой лозунг, и другого нет! Ничто меня не освободит — понимаете? Ха-ха-ха, я не хочу свободы... Даже такой очаровательный малыш, как Ури или такая жена, как Рутка — Йосл уже окончательно запутался в своем пьяном бреде. — Потому что... вот тебе: когда у тебя есть свобода... я хочу сказать, и свобода, и все это, жена и ребенок... и когда ты отказываешься ради них от свободы — ты теряешь сначала ее, а потом и их...

И, пытаясь пошутить, прибавил, — непонятно, с намерением оскорбить или по наивности: "Надеюсь, Вили, теперь ты понимаешь, в каком ты положении?"

Рутка возмутилась. Что он говорит, этот дурак? Это было страшно глупо — он говорил с Вили, как будто жалея его, более того, будто заранее обо всем договорился с Руткой, будто оба они — Йосл и Рутка были вместе против Вили, — осмеянного и обманутого. Йосл просто не представлял себе последствий подобного разговора, он не придавал особого значения словам, с легкостью вылетающим из его рта.

Вили был изумлен и вместо того, чтобы просто отмахнуться от этой болтовни, почувствовал, что ненависть закипела в нем еще сильнее. В ней было что-то горькое, очень ясное и определенное. Он наклонился вперед, уперся локтями в колени, шея его напряглась, было ясно, что сейчас он даст волю накопившейся в нем злости.

— И это ты называешь свободой? — он пренебрежительно обвел рукой убого обставленную комнату, — всю эту безвкусицу, которую ты малюешь для магазинов, чтобы потом сделать что-то "для себя" и, наконец, привлечь к себе внимание? Кого ты хочешь поразить? Людей со вкусом? Тех, кто поймет твое "свободное искусство" и получит удовольствие от него? Нет! Свиней, тех, у кого водятся денежки! Признайся, кто тебя интересуется, мой дорогой свободный художник? — культурный человек, получающий удовольствие от твоих картин или покупатель? Скажи! Но подожди, я хочу еще кое-что тебе сказать...

По-видимому, Вили уже не раз думал обо всем этом. И теперь, дав себе волю, он внезапно понял взаимодействие вещей — побег Йосла, его стремление к нечистому источнику, его и ему подобных всеохватывающее жалкое "я"...

— И вся эта свобода, свобода от всего — это ваша наука! А мы для вас — дикие люди! Разве мы заслуживаем того, чтобы на нас обращали внимание? Вам надоел киббуц, ведь настоящая культура только в городе! И вам кажется, что вы возвышаетесь душой... а ты, — знаешь ли ты, что это такое — душа? Она —

как искра, и если нет привязанности к чему-то, нет ни огня, ни пламени... Дураки! Понюхали тут и там, и ничего не узнали, везде остались чужими, а претензий — на весь мир! Теперь воротите нос от жизни и утверждаете: дайте нам человека, свободного человека!

Вили перевел дыхание. Йосл был поражен не только его словами, но и гневом, наполнявшим их. Он не хотел обидеть Вили. Боже упаси! Неужели непонятно, что это все не всерьез. И чего хочет от него этот человек? Йосл хотел было возмутиться. Но, между нами, что он знает, этот цыпленок Вили? Видел ли он то, через что прошел я? Бился ли в припадках малярии? И сколько лет этот "пионер" находится в Стране?

Вили продолжал кипятиться, Йосл все молчал. Ему было жаль себя, Рутку, тот красивый мир, который рушился на глазах, их прогулки по берегу моря. А что скажет его маленький любимец Ури? Видя, что все это причиняет Рутке боль, Йосл молчал. Он оставил кофе и наклонился к коленям, глядя на Вили с выражением человека, загнанного в угол. Тем временем Вили продолжал:

— Кричи себе "браво!", свободный художник! Я не говорю о любимой женщине, о моем единственном ребенке... можешь поздравить себя, ты украл у меня их сердца. У тебя есть жена, сын и свобода? А? А у меня ничего этого нет, но я не хочу, чтобы другие умирали вместо меня, понимаешь?

Он внезапно умолк, как будто сам услышал свои слова и испугался. Затем продолжал другим тоном, как бы желая смягчить сказанное: "Наверное, Йосл, я не должен был говорить так... мы у тебя в гостях. Правда мы переживаем трудное время, и ты старше меня. В конце концов, у тебя право старшего... и, может быть, ты просто устал... Но, уж если ты решил говорить на эту тему — а ты начал ее первый и сказал мне массу неприятных слов — так получай свое, а, Йосл?

Брумберг героически молчал. Может быть, он и мог бы резко возразить Вили и разговор принял бы

совсем другое направление. Но, скорее всего, он не прочь был выглядеть мучеником. Такова была его жизнь: разгул, затем — страдания, еще позже — полная мучений ночь, еще одна разбитая иллюзия, и снова — "посох бродяги в руке". Куда идти теперь? Может быть, открыть цирк в Яфо? Мысли его перепутались. Он был подавлен. Неподвижно сидя на полу, внимательно вслушивался в бичующие слова Вили и молчал. Взгляд его был темен и непроницаем, как город во время воздушного налета, который только время от времени освещается отблеском огня.

Рутка все это время думала о том, что пусть бы все провалилось в тартарары, лишь бы кончились эти мучения. Вили выглядел в ее глазах не менее глупо, чем Йосл. Она переводила взгляд с одного на другого, пытаясь решить, кто же прав. Вили что-то говорит, ошеломленный Йосл молчит, она словно парализована — и все вместе представляет собой идиотский, никому не нужный спектакль. Что вообще здесь происходит? Но в тот момент, когда ей показалось, что надо вступить в разговор, она неожиданно почувствовала непреодолимую апатию. Ей нужно одно — скорее уйти отсюда, чтобы скорее закончилась вся эта история. Она даже не попыталась задуматься над тем, как это лучше сделать. Не нужно никакого кофе... Йосл все равно не станет настоящим человеком... а что касается Вили, то он... просто скотина. Рутка встала. Без каких бы то ни было объяснений она взяла Вили за руку и попрощалась с Йослом. По-видимому, сцена эта была обречена кончиться еще глупее, чем началась. Йосл даже не поднялся, чтобы открыть им дверь, и только за спиной Рутки сказал: "Передай привет Вили... то есть... я хотел сказать, Ури".

Рутка и Вили, разогнав котов, спустились по железной лестнице. На улице было прохладно и светила такая луна, что казалось, будто они вышли в день. Рутка шла впереди, пока они не вышли на улицу

Алленби. Затем спустились вниз, прошли мимо железной дороги. Они проходили мимо темных витрин, и их шаги гулко раздавались в ночи.

— Знаешь, что, Вили, — начала Рутка, — между нами говоря...

Она замолчала, чтобы проверить, слушает ли он. Он не ответил, но обнял ее, показывая, что душой и телом внимает ей.

— Между нами говоря, весь вечер ты обращался ко мне. Я все поняла. Из-за Йосла ты бы так не нервничал. Мне кажется, он хотел тебе сказать это перед нашим уходом. Он просто пожалел нас обоих. Ведь все это ты говорил мне, правда? И почему ты столько времени молчал — все эти годы, Вили?

Вили обнял ее.

— Измена... — она продолжала говорить с болью, очищающей и освобождающей ее, — бегство от трудностей, голода, а в наши дни, быть может, и смерти. И спасение чего-то более дорогого. И то, что я сделала это не ради себя, — оправдывает меня и мою измену. Ты сказал ему — дезертир! И это тоже обо мне. Наконец-то прорвалось то, что ты столько времени душил в себе. Йосл только жертва, предлог, под руку попался... но я чувствую тягостный осадок от этих слов... я ведь чувствую слова на вкус. А ты, Вили? Вили, Вили, скажи, что ты все еще любишь меня!

Вили нежно поцеловал ее в висок. Этот единственный поцелуй поразил Рутку. Она внимательно прислушивалась к тому, что происходило в ней.

— Вили, — сказала она после недолгого молчания, — ты возвращаешься завтра?

— Это зависит от тебя, — сказал он неуверенно.

— Хорошо, значит завтра.

И после очень долгого молчания, на протяжении которого ею владел страх, что он ее неправильно понял, что нужно сказать более ясные слова, она прибавила: "Мы, конечно, поедем вместе, и Ури с нами".

Она вернулась в киббуц, а через несколько месяцев Вили стал казначеем. С тех пор он не знал покоя.

А для нее годы летели, как одна сплошная ошибка, как кошмарное недоразумение, которое невозможно исправить из-за отсутствия видимых причин.

И теперь, дорогие люди, вы должны меня понять — пролетевшие годы — только недоразумение, и, конечно, я должна получить их обратно. Но ведь это невозможно, они прошли. — Вы что, смеетесь надо мной?

И вот прошло четырнадцать лет и нужно было кому-то встряхнуть ее, чтобы она подняла глаза и приняла участие в разговоре? В просвете двери появились Ури и Мика. Ури попрощался с Микой, оставил ее на кухне, и — вежливый, замкнутый, — приблизился к беседующим, к столам, к ней.

— Здравствуй, мама, — тихо сказал он, — рисуешь для детей? А я и не знал, что ты у нас — художница.

Рутка обняла его за плечи и медленно произнесла:

— Как было?

— Чудесно! На сто процентов!

— Говори, как человек! Я не понимаю по-турецки.

— Было очень хорошо. Мы просто мертвы от усталости.

— Когда вернулись?

— Довольно давно. Уже успели принять душ и закусить.

Ведущий собрание бросал в их сторону недовольные взгляды и, наконец, решил: "Там, в углу, Рутка и Ури, перестаньте разговаривать!"

— Теперь мы как раз молчим, — весело ответила Рутка.

— Тише, товарищи! Так невозможно продолжать... — и он сделал знак оратору — продолжать.

На стене висели часы, но Рутка не интересовалась временем. Внезапно она почувствовала усталость и спокойствие — дети вернулись.

Странно — материнские чувства и ощущение семьи возвращаются к тебе именно тогда, когда твой сын начинает ухаживать за девушкой. Ты не восхищаешься ею, нет. Но придется приспособиться ко вкусу Ури. Я должна любить ее, другого выхода нет, и если он захо-

чет жениться на ней, ничего не поделаешь. Надо будет наладить отношения и, кто знает, вдруг она будет мне ближе, чем этот мужчина, мой сын?

Ури хотел было встать.

— Минутку, Ури, — задержала она его, — тут для тебя записка.

— От кого?

— Я не знаю. Такой рыжеватый, здоровенный. Говорит, твой друг.

— А, посмотрим.

Он отошел к другому столу, сел и начал читать коротенькое письмецо. Первые строчки он прочитал небрежно, усаживаясь поудобней и заглядывая в кухонную дверь, чтобы видеть Мику. Но потом углубился в чтение. Еще раз перечитал. Повернул голову, вдруг встал, снова сел. Рутка поняла, с ним что-то творится. Он не знает, что делать, кажется хотел подойти к ней, — и не решился. Бросив взгляд на кухню, увидел Мику, попросил прощения у соседей за столом, нагнувшись, направился к стене, а потом — по узкому проходу на кухню, уже не соблюдая никаких предосторожностей.

Была звездная ночь. Звезды сияли так, будто сознавали, что освещают необычную, избранную ночь, ночь, предвещающую перемены судеб. Темнота окутала деревья плотной массой и казалось, что ее можно лишь пронзить шпагой или нарушить взволнованным разговором. Лаяла собака, та вечная собака, которая никогда не умолкает. Ночной небосвод, казалось, поддерживало семейство могучих гигантов; и только двое, сидящие на скамье, не принадлежали к ним — ни по размерам, ни по возрасту. И все-таки эта пара жила в ночи, привыкла к ней, как сова к дереву. Широкие, плоские как тарелки листья фикуса спорили с ветром о его направлении, хлопая от удовольствия в ладоши и прислушивались к его ядовитым замечаниям. Очевидно, в эту прекрасную, волнующую

ночь бродили по свету шаловливые легкомысленные ветры.

В темноте, бесконечной и таинственной, хотелось вслушиваться в тишину, тянуло предаваться мыслям о чем-нибудь отвлеченном.

Вдруг на дереве что-то зашуршало и три долгих крика один за другим поднялись к звездному небу. По траве прокрался кот и бесшумно скрылся под скамейкой. Теперь стало доступно лишь биение рас-
троганного сердца. Чудеса...

Время течет неторопливо, сдержанно. Оно словно соткано из пауз.

— Мика, у меня плохая новость.

— Не дают комнату?

— Нет, кое-что похуже. Я получил извещение и должен уехать.

— В "Кадури"?

— Нет, с этим покончено. Я получил извещение и должен явиться послезавтра. Меня забирают.

Таинственные подробности ночи исчезли, и теперь только черная темнота заполняла окружающее их пространство.

— Я не понимаю, Ури. Пойди сюда! Куда берут, кто берет?

— Ты знаешь, Мика, что я командир взвода?

Я знаю только, что там ты кто-то...

— Я и сам не знал, что это "кто-то" так конкретно. Но если рыжий в седле, значит, — дело плохо. Организуется большая бригада, и я должен явиться.

— И явишься?

— Ведь это мобилизация! Внутренняя мобилизация.

Вместе с первыми лучами солнца в ночи рождались новые ароматы, которые, словно длинные и нежные пальцы, стремились прикоснуться к ветру.

— И я еще не знаю, надолго ли. И именно теперь, а, черт! Сколько я пробыл дома? Ты просто не понимаешь, что это значит. Как все это глупо!

— Что глупо?

— Что ты ушла из группы из-за меня... из-за нас. И

что я просил комнату. И вдруг — на тебе, надо ехать!

— Тебе обязательно нужно ехать?

— Что значит "обязательно"? Я вижу, ты не понимаешь, что меня забирают и все! И кто знает, насколько!

Ночь вдруг взбунтовалась. Сверчки пытались соперничать в шуме с лягушками. Их разноголосое кваканье безжалостно разрывало тишину. Внезапно взору открылись скалы и долина, склоненные тени... и катящиеся камни, дым арабских деревень, слышался невнятный шепот; отзвуки будущих, будоражащих кровь приключений.

— В чем дело, Ури?

— Как в чем? В том, что теперь нам ничто не поможет. Дело также и в том, что там теперь все мои друзья, и, наверное, настало мое время... На этот раз готовится что-то серьезное. Мобилизуют всю группу. Очевидно, настал час решительных действий. Я тебе уже сказал — раз рыжий в седле, значит дело серьезное.

— И это надолго?

— Откуда я знаю. Или меня берут только на один курс — инструктором по оружию, или, черт его знает..., то есть я у них в руках — если захотят, смогут взять меня на год, на годы...

— Год, годы? Ури, что все это значит? Ури!

Ночь пришла в движение. Засверкали сверчки, замолкли стрекотавшие оросители; замерли настойчиво звучавшие голоса, вместо них издали загоготали гуси. Метавшиеся деревья замерли и вместе со своими тенями погрузились в тайные думы, а кусты живой изгороди зашуршали, словно расступаясь перед ворами.

— И киббуц не может вмешаться в это? Я не понимаю, действительно не понимаю.. Слушай, Ури, а ты не шутишь?

— Мика, я говорю серьезно, ведь это просто несчастье, а ты никак не можешь понять. Это уже произошло, — меня призвали, и киббуцу не о чем рас-

суждать. Дело в том, что я уезжаю завтра-послезавтра. И мне ничто не поможет.

Его устраивало, что разговор происходил в темноте — Мика не сможет заметить никаких изменений в его лице. Ночь — твой поверенный, твой союзник. И если ты любишь ее, она становится твоим другом. Только не приходи к ней со светом, будь доволен тем, что она дарит тебе: темноту, скрытые признаки дружбы, стук подков — чтобы ты знал: Абу Джабар уже везет по дороге овощи, а далекое мычание указывает на то, что коров уже вывели на двор. Тихий шум мотора возвещает, что мельница Абу-Фука делает свое дело. Ночь дарит тебе и эту скамейку, над которой деревья уже покрылись росой, а это значит, что и волосы твоей девушки тоже в росе...

— Оставь меня в покое!

— Здравствуйте! Неужели сейчас — время для капризов?

— Не знаю. Меня все это бесит. Ты так ведешь себя со мной, будто все это меня не касается.

— Мика! Тебе что, нужно, чтобы я начал плакать у тебя на плече?

— Глупости! Но мне же интересно, что у тебя происходит, и где ты будешь завтра. Могу я это знать или нет?

— Конечно, но...

— Так оставь свои шутки и отвечай толком. Завтра, уже завтра, ты собираешь вещи, берешь зубную щетку, уезжаешь, и я тебя больше не увижу?

— Ну вот, теперь ты уже знаешь больше, чем я...

— Это значит, что завтра ты нас покидаешь. Меня и всех... Может быть, начнем прощаться?

— У меня ведь будут свободные дни. И вообще, что значит — прощаться?

— Ведь ты уезжаешь, оставляешь нас, тебя здесь не будет. Отвечай, неужели для тебя все так просто?

— Меня не спрашивают, просто для меня это или нет.

— Зато мне интересно это знать.

— Мика, меня забирают, не считаясь с тем, легко мне или нет, и я уезжаю не потому, что хочу этого.

— Все же ответь мне...

— Что тебе непонятно? Ведь мы не дети. Ясно, что лучше было бы сидеть дома. Я совсем не думал сейчас об этом, о мобилизации... и ты... и все это...

— Ури, я не хочу, чтобы ты уезжал, и прошу тебя остаться.

— Скажи об этом командованию.

— Нет, это ты заяви об этом на собрании киббуца. Киббуц должен утвердить твой отъезд.

— Когда я вернулся, я говорил об этом. Они знают, что меня связывают обязательства.

— Неужели ты никогда ничего не чувствуешь? Я не понимаю, трогает тебя это или нет. Все у тебя идет само по себе. Пусть это некоторое преувеличение. Но один раз ты можешь сказать мне, Ури, что ты чувствуешь?

— Что чувствую я? Мне бы хотелось знать, что ты чувствуешь! Неужели все эти годы ты не понимала, что здесь положение военное? Разве инструкторы не учили вас пользоваться оружием? Ну, ладно, все это не то. Во всяком случае, Мика, не думай, что мне все дается легко. Но есть вещи настолько ясные, что рассуждать не приходится.

— Оставь это, Ури. Скажи мне только, нас действительно что-то связывает или нет?

— Конечно, Мика, да, зачем ты спрашиваешь? Более чем "что-то".

— Так, и ты хочешь, чтобы все это кончилось?

— Ничего не кончится.

— Ури, я не хочу, чтобы ты уезжал. Люди идут купить на базар хлеб и не возвращаются... Я знаю, в армии все иначе, но все же я боюсь, и ты должен остаться. Если ты захочешь, можно как-то все уладить. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я не могу остаться одна, без тебя мне здесь делать нечего. Ури, скажи, что ты останешься...

— Хорошо, поговорим откровенно, раз ты этого

хочешь. Да, я действительно не обсуждаю этот приказ и мой отъезд, он не зависит от моего желания. В армию идут просто потому, что нужно идти. Все ребята из киббуцов, весь наш выпуск идет, идут со всех концов страны. Когда-то были льготы, записанные даже в Торе. Теперь все по-другому. Но даже если бы эти льготы все еще были бы, я бы никогда не воспользовался ими. Ведь это значило бы объявить себя трусливым человеком... Заявить, что я женюсь, или что-то другое в этом роде...

— Ури, ты издеваешься надо мной!

— Оставь, Мика, ты прекрасно знаешь, что я не хочу оставить тебя, Гат-Хаамаким и все это, но у меня нет другого выхода. Неужели ты не понимаешь? Получил приказ — надо идти без рассуждений. А мои личные дела касаются только меня...

На востоке появилось прозрачное сияние, которое постепенно разгоралось, — это заявила о своем приходе луна.

Светало, яснее обозначилась тропинка в столовую, на ней можно было уже различить бетонные квадраты истертых плит. Все, что так недавно было призрачно и туманно, обретало конкретность. Темные пятна превратились в деревья.

Ночь, ночь! — уходят мальчики. Бедные девушки, ожидающие их!

— А если ты скажешь, что твой отец в армии, тебя должны освободить.

— Мика, не притворяйся, будто ничего не понимаешь! Никто не уходит в армию с удовольствием. Все ребята мечтают о девчонках, о работе в нашем хозяйстве. И все знают, что... там иногда бывает... горячо. Но все-таки идут. Последний свободный вечер проводят с любимой девушкой, улаживают всякие свои дела и все время помнят, что дома лежит извещение и главное — то, что там написано, поэтому на следующий день каждый уходит выполнять свой долг, и, действительно, некоторые не возвращаются. А те, которые вернутся домой, к жене, к

детям, к повседневной жизни и работе... Все не то, — я хочу сказать тебе одну простую вещь: давай отнесемся к этому спокойно. Наши отношения останутся прежними. Будем переписываться. Я буду стараться чаще приезжать домой. И еще ничего не известно, может быть, я сумею вернуться через два-три месяца. В чем же, в конце концов, здесь несчастье?

— Ури, ты не понимаешь одного, что все это касается и меня. Я просто не в состоянии представить себе, какой смысл мне оставаться в Гат-Хаамаким, если здесь нет ни тебя, ни моей группы, а друзей ведь у меня нет, и Вили далеко. Что меня ждет? Сидеть по вечерам перед палаткой? Часами читать книги, как делают все несчастные одинокие женщины? Что со мной будет? Я люблю тебя и хочу, чтобы ты остался здесь, со мной. Я не хочу, пойми, не хочу каждый день бегать к почтовому ящику, и без меня хватает таких несчастных.

— Мика, к чему все эти разговоры? Рано еще грустить. Ты представляешь себе все в ужасно мрачном свете, но ведь неизвестно, так ли уж плохо будет тебе.

— Мика, я все прекрасно понимаю. Но ведь остаются и Рутка, и Песах; он такой чудесный человек, я уверен, что он поможет тебе... и ваша группа, она ведь пока еще тоже здесь. У тебя все прекрасно сложится и без меня, я уверен в этом. То есть, не совсем без меня, ведь я существую, благодаря мне твое положение в Гат-Хаамаким лучше, правда?

— Мне уже сейчас плохо. Чтобы ты ни сделал, Гат-Хаамаким останется твоим домом. Уезжаешь ли, останешься ли, — здесь твой родной дом. И ты не можешь понять, что я лишена этого. Я мечтала, что все изменится. Ведь ты знаешь мое положение в киббуце. Я хотела поменять работу, хотела поговорить с Песахом, чтобы меня перевели на работу с детьми. Я хотела учиться, чего-то достичь — так мне надо почувствовать себя в киббуце как дома! Но как это будет без тебя? Должен же кто-то мне помочь, связать меня с киббуцом? Должен или не должен?

— Нет, Ури, все это не так просто, и я попытаюсь объяснить тебе это, назвать вещи своими именами. Слушай, ты ведь знаешь, какого труда стоит мне чего-то достичь. Если бы я находилась в Тель-Авиве, возможно, там было бы все легче. Но я не могу принимать решения так, как ты — без раздумья делать то, что полагается. Наверное, ты счастливый человек. Может быть, так легче жить, когда нет выбора: уходишь, потому что это нужно, и все. Быть может, я тоже могла бы жить легко в Тель-Авиве — в городе, в другом окружении. Но здесь, в киббуце, вся моя жизнь полна сомнений. Здесь я ничего не могу добиться, не преодолев тысячи трудностей. Сколько я обо всем этом передумала! Как надеялась — хоть бы все... прояснилось, и я смогла бы сделать что-то полезное... Но были только трудности, преграды и вечный страх... Было время, когда я чувствовала себя безгранично свободной. Тогда, перед Тегераном, я успокаивала себя мыслью, что другого выхода нет, и теперь сама боюсь себе признаться в том, что это была я. Боюсь обнаружить в себе следы тех дней, мыслей, действий, мне страшно подумать, что все повторяется, что снова меня покидают, что я просто временная остановка — о, Боже, понимаешь ли ты меня? Осознать, что с тех дней ничто для меня не изменилось... и ты... и киббуц... что всему конец, и у меня уже нет надежды. И это все так, понимаешь ли ты меня? Я хочу стать человеком, с которым другим легко и приятно... но теперь я боюсь, что вернется все прежнее. Мне трудно сблизиться здесь с людьми, жить жизнью киббуца. Мне кажется, что многое я делаю не бескорыстно, веду себя неискренне, лживо, и в один прекрасный день люди почувствуют это. Слышишь, Ури?

— Мика, все это тяжело, но...

— Я хочу, я должна... ты сам говорил, что у меня непостоянный характер. То мне грустно, то сразу же — весело, ты сам замечал, сколько раз во время только одной прогулки у меня менялось настроение. Когда мы были на вершине горы — радость, а на остальном

пути до хана — уныние, тоска... Под вечер мне ужасно весело, и вдруг, сразу — ничего не хочется, ничего не надо — только спать. То так, то эдак. Меня утешает, что, быть может, сегодня у тебя появится правильное представление обо мне — я хочу, чтобы ты знал обо мне всю правду. Ведь мы так и решили, постепенно рассказать друг другу все о нашей прошлой жизни. Я предвижу страдания, а, может быть, — их не будет? Я чувствую неуверенность, и ты мне необходим. Я не хочу, чтобы ты уходил. Меня злит, что ты уходишь с такой легкостью... ну, хорошо, не с легкостью, но ведь уходишь? И пытаешься убедить меня в том, что это — твоя обязанность. И не хочешь ничего изменить, найти выход и остаться здесь. Разве я не права?

— Во-первых, Мика, даже если бы я считал, что с моим уходом наступит конец всему, что было между нами, я должен был бы уйти. Не могу же я согласиться с тем, чтобы кто-то другой защищал меня, отдавал за меня жизнь. С другой стороны, — ведь ты умеешь правильно думать. Теперь подумай сама — почему — уход, почему — расставание? Я буду приезжать каждую субботу, а скоро совсем вернусь. Так в чем же трагедия?

— Ури, ты смеешься надо мной или говоришь серьезно? Прошу тебя, не уходи. Ты должен понять, что я просто сойду с ума. Не знаю, что делать, чтобы ты понял: твой уход все разрушает. Смотри, Ури, я действительно боюсь, не смейся... Ты меня теперь не любишь, я знаю. Ну и жалкий же у меня, наверное, вид! Но, по крайней мере, я не лгу. Ури, я боюсь и хочу, чтобы ты остался!

Ночь медленно обнажала развешанные на ее груди драгоценности. Сторож и спит и не спит. Он видит все, что происходит в этот решающий час. Двое, объятые страстью, целуются под деревьями. В соседней деревне лает собака. Зеленые фикусы стоят рядами. Свет поднявшейся луны освещает их глянцевитые листья.

Под деревьями безветренно, и вся вселенная будто прислушивается к разговору двух. Но люди замолчали.

Только сердца их упрямо повторяют что-то свое, затаенное.

ОСЕННЕЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Прошло два месяца. Все изменилось. В винограднике съезжались и почернели несорванные ягоды. На широких шероховатых листьях лозы густым слоем лежала дорожная пыль, концы их высохли и рассыпались. В поле собирали кукурузу. Жаркие дни чередовались с холодными, влажными ночами. Приближалось время большой осенней пахоты, и трижды вспаханные широкие черные поля простирались под белым, пыльным и мертвым небом.

Яблоневый сад опустел. И лишь на некоторых деревьях, на самых верхушках то здесь, то там красовалось запоздалое яблочко. В жаркий полдень приезжали рабочие и безжалостно трясли деревья, чтобы сбросить этих малышей; их действия казались бессердечными...

На плантациях поспевали грейпфруты, лимоны и апельсины "Вашингтон". Там были тень и создаваемая обильным орошением прохлада. Заспанный человек с шапкой на голове, с мотыгой, опущенной на землю, испачканный по колена в грязи, стоял и поливал плантацию, мечтая о небе с золотыми звездами, сияющими сквозь темные листья.

Плантации слив теперь отливали медью, яблоневые сады словно сжались, стали меньше, в виноградниках начали опадать листья. Изгороди колючек по берегам оросительных каналов напоминали зыбь, желтую, как ненависть.

Все, что было с такой щедростью, расточительностью и страстью создано летом — виноградные лозы, ветви кипариса, молодые побеги, горы фруктов, огромные огороды, прилив сил в мускулах юноши, мягкая округлость тела девушки, дружба, любовь, пути, ведущие мужчину к женщине, — все это пред-

стало на проверку упрямой осени: чему жить, а чему — умереть, чему цвести и чему — погибнуть. Лето породило огромные богатства, с безудержной страстью создавая великолепие этого мира. Осень же методично, шаг за шагом, усмехаясь, убивала все, что истоптанным и сорванным лежало у ее ног.

Летом над Гат-Хаамаким свежим венком цвела и зеленела корона. Осень собрала в терновый венок горы сухих веток — заготовила кучи мусора, словно специально для первых старательных зимних ветров.

Лето наполняло фрукты соками и будило страсти, осень пестовала последние виноградины и смотрела усталыми глазами на грустных медлительных людей, просыпающихся после любовной ночи холодным, безликим утром.

Люди, с каждым из которых Бог был готов снова начать создание мира, были ошарашены солнцем, они устали от лета. Наступил час расплаты. Пришло время пересчитывать жертвы.

Все переменялось. Эта пыль — не пепел ли разожженного в летней ночи огня? Это грустное разочарование — не усталость ли измученного сердца?

Прошло два месяца.

ГАЗЕЛЬЯ ГОРА

Отвращение к мотыге было непреодолимо. Она находилась под левой ногой и покачивалась при каждом движении машины. Сдавленная со всех сторон людьми, ты вынуждена перенести вес тела на правую ногу. Около тебя — какой-то незнакомый парень, совсем чужой, и ты против своей воли вынуждена вдыхать помимо бензина запах его одежды; и вот рождается нелепая, полная отвращения мысль, что если придется взяться за округлую, противную, слишком гладкую и слишком толстую ручку мотыги — тебя просто-напросто вырвет. И, несмотря на это,

ты молчаливо стоишь, тесно прижавшись к другим, как будто в течение последнего часа твоим телом не овладел этот противный приступ тошноты, усталости, головной боли, головокружения и черт знает чего.

Мика не замечала происходящего вокруг; не знала, куда едет вместе с этой толпой народа, она вся сжалась, как посторонний, никому не знакомый человек, которым никто не интересуется. Здесь все решал кто-то другой, ее ни о чем не спрашивали.

Временами она смотрела наверх и видела неподвижные звезды осенней ночи. При каждом толчке сзади на нее падала масса людей и тогда она носом утыкалась в обугленную материю напротив, на мгновение теряла равновесие и вместе с предательской, толкающейся у левой ноги мотыгой, погружалась в сплошной мрак.

Наверное, она сделала глупость, когда в темноте, опаздывая и спеша, взобралась в машину с чужими людьми, — и все из-за проклятой привычки не задавать лишних вопросов, опасаться незнакомых и чувствовать себя виноватой из-за малейшего опоздания. Теперь, стиснутая со всех сторон, она не знала, кто они, из какого киббуца. Они плохо говорят на иврите, примешивают, кажется, болгарские слова, и нет среди них ни одного, кто бы обратил на нее внимание и спросил: "Что с тобой, Мика? Ты плохо себя чувствуешь?"

Всю дорогу в машине велись разговоры, но при этом кто-то с нудной бессмысленной настойчивостью твердил: "Вы что, не знаете, что в машине должно быть тихо? Что за шум? Просили соблюдать секретность, вы что, забыли?"

Мика не замечала, по какой дороге они едут и мимо чего уже проехали. Вокруг было темно. Временами, когда машина останавливалась, усиливался шум. Женщины смеялись, их смеху вторил спокойный глубокий бас. Куда их везли?

Никто из стоявших вокруг не знал, что Мика уже однажды была на Газельей горе, в заброшенном хане.

Никто не знал и того, что руководитель всего дела — Аврахам Горен, ее знакомый и друг Ури, член их киббуца. Имеют ли они понятие о том, что она из киббуца Гат-Хаамаким? Того самого киббуца?

Никто не думает о ней. Она для них — что катающаяся у нее под ногами мотыга. Наверное, в эти суматошные дни освоения новых земель совсем лишними были в машине и эта мотыга, и эта девушка, не открывающая рта и тогда, когда толчки машины швыряют ее к замасленной груди болгарского механика.

Неспокойное время — освоение Газельей горы.

Вот уже целую неделю нервный, взбудораженный Биберман как сумасшедший бегаёт по двору киббуца. Боже мой, ведь всем нужно жильё! Но в конечном итоге, никто даже не сомкнул глаз, хотя Биберману удалось приготовить несколько сот мест в сараях, классах, курятнике. Аврахам Горен, нарядный и стремительный, часто приезжал на своем зеленоватом форде. На детских площадках, на дороге, ведущей в лес, высились горы инструментов, строительных материалов, дерева, железа и жести. Мужчины были настолько заняты, что не придавали значения тому, кто сегодня работает на силосе, что подают на завтрак и стоит ли взять яйцо в поле, ели что попало, и никто не знал, где кто живет. Ури не было, он находился в лагере, далеко от дома. С тех пор, как он ушел, прошло два месяца. Рутка работала, как всегда. Было суматошно как в предпраздничные дни. Мике не с кем и некогда было поделиться мучившими ее сомнениями. Неужели она могла в этой суматохе все время думать об Ури? Во всяком случае, никто ей не сочувствовал, что он вот ушел и оставил ее одну. Уход Ури проглотили, не поговорив толком на эту тему, его восприняли как нечто само собой разумеющееся. В первые же дни Мика убедилась в том, чего так боялась: она осталась совсем одинокой. А Рутка регулярно получала письма от Вили, Мика дважды в неделю видела их в почтовом ящике.

Ей Вили не написал ни слова. Рутка пыталась быть

с ней приветливой, а Ури посылал коротенькие письма с внезапно появляющимися и так же внезапно исчезающими парнями.

Главным в эти дни была подготовка к заселению новых земель. В последнюю ночь перед переездом в киббуце никто не спал. Машины беспрерывно гудели. Казалось, что темнота рухнет от этого гула, и все ждали завтрашнего дня, как дождя в засуху.

Мика в это время лежала в пустой палатке, освещенной керосиновой лампой. Две кровати были пусты. Несколько дней назад группа молодежи ушла в Эмек-Хаярден. Там, говорят, невыносимая жара, и все-таки в час прощания все были очень веселы, очень добры друг к другу и подшучивали над оставляемой в Гат-Хаамаким бедняжкой: "Мика, — смеялись они, — опомнись, еще есть время". Она же думала о том, что только очень смелые не страшатся перемен. Было бы хоть какое-то другое место, Эмек-Хаярден, да еще летом!

И вот она лежит ночью одна в пустой палатке и решает не принимать участия во всей этой суматохе. Она думает о том, как спокойно будет после того, как все уедут. Тогда она снова ляжет в постель, опустит перед наступающим утром полог, будет спать или лежать, погрузившись в ожидание послеобеденной почты. И если завтра ее спросят: "Почему ты не поехала на Газелью гору?", она ответит, что плохо себя чувствует.

Однако, проснувшись далеко за полночь, она вышла во двор, чтобы посмотреть на отъезжающих. Люди метались, словно в их доме вспыхнул пожар. Наблюдая за их беготней, она получила удовольствие от своего спокойствия. В столовой только электрические лампы висели на своих местах. Рутка, возбужденная и растрепанная, паковала еду. Она обрадовалась Мике, позвала ее и попросила немного помочь. Как и всем другим, ей не приходило в голову, что Мика решила остаться, что у нее плохое настроение, и она вышла к людям лишь из праздного любопытства.

Мика беспрекословно повиновалась и стала неловко помогать Рутке, которая в этот момент была неспособна понять девушку и посочувствовать ей. Она была увлечена работой.

— Знаешь, как это нужно паковать, Мика? — в ее голосе звучала симпатия, она говорила доверчиво и ласково, — когда приедем, будь возле меня, ты мне поможешь. Будем работать вместе. Боюсь, что там будет страшный балаган!

Что Мике оставалось делать?.. Ведь она так нуждалась в доверии! Так и случилось, что Рутка согрела ее сердце, и в последнюю минуту она побежала в палатку, сменила шорты на длинные брюки, натянула блузку, легкий свитер, подпоясалась разукрашенным арабским поясом — подарком Ури, — и побежала к колонне трогающихся с места машин. Она не успела найти Рутку или кого-нибудь из знакомых, разволновалась, не знала, что делать и поэтому очутилась в совершенно незнакомой компании.

Потом, в пути, она почувствовала медленно поднимающуюся тошноту. Толпа притиснула ее к этому незнакомому механику, она стояла на одной ноге, другая упиралась в ручку от мотыги.

Ее единственным желанием теперь было протиснуться к краю и вдохнуть свежий ночной воздух, почувствовать запах мокрых камней по обочинам дороги. Но это было невозможно, и она подняла глаза к небу. Осенние звезды были накрепко прибиты к своим местам. Их стало меньше, или глаза ее плохо видят? В машине тесно, как ночью в курятнике. О сие никто не думал. Мимо чего они сейчас проезжают? Иногда звезды исчезали, а потом вновь прочерчивались зигзагом, значит, — кругом были горы. Время от времени над машиной проносились запахи мокрых деревьев, дыма; иногда слышался лай собак, но затем воцарялась тишина, и лишь редкие огоньки указывали на то, что они проезжают арабскую деревню. Ехали долго, и мотор вдруг заглох, будто они въехали в туннель.

Тошнота усилилась... До каких же пор будут нас везти?..

Машина ворчала, пыхла и шипела, как перед крутым поворотом или пропастью. Мика почувствовала, что движение стало медленнее; грузовик переваливался с одного бока на другой, и свет фар отражался на нависающих над дорогой скалах. Люди окончательно умолкли, будто они въехали не в долину, а погрузились в стоячую воду, полную опасности. Машина медленно съезжала на тормозах, потом взревела и с огромными усилиями начала взбираться в гору. Волна людей отхлынула назад, но чей-то голос приказал переместиться на переднюю часть кузова. Мика подалась вперед, ухватила за лестницу и почувствовала огромное облегчение: теперь она избавилась от соседства механика и оказалась наедине с прохладным, ночным воздухом. И в то же мгновение ветер заботливо приложил к ее лбу мокрый, холодный компресс.

Впереди машины поблескивали скалы, как бы указывая верный путь. На горе замелькали сигналы, но Мика видела перед собой лишь людей, которых бросало то взад, то вперед.

... Спустя некоторое время она обнаружила, что машина стоит. Некоторые уже соскочили на землю и прохаживались рядом с машиной, разминая ноги. Шофер возился с колесами. В Мике поднялось раздражение — почему никто не говорит, что собираются делать? Где все остальные машины?

А в машине разгорелся спор: выходить или не выходить? Унылый голос твердил, что надо бы спросить шофера, но тут же каждый постарался высказать свое мнение. Среди прочих выделялся голос, все повторявший слово "приказ". "Вы слышали приказ выходить? — Ждите приказа! Неужели вам самим непонятно, что надо ждать команды?" Мика узнала в нем того, кто по дороге говорил о секретности. Тоже мне деятель!.. Что же будет в конце-то концов, что будет? Понемногу все начали выходить, чтобы размять ноги. Потом спустили задний борт, и кузов

совсем опустел. Мика тоже сошла вниз. Кто-то сбросил на тропинку инструменты. Интересно, неужели среди них и проклятая мотыга? Со всех сторон были горы, и только прямо над ними проглядывало звездное небо. Мика двигалась взад и вперед по твердой, каменистой земле. Ей было тревожно. Она заметила, что кружится все время рядом с машиной, от носа к платформе и обратно. Не хотелось обходить ее и приближаться к откосу. Она словно боялась от нее оторваться. Где Ури? Ури!.. Ей вдруг показалось вполне возможным увидеть его сейчас, появившимся из темноты. Действительно, где он? Спит? Что они все делают в лагере, где он находится? Она опишет ему все просто: переезд на новое место был скучным, беспорядок — ужасный! Но ночь была довольно приятная, жаль только, что ехала я с чужими людьми. И еще жаль, что до сих пор не знаю, где ты находишься и потому не могу посылать тебе письма.

Откуда-то издали послышался смех. Непохоже, чтобы это смеялся кто-то из ее машины. Наверное, это — люди из другой группы, ехавшей впереди. Значит, ночь, наконец, расступилась перед караваном машин, в которых ехали друзья. Кто-то направлялся к ней. Она вздрогнула и отпрянула в сторону. Спустилась чуть ниже и ощутила под ногами высохшее речное дно. Машины уже не было видно, только ясно выделялись силуэты нескольких человек, стоящих выше. Мика углубилась в кусты и вдруг услышала шум воды. Свежий запах колючих кустов вернул ей хорошее настроение. Она нагнулась, подыскивая подходящее место, чтобы сесть. В воздухе тотчас распространился резкий запах: по-видимому, рядом было какое-то пахучее растение. Мика вздохнула, поднялась. Жизнь, оказывается, вовсе неплоха — вот эта летняя ночь очень приятна — тепло, она, Мика, одета легко — в одной только блузке, вещи ее не обременяют, а пояс Ури, наверное, украшает ее; тошнота прошла, и стало хорошо. Как славно, что ей снова весело. Пусть черт унесет дурное настроение! Ури — славный парень,

и даже хорошо, что сейчас его здесь нет, — она спокойно может предаваться своим мыслям и скрывать свое недомогание.

Увидев, что по тропинке движется целая колонна машин, она начала тихо напевать. Заметила, что небо посветлело. Стали вырисовываться контуры гор и колючих кустарников. Неужели занимается заря? Тонкий серп луны над вершиной горы лил свой скромный мирный свет на происходящее на земле. Мика думала сразу о многом. Например, о том, что гора, над которой светит луна, находится на востоке, что сейчас — конец месяца, и поэтому луна всходит так поздно и совершает круговорот с левой стороны. И что теперь будет светлее; не этого ли ждали машины, чтобы продолжить свой путь наверх?

Нужно спешить, чтобы найти друзей, где только они запропастились, неужто придется искать их целый день? Теперь в ее опасении и торопливости была радость. Ей так хотелось услышать: "Эй, Мика!" и чтобы кто-нибудь обязательно спросил: "Ты что, больна?"

Она пошла искать друзей и внезапно очутилась среди них — вернее, просто повисла на шее у Бибермана. Вот и Песах: "А, Песах, здравствуй! Где это вы пропадали всю ночь? Как дорога? И кто шофер — Илана? Вы, наверное, ехали лучше нас, мы сделали такой огромный круг! Я ехала вместе с болгарами. Илана, здравствуй! Когда же мы двинемся в путь? Все в порядке, да, да..."

Но когда в толпе женщин, меняющих юбки на длинные брюки для предстоящей долгой ходьбы, она заметила Рутку, сердце ее наполнилось таким теплом, что она, прильнув к Рутке, не могла вымолвить ни слова и залилась краской. И в это прекраснейшее мгновение она вдруг почувствовала, что и Рутка так же рада ей.

— Мика, — воскликнула она, — я уже беспокоилась, кто же будет вместе со мной заниматься провизией. Прощу тебя, не пропадай больше.

Да, теперь они будут вместе, чутко прислушиваясь

к каждому слову друг друга. И на этой поднимающейся в горы тропинке, восхищенные утренним светом, они проникнутся той близостью, к которой стремились все эти дни. Рутка заметит, как Мика влюблена, а Мика разрешит себе обожать ее, мать Ури. Ах, Рутка, Рутка, Вили...

Но пока что Мика стоит в группе женщин, и если раньше она была подавлена темнотой и одиночеством, то теперь упивается празднеством дружбы, совершенно забыв, где находится, и почему-то не ощущает напряженного ожидания, овладевшего окружающими ее людьми. Они чутко прислушиваются к ночи и стараются разглядеть что-то в темноте.

Ночь. Мика боится потерять Рутку. Она все время возле нее. Медленно передвигаются согнувшиеся под тяжестью груза мужчины, деля ношу, тихо поднимаются послушные руки — всеми словно овладевает страх нарушить тишину. Позвякивают металлические инструменты. Дует прохладный ветерок.

Перед Руткой поставили посуду, сковороды, большой примус и огромную кастрюлю. Рутка сложила все в кастрюлю и попробовала ее поднять. Очень тяжело. Она прошептала: "Мика, мы возьмем это вместе".

Снова вдоль реки прошли согнувшиеся под ношей мужчины. Они, почти не открывая рта, объясняли, как вести себя. Сейчас начинается подъем, и каждый должен помнить самое главное: для тебя не существует никого, кроме идущего впереди. Было ясно, что во главе цепочки пойдет тот, кто сумеет быть ведущим до конца дороги.

Раздался крик: — "Вперед!" Мика протянула руку и схватила ручку большой кастрюли. С другой стороны шла Рутка. Мика чувствовала себя героиней — она сошла с тропинки, чтобы Рутке было удобнее. При каждом шаге посуда, сложенная в кастрюлю, издавала тихий звон, а ее начищенные бока время от времени вспыхивали голубым пламенем, как будто кто-то со скалы бросал зажженные спички.

Они спускались вниз, углубляясь в долину высохшей реки. Мике было хорошо. Ей казалось, что как только она встретила Рутку, ночь раскололась на две части: первая, ужасная, уже миновала, и теперь наступила вторая, хорошая, победившая ту, плохую. Она поняла, что машины не могли въехать в такой узкий проход. Идти было удобно, путь не был тяжелым, и людской караван постепенно, без особых усилий, преодолевал подъемы и спуски.

Мика была довольна и тем, что двигались в полном молчании. Рядом с ней идет Рутка, и не нужно ничего спрашивать, объяснять, чтобы стараться сохранить близость. Все ясно и понятно без слов. Неужели я ей действительно нужна? Когда приказали молчать — знали, что делали. Молчание — повадка умных. Но кого же все-таки они боятся — арабов, англичан или полиции?

Мика вслушивалась в тишину. В долине раздавались только шаги медленно движущейся процессии. Вдали что-то блестело — это был лунный свет. Каждый раз, когда они спускались в ущелье, она оглядывалась назад и видела множество людей, растянувшихся огромной цепью. Вдруг движение прекратилось. Все положили ношу на землю, ставшую влажной за последний предутренний час. Она села на покрытый росой камень. В чем дело, что это за остановка? Пробежала группа людей с рюкзаками за спиной — камни шуршали под их ботинками. Кто-то искал Пинхаса из Гиватаима — не знаете случайно, где он?

— Нет, здесь люди из киббуца Гат-Хаамаким, — ответили впереди. Усталый человек протискивался вперед. Мика повторила:

— Здесь киббуц Гат-Хаамаким...

Она понимала, что сказала это для самой себя, поспешив с ответом еще до того, как ее об этом спросили. Ей просто доставляло огромное удовольствие быть незнакомкой из Гат-Хаамаким и как бы между прочим ответить: "Мы из Гат-Хаамаким", чтобы почувствовать себя еще более уверенно. А этот, с

рюкзаком за плечами, если его теперь спросят, не сможет ответить иначе, как: "Я спрашивал, но одна девушка, член киббуца Гат-Хаамаким, сказала мне..."

Колонна снова тронулась в путь. Люди шли вперед, минуя горы и преодолевая подъемы, и лишь упрямый шорох сотен тяжелых ног сопровождал их движение. Луна не была яркой и не давала достаточно света даже для того, чтобы возникли тени, связывающие идущих с землею; она лишь посылала какие-то знаки, смысл которых был понятен ей одной. У ночи не было страха перед людьми. Она была всеобъемлющей, тихой, и окутывала подвластные ей горы с прозрачной и спокойной легкостью.

Колонна карабкалась и спускалась по оврагам, проходила по дну высохшей речки, топтала кусты, старалась не поскользнуться и не оступиться на голых скалах, нащупывала дорогу палками, шурша галькой, и чуть слышно позвякивала фляжками с водой.

Скалы, камни, песок, густые кустарники и темное небо — лишь малая часть необъятной, немой, укрывшей мир ночи, ставшей союзницей идущих, сделавшей дорогу достоянием сотен ног, отрезком долгого, вошедшего в историю, пути — с преградами и преодолением их, с проклятиями из-за разбитого пальца и с маленькими радостями, когда дорога становилась приятной и легкой. Все незначительное отсеивалось, и главным спутником стала ночь, а ее тайны, сосредоточенные в тенях, шумах, лунном свете, словно раскрывались навстречу каждому шагу и сопровождали движение — трудностями или удобствами, благословением или проклятием, препятствием или тропинкой, подъемом или спуском.

Люди взбирались в гору, и вместе с ними на ее вершину поднималась жизнь во всем своем многообразии: с фотоаппаратами и ораторами, выступающими на праздниках, саженцами деревьев и забинтованными ногами, связками досок, гвоздями, палатками, кастрюлями, свистками и с желанием делать добро, с тридцатикилограммовыми мешками хлеба и с вос-

поминаниями, мулами, лошадьми, со знанием или незнанием дороги, мелодией веселой песенки и болью в спине от тяжелой ноши, с белыми рубашками и красивыми женщинами, с их телами и мыслями о том и о другом... с мыслями об Ури и о том, на чьей стороне сейчас больше тяжести — Руткиной или моей, вроде бы — на моей...

Во всяком случае, было ясно, что Мике трудно. Пологий спуск кончился. Теперь они уже взбирались вверх по откосу, по нескончаемой крутой тропинке, и ноша стала убийственно тяжела. Будь проклята эта кастрюля с грохочущей внутри нее посудой, которая к тому же время от времени скатывается в твою сторону!

Рутка молчала. Кругом было тихо. Все свои силы люди отдавали движению и тяжестим, которые они несли. На краю дороги сидели сгорбившиеся под тяжестью рюкзаков несколько человек — один, второй и третий. Они отдыхали. Оказывается, — мы не одни под покровом ночи, здесь разбросано много лагерей. Мика позавидовала отдохавшим, но, посмотрев, как упорно Рутка несет свою ношу, подбодрила себя: зато мы придем раньше их. Когда мы будем уже на месте, им, бедняжкам, еще придется прошагать тот же путь. Она с облегчением подумала: еще немного, кончатся мучения, и мы достигнем цели. Что сказал бы сейчас Ури? Здесь, по этой дороге, мы шли с ним вдвоем. Может быть, рассказать об этом Рутке — здесь мы пили воду из источника, из шапки Ури. Какая чудесная была вода!

— Не мешало бы напиться...

Не услышав ответа, она повторила: "... Боже, как ужасно мне хочется пить..."

Они снова остановились. Рутка наклонилась к ней:

— Как рука? Может быть, поменяемся местами?

Мика перешла на другую сторону и, обходя Рутку, улыбнулась ей, как бы прося прощения за свою слабость. Рутка сказала:

— Подожди, вот доберемся до места, все устроим.

Ведь там Аврахам Горен. Будешь пить, сколько влезет!

Мика внимательно прислушивалась к каждому слову Рутки. Ее спокойная речь приобщила Мику к будущим общим делам, она даже поделилась с ней мыслями об Аврахае Горене — все это обрадовало Мику до того, что она схватила кастрюлю, поторопив Рутку сделать то же самое с другой стороны, и так рванулась вперед, что, наверное, налетела бы на идущего впереди, если бы цепочка, поднимающаяся в гору, не растянулась.

Ну что же, пока все идет хорошо. На востоке стало светлее, и можно разглядеть впереди и позади цепочки людей. Более того — на вершине горы, на фоне неба уже видна другая колонна. С левой же стороны бегом спускалась в долину и затем поднималась по откосу третья группа, и гора, на которой находится цель их пути — хан, возвышается совсем близко, и со всех сторон к ней подтягиваются группы людей, которые раньше казались ей одной длинной цепочкой. Это означает, что все в порядке и даже хорошо, что Ури здесь нет; при нем она бы не смогла так сблизиться с Руткой. Если бы эти два месяца он был рядом с ней, он, наверное, взял бы на себя все ее страхи. Будь он рядом и услышав, что она себя плохо чувствует, он не позволил бы ей идти со всеми, а оставил бы внизу на дороге, около машины. И не наладилась бы тогда так хорошо, как сейчас, ее связь с людьми, с жизнью. Да, хорошо, что нет Ури... Конечно, с каждым днем он тебе все нужнее, но зато, Мика, ты становишься нужной людям, ты — участница марша на Газелью гору, человек, к мнению которого стоит прислушаться, ты разделила со всеми трудности этой ночи, ты не хуже других, ты такая же, как все.

Свет становился ярче. Жара сгущалась. Земля больше не источала утреннюю прохладу. По сиянию небосвода на востоке чувствовалось, что солнце прорывается сквозь легкие облака, сквозь пылевую завесу и легкую дымку.

Со всех сторон группы людей взбирались вверх. Пока идущих объединяло ночное настроение. Шагающие в долине находились во власти недавнего прошлого, но как только они поднимались на вершину, все менялось, становилось более конкретным и ясным — дневным.

Светало. Шли уже по вершине горы.

Вдруг внизу показалось четырехугольное строение — хан! Вокруг него копошились люди, топтался скот, стояли палатки. Кто-то сказал: "Будет хамсин".

Внезапно наступило утро. Начинался жаркий день.

С рождением дня вновь нахлынуло незаметно подкравшееся и медленно распространяющееся по всему телу недомогание. Мика была вместе с Руткой в одной из ниш хана и занималась тем, что ей поручили — переносила с места на место разные вещи. Женщины готовили обед. Над примусами гудело пламя, разогревались кастрюли, стояла невыносимая духота. Мика вспотела, ей казалось, что все ее тело облитое густым липким керосином, проникающим в кровь. Она с отвращением ощущала запах своего грязного тела и начинала ненавидеть все: себя, каждое свое движение, слова обращающейся к ней Рутки, и все вещи, к которым ей приходилось притрагиваться.

Полная женщина помещивала палкой суп в кастрюле. Мика встрепенулась. Палка была немного тоньше ручки мотыги — той мотыги! Эта мысль вызвала у нее приступ тошноты. Захотелось пить.

Рутка не обращала на нее никакого внимания, только давала короткие, сухие указания. Неужели она не замечает страданий Мики? Неужели люди видят только ее недостатки, а до ее страданий никому нет дела!

Счастливые часы ушли безвозвратно. Она старалась, но не могла заставить себя либо совсем не думать, либо вернуться к приятным воспоминаниям; под ее страдающим от тупой, тяжелой боли лбом кипели лишь обрывки мучительных мыслей, взгляд потух.

Два месяца — проносилось в ее голове — два месяца.

Два месяца без Ури. Да, прошли хорошие времена. Вдруг ей безумно захотелось пить. "Рутка, — сказала она, — я хочу пить, выйду на минутку. Может быть, привезли свежую воду? Я просто умираю от жажды".

Рутка готовила салат. Она пригоршнями сыпала в него соль и перец. Ее ладони были красными и блестящими, будто с них содрали кожу.

— Хорошо, — улыбнулась она Мике, — ну и неженка ты, вот я расскажу Ури, какая ты героиня... а, может быть, ты хочешь отдохнуть?

Снова Ури! Два месяца! Рассказать Ури... А что можно ему рассказать, и нужно ли это? Я знаю, что ему рассказать, я, а не Рутка, повелительница мисок! Она-то ведь думает лишь о том, как угодить Аврахаму Горену. Ее божество, собственной персоной! Мика вышла во двор хана. Как можно себя хорошо чувствовать в такой жуткий день? Солнце на низком, сплошь покрытом тучами небосводе казалось ей похожим на гноившуюся язву. Желтая пыль горела под ботинками, словно раскаленная скала. Был конец проклятого лета, была страшная головная боль, грудь была сжата, как тисками, а глаза так жгло, что их пришлось прикрыть веками.

А вокруг, во дворе хана, кипела работа. Выстроили бараки, даже доски раскалились на солнце. Приложишь к ним руку, и покажется, что ощущаешь какую-то внутреннюю дрожь. Мужчины в шортах и серых майках точными ударами вгоняли в дерево гвозди. Стоял разноголосый шум, как будто жара управляла им и подогревала его. Весь двор был залит солнцем. Только под дубом было что-то вроде навеса, и молодежь там распевала песни.

Может быть, что-то произошло? Ясно, что-то должно было произойти, иначе почему бы тебе так ненавидеть себя? Может быть... Но она не разрешила себе об этом думать. Лучше уж позволить одурманивающей жаре окончательно погасить последние проблески сознания.

Не смеются ли над ней за ее спиной? Она оглянулась и вышла наружу, на откос, покрытый глиняными

черепками и землей, тянувшейся до места, где воздвигали ограду. Раскручивали проволоку, вбивали в землю железные сваи. Голые, загорелые спины блестели от пота, ржавчина вбирала солнечный свет. За проволокой простирались бесконечные поля, откосы. Всюду виднелись группы людей. Они пригибались к земле — было видно, что они заняты изнурительным трудом; за ними высились горы камней. Внутри ограды поставили палатки и жестяные бараки. На земле валялись большие столбы, и теперь поднимали один из них. Он был настолько велик, что его невозможно было обхватить. Мотыга, палка, столб! Противно, ой, как противно! Если бы она дотронулась до его шершавой поверхности, ее вывернуло бы наизнанку.

На откосе, возвращая воздуху сияние солнца, блестели глиняные черепки и стеклянные осколки. Ставившие ограду воздвигли и ворота. Пробежал человек с вывеской в руках. Мика увидела перевернутые черные буквы, складывающиеся в приветствие новоприбывшим.

Она стояла возле только что посаженных ростков, окруженных еще влажными лунками; некоторые из этих растений, кажется, еще не были политы. Она поосторожнилась, чтобы случайно не задеть их, и все же споткнулась о маленький кипарис. Отошла в сторону, ускорила шаги, побежала. Как видно, уже сделаны и отпразднованы первые посадки — но все же какой трудный и длинный день впереди! Страшно тяжелый день!

В ворота въехала пара лошадей с опущенными головами, над бочками возвышался возчик. Прежде, чем она поняла, что это вода, она увидела, как со всех сторон сбегаются люди. Кто-то закричал, все побросали инструменты и устремились к воде. В другом месте было видно, как кто-то пытается задержать остальных. Лошади направлялись к Мике, к засаженному участку, и пока они взбирались в гору, со всех сторон их облепили группы жаждущих. Люди стучали по бочкам, проверяя, насколько те полны и сбросили

в порыве возбуждения покрывавшие их мокрые мешки.

Возчик подстегнул лошадей. Мика ждала его приближения. Ах, Боже мой, если бы можно было окунуть голову в бочку с прохладной темной водой! Она боялась лошадей, поэтому осторожно приблизилась к телеге. Ее немедленно со всех сторон окружили, возбуждение росло, у возчика вырвали вожжи, сказали: хватит, теперь мы будем пить. Он безразлично улыбнулся и не мешал людям делать то, что им хотелось.

Мике стало обидно, что ее опередили другие. Наконец и она поймала кружку и погрузила ее в воду. Она почувствовала растущее вокруг нее волнение. Вдруг, как из-под земли, появился Аврахам Горен. Расчищая себе путь, он вскочил на телегу и закричал:

— Откуда вы? Кто здесь за главного? Вода эта — для саженцев. Эй ты, что ты молчишь, как идиот? Поезжай, я тебе говорю! Всем немедленно отойти от телеги!

Мика быстро соскочила с опустевшей телеги. Она оставила кружку в бочке, и теперь та, по-видимому, погрузилась на дно. В рот не попало ни капли воды, а боль была настолько нестерпимой, что она не могла даже осознать ее. Аврахам разгонял людей, окруживших телегу, ругал возчика — тот со страху так стегнул лошадей, что они рванулись. Аврахам продолжал орать. Он был в одежде для верховой езды, в сапогах, с биноклем и свистком на груди. На поясе болтался пистолет, за спиной — рюкзак. В его внешности было что-то нарочитое, но вместе с тем внушающее почтение. Мику он или не заметил, или не узнал. Он видел не людей, а лишь вышедшую из повиновения толпу:

— Питьевая вода скоро будет, а это — вода для саженцев. Всем по местам. Что вы здесь делаете? Может быть, у вас нет работы?!

Толпа молча отпрянула, нашелся лишь один — высокий парень с пронзительными глазами, вперивший в него полный ненависти взгляд: "Саженцы — дело серьезное, но все-таки можно было бы позаботиться и о людях. И не кричать!"

Теперь Аврахам стоял один, высокий, покрытый пылью, он услышал сказанное, но не обратил на это внимания. Хозяин... Мика до глубины души обиделась. Она попыталась сделать вид, будто ушла сама, будто ее не прогнали. Она спустилась вниз, медленно дошла до ограды — шум растаял, она снова осталась наедине со жгучей жаждой в груди, в горле, с отвратительным ощущением тошноты. Обида растекалась по всему телу и мешала ей прислушаться к боли.

Вот тебе, пожалуйста, ваш Аврахам Горен, даже не узнал тебя, даже не посмотрел в твою сторону. Ты соскочила с телеги, как воровка, и убежала. Снова, как в те дни, несчастная среди несчастных, убиваешься из-за капли воды, и тебя прогоняют, как бездомную собаку.

Прошло два месяца, а Ури ни разу так и не приехал, не спросил, заглянув в глаза: "Как поживаешь, Мика, не случилось ли чего?".

Целых два месяца...

Видно, обманули тебя, Мика. Все, в том числе и Вили. Она ведь осталась в киббуце — в его киббуце. Конечно, народ здесь крепкий, люди, которым хорошо вместе. Но ты-то что среди них делаешь? Они знают, где находится Ури, они привыкли к его отъездам, к его отсутствию. Они сами побывали в тех местах, где он теперь слоняется, и отлично знают, что это просто отдаленные места с такими же людьми, занятыми работой, и такой же землей, которую надо обрабатывать, а не какие-то непостижимые уму просторы, как представляется тебе из-за твоих постоянных страхов и мнительности. Где он, Ури? И... зачем он тебе?

Может быть, ты заботаешься о нем, тогда как другим до него нет дела? Только почему же за эти два месяца он ни разу не появился чтобы спросить: Мика, ничего не случилось?

Ведь на самом-то деле что-то произошло. Теперь уже ничто не могло ее избавить от тревоги. Она без

конца возвращалась к ней, сомневаться не приходится — это единственная правда, она знала это с первого месяца, но боялась себе признаться. Ах, Боже мой, неужели ничего нельзя сделать, чтобы все осталось по-старому!

Ее обманули, и Ури — больше, чем другие. Он не любил ее, никогда, ни минуты не любил! Он был не лучше других, не был новым миром, как и она не стала другой. Она снова до умопомрачения ненавидела себя. Да, она тоже не изменилась — то же тело, те же вожделения, и вот, на тебе! Правда, глубоко запрятанный внутренний голос с нелепым упорством нашептывал ей, что все будет хорошо. Но она не верила этому голосу: ведь ее обманули, она не должна была отпускать Ури — как только ушел, сразу же забыл ее. Дома он, возможно, постеснялся бы Рутки, да и того, что скажут люди — ведь все знали, что если бы он не уехал, они бы жили вместе.

Его не было. Она получала лишь ничего не значащие, коротенькие записки, которые были для нее хуже молчания, хуже ярко выраженной ненависти — от них веяло скукой и удовлетворенностью жизнью, там он что-то любил, а, быть может, и кого-то, ему там хорошо, и он будет время от времени, в виде одолжения, посылать из своего рая, из которого уже не вернется, коротенькие записочки своей несчастной, раздавленной горем жене.

Ни одной ночи они не провели в палатке. Не было у них и недели тихих, счастливых ночей, которые бы спокойно шли одна за другой. Сколько раз они приходили друг к другу? В роще, в яблоневом саду, на прогулке. И ни разу не было по-настоящему хорошо. Они не poznали полного счастья. Он — быть может, хотя и он, наверное, нет, а обманутая Мика — никогда. Тем более обидно, что все же что-то произошло, то самое, чем люди расплачиваются за счастье или за проблеск его.

И он должен знать это, должен думать о нас, обо мне. Если бы он знал, если бы я обо всем рассказала

ему, он снова стал бы таким, как всегда — нежным, мягким, открытым в выражении чувств и щедрым. Вспомни, что было между вами. Обычные будни не успели еще начаться, — ты видела лишь полное подчинение своей воле, послушание, нежность и желание приспособиться к тебе... он ни к чему тебя не принуждал и ничего не требовал взамен. Пусть бы лучше требовал! Он позволил тебе отдаваться своим желаниям. И что же получилось? Ты растеряна, страдаешь и невольно вспоминаешь свое грустное, трагическое прошлое. Твои слова, поступки, решения определяются этими воспоминаниями, а он считает тебя капризной, своевольной и тем самым освобождает себя от каких бы то ни было обязательств. Да, именно обязательств. Сейчас его место здесь, с тобой, даже если там переворачивают горы и спасают всю несчастную страну, и он руководит молодежью Верхней Галилеи. Он должен прийти, где же он, Ури?!

Мика укрылась от палящего зноя в каменной нише — кухне. Тут ничего не изменилось. Только теперь на широких деревянных досках, заменяющих столы, женщины резали большие помятые буханки и складывали ломти хлеба в плетеные корзины.

Рутка подняла глаза и внимательно посмотрела на Мику.

— Ты что-то плохо выглядишь, Мика, ты пила? Мика кивнула головой.

— Тогда помоги нарезать хлеб.

Мика склонилась над деревянной доской. Буханки были черствые, покрытые яичной скорлупой, влажные от томатного сока, пропитанные запахом сардин, постелей и усталости. Мика была не в силах превозмочь себя, она была полностью во власти усталости и слабости. Болели утомленные от солнца глаза.

Вокруг суетились люди, полные радости. Большие кастрюли покрывались сажей, и наконец-то над ними поднялся пар.

Неожиданно появился какой-то человек. Это был Аврахам Горен. Он вошел так тихо, что вначале никто

его не заметил — ни Рутка, ни женщины, занятые работой. Ни одна не поспешила ему навстречу, хотя все знали его. Видно было, что он ищет Рутку. Мика хотела обратить на него внимание Рутки, но сразу же раздумала и продолжала резать хлеб, а широкая доска поскрипывала под тяжестью ее тела.

Прежде, чем взглянуть на него еще раз, она услышала его умиротворенный мелодичный голос. Мика оставила работу и стала наблюдать. Пистолет и свисток были при нем, бинокля теперь не было, а шапка была сдвинута на затылок. В этой полутьме он казался красивым и недоступным. Он держал в руках полный алюминиевый чайник и блестящую от влаги кружку. Наполнив кружку, он сказал:

— Лимонный напиток, отличный напиток для наших поварих. С водой, к сожалению, опоздали. Что там творилось! А как с обедом? Люди умирают с голоду.

Он поднес Рутке кружку — наверное, они уже поздоровались раньше, — она спокойно ответила на вопрос, неторопливыми глотками выпила воду и удовлетворенно вздохнула. Аврахам тут же наполнил кружку и передал стоящим рядом. Почему Рутка забыла о Мике? Потому что Мика сказала, что уже пила? Или просто потому, что в присутствии своего великолепного возлюбленного попросту забыла о ней? Аврахам был весел. Все было хорошо, все. Даже работающие в поле успели освободить от камней несколько дунамов, ворота были почти готовы, к вечеру должны достроить бараки, и скоро будет обед. Ну, как ты поживаешь, Рутка? Что пишет Вили, как Ури, как все вы добирались до нас? Рутка вдруг почувствовала на себе взгляд Мики:

— Мика, ты хочешь пить?

Мика повернулась на голос. Аврахам внимательно посмотрел на нее:

— Здравствуй, Мика, — сказал он, — что ты здесь делаешь?

— Не задавай глупых вопросов, — отрезала Рутка, — лучше дал бы напиться.

Мика отодвинула предложенный напиток, который нацедили с самого дна чайника — потому что ведь она уже пила, так ведь? Разве она не говорила об этом Рутке?

— Не страшно, — сказала Рутка, — ведь она уже пила.

Мика отвернулась и продолжала резать хлеб. Конечно, она уже пила. Аврахам и Рутка смеялись; она вытерла руки, слушала, отвечала. Ей было приятно, чувствовалось, что ей было приятно.

Мика нагнулась за хлебом. Голова была тяжелой. Вонь тухлых яиц, запах немытого тела, что-то отвратительное ударило ей в нос. Она смертельно ненавидела себя, и ей казалось, что все ее ненавидели, презирали, жалели или, в лучшем случае, были к ней безразличны. Боже мой! Вдруг в глазах потемнело, она упала головой на доски, что-то душило ее — сдавило горло, нос и где-то глубоко, глубоко — голову.

На кухне начался переполох. Всех взволновал обморок Мики. Но находчивая Рутка тут же вывела пришедшую в себя Мику во двор, чтобы страсти понемногу утихли.

Во дворе, рядом с палатками, уже была тень, и Рутка, находившаяся все время в темной нише, удивилась открывшемуся им виду. Смотри-ка, уже построили дом, поставили ограду, обозначив границы нового поселка, — все на своих местах!

Мир все еще был полон зноя и тяжело дышал, но жара начала спадать. Человек победил ее водой, посаженными им растениями, трудом умелых рук, мощным натиском многих людей.

Солнце удалялось с белесого, затуманенного неба, оно стремилось преодолеть положенное ему расстояние, и, будьте уверены, сумеет пройти его до наступления ночи.

Он сошел с тропинки, зашагал между камнями. Он был быстрый и ловкий. Так он укорачивал путь — сначала пересек отрог горы, взбираясь сильными рывками

вверх и затем быстро спускаясь вниз, потом снова вернулся на тропинку, неторопливо бегущую вдоль линии вершины, как будто заботящуюся о ритмичном марше поколений, а не только о передвижении одного путника.

Он опустился к руслу высохшей реки, долго плутал там среди кустов, цепляясь за колючки. Затем взобрался по крутому откосу, время от времени ловко помогая себе руками. Пожелтевшие, высохшие за лето колючки уже не препятствовали его шагам и, склоняясь, уступали путь. Выступы скалы предоставляли ему удобные точки опоры. При этом он не обращал никакого внимания на свои ноги. Можете быть уверены в том, что Ури не станет страховать взглядом каждый свой шаг! На головокружительной высоте было приятно смотреть по сторонам, ощущать все запахи и чутко вслушиваться во все, что происходит вокруг.

День был довольно жаркий, а точнее — ужасно жаркий. И тем не менее, Ури не шел, а словно летел на крыльях. Разве не ему обещали вскоре повышение? За два месяца он сумел стать командиром отделения. Такому оленю ничто не может помешать стать самым быстрым в округе.

И, как всегда, Ури видел то, чего другие не замечали. Ясно было, что другие этого не увидели. Он улыбнулся, представив себе удивление и полные восторга физиономии тех, кому он коротко объявит такую приятную новость: перед нами, на расстоянии трех километров, на горной цепи справа, три пальца — три первых перелеска Гат-Хаамаким.

Не следует удивляться тому, что Ури идет не один, — хотя описание его ловкого и свободного движения могло создать такое впечатление, — а ведет целую группу в тридцать человек — отделение, куда входят и рядовые солдаты, и командиры подразделений. Он ведет их так, будто их и не существует, потому что уверен, что они подстроятся под его темп. Не меньше шести из них завтра явятся на зарядку с натертыми

ногами, мозолями, жалобами. И все-таки он уверен, что они будут ему благодарны за такой — пусть тяжелый, но короткий путь.

Он не оглядывается назад и не задерживается из-за отстающих. Достаточно того, что Габи идет последним, он позаботится о самых слабых. А он, Ури, должен быть примером. Возможно, он моложе половины тех, кто ему сейчас подчиняется, а с половиной — одного возраста, но все они должны быть довольны тем, что ведет их он, а не Рыжий.

Поэтому, ведя отделение вперед, Ури шагает так, будто он один. Чем выше его положение в армии, тем эгоистичнее он ведет себя. Простосердечно и наивно определял он свое место среди окружающих — он главный, он — в центре всего происходящего! Эта роль его вполне устраивала, и именно поэтому он с упоением скакал по скалам. Его рюкзак был старательно упакован и тщательно прикреплен за спиной. Он вел за собой бойцов, а душа его, занятая только собой, была в это время полна самодовольства и ликования: вот, мол, какой я, Ури, — собственной персоной! Сначала они двигались по линии, казавшейся его солдатам случайной, но затем превратившейся в тропинку. Он был проводником, он своим телом прокладывал путь в зарослях кустарника и сбивал сухие листья; когда во время отпуска солдаты в присутствии своих жен вспоминали о нем, он становился для них частью того, что называется независимыми от нас, внешними обстоятельствами жизни — олицетворением преград, трудностей дороги, лишений, дождливых дней... Вот до чего возвысился Ури!

Он был пареньком, которого можно было воспитать гораздо лучше, но, в сущности, он стоял ста ребят.

Он был сборщиком винограда, и если еще вернется к этому занятию, то будет лелеять каждую кисть. Он умел заставить упрямые винты занять место в моторе трактора, оставляя при этом на земле отпечаток своего тела. В разведке и в военных маневрах он был необык-

новенно талантлив. Он был из тех славных парней, уроженцев киббуцов, на которых стоило обратить внимание во время ночных заседаний штаба полка. На дороге Мадждал-Крум для проезжающей мимо него машины британской полиции он был просто молодым смуглым евреем; для арабов, развозящих керосин, он был озорником, проникшим в несколько дворов в деревне Баниас; они помнили, что он отпустил с привязи ослов, а потом разбросал по всей дороге по направлению к Мансуре выщипанный из кур пух. В безмолвные темные ночи, когда его солдаты лежали с ружьями в ожидании сигнала, в его руках загорался фонарик. Он был членом киббуца, хотя, вероятно, на него не распространялось то, что обычно это влечет за собой — определенные моральные устои или соблюдение определенного стиля поведения. Ури не был энтузиастом, его нельзя было считать одним из тех, кто первыми прокладывал пути к будущему.

Его хорошо знала Диночка из кухни и накладывала ему полные тарелки, а прожившие здесь, в Палестине, всю жизнь женщины расспрашивали о нем, — кто этот парнишка? В "Кадури" он был посредственным учеником — в меру способным, достаточно крепким физически, в меру грубоватым. По призванию он был земледельцем. Из-за него мучили угрызения совести его мать, убежавшую с ним, трехлетним, от смерти и не осознавшей тогда, что убегает от жизни.

Он был солдатом, молодым способным командиром, его палец при необходимости решительно нажмет на гашетку пулемета "Брена", посылающего частые короткие очереди. Эхо этих очередей возвращается от горы Гильбоа. В часы ночного отдыха он давал команду неожиданного подъема для выполнения срочного задания; он не интересовался переводами иностранной литературы и любил американские кинобоевики. Он был парнем самовлюбленным, но все же это никогда не доводило его до дурных поступков. В нем уже проснулось желание, и, неудовлетворенное, оно превратилось в голод. Все это касалось девчонки, ко-

торая карабкалась в этот день по склону Газельей горы, девчонки, чей сегодняшний день испорчен им. Иногда его поступки были недостойными, и порой это доставляло ему удовольствие. Некоторые ненавидели его, но это не мешало ему чувствовать себя важной персоной.

Он был командиром отряда, приближающегося к цели и преодолевающего трудности тренировочного похода в месте, — которое нам, к сожалению, запрещено назвать, — где-то рядом с морем — если не Мертвым, то, наверное, Средиземным. Отряд с трудом продвигался вслед за Ури, и большинство ребят обрушивалось с проклятиями на этого с легкостью скачущего впереди козла. Несомненно — среди них были любители побродить, и они догадывались, что вскоре придут в лес Гат-Хаамаким. Но во всей группе лишь у одного, мчащегося впереди, этот лес будоражил воспоминания, вызывал сомнения и даже угрызения совести. ...Что, захотелось повидать Мику? А, козлик?

Теперь они взбирались по склону горы, сгибаясь под ношей и тяжело дыша. Ури веселила мысль, что, преодолев эту гору, они увидят еще более высокую. Он не устал, и ему хотелось позлить ребят и вывести их из терпения. Возможно, он несколько оттягивал встречу с Гат-Хаамаким и лесом из-за раздражающего душу сомнения — зайти домой или нет?

Рыжий бы сказал сейчас: "Слушай-ка, братишка, в конце концов Диночке надоест ждать. Только не говори мне, что у тебя дома есть другая. Уж я-то знаю, что ты, как сумасшедший, хочешь возвратиться в часть".

Диночка была гордостью отряда. А почему? Потому что у нее были изумительные голубые глаза и потрясающее, гипнотизирующее, сводящее с ума тело, обтянутое сверху трикотажной кофточкой.

Рыжий продвигал Ури по службе. Он сделал его "специалистом", а это означало, что теперь Ури не скоро вернется домой. Но Рыжий устремил на него

свои затуманенные, лишенные ресниц глазища, и сказал:

— Послушай, братишка, лучшего места, чем у нас, нет. И это еще не все. У нас еще много дел впереди. Только не говори мне, что ты скучаешь по маме. Ты парень способный, и благодари Бога, что я вовремя обратил на тебя внимание, пока тебя не успели засушить для семейной жизни.

Тогда они подолгу сидели перед дымящимися чайниками с кофе, и парни вели бесконечные разговоры, а девушки из киббуца молча лежали на кроватях, накрытых шерстяными одеялами.

Диночка — пылкая девчонка, и какая охватывает радость, когда ты спешишь — сначала к ее палатке, потом в кипарисовую аллею на плантации — и, наконец, вы одни! И в твоём сердце возникает радость человека, которому завтра не нужно рано вставать; мы, — то есть "начальство" — после наших тяжелых поездок спим столько, сколько позволяет жара, а ребята работают... в этом было что-то новое и привлекательное. Дни в полевой школе казались далеким детством, — что-то вроде тех решающих минут, когда цыпленок покидает скорлупу и выскакивает наружу. О тех днях было приятно вспоминать, как об источнике силы и свободы. А теперь — дисциплина, работа, штабная палатка, Рыжий и — свои деньги, и прогулки с папироской в зубах! Папиросы? А почему не трубка? И только трубка? Может, стоит зайти в бар? И не только в бар...

...Как раз в эту минуту Ури достиг вершины и, прежде чем успел осмотреть окрестности, солдаты закричали:

— Лес, Ури, лес!

— Наконец-то!

— Какой это киббуц?

— Ты что, не знаешь?

Ури остановил отряд и оглядел ребят. Уже виднелся лес Гат-Хаамаким, и наступила минута, вынуждающая его принять решение. Один он мог теперь принести им

радость или огорчение. Он должен был ответить на восторженные крики ребят и, по-видимому, сказать им что-то приятное. Чутье командира подсказывало ему, что в этот жаркий послеобеденный час он должен доставить им удовольствие. Они смотрели на него, будто проглотили жабу. "Разбойники, — подумал он, — если бы вы могли, то оставили от меня мокрое место. Ну, ладно, слушайте".

— Я хочу предложить вашему вниманию, — сказал он, — разводя руками и стараясь им понравиться, — кибуц Гат-Хаамаким.

Ребята откашлялись. ...Кибуцы они уже видели...

— А лес? — спросил кто-то.

— Кибуц ниже леса, — пояснил другой.

Ури понял, что Гат-Хаамаким не вызвал у них восторга. И так же, как раньше ему хотелось разозлить их, теперь он старался доставить им удовольствие, понравиться им. Невозможно допустить, чтобы упоминание о Гат-Хаамаким оставило их равнодушными. Еще рано обещать им ужин, но постараемся все сделать так, как надо. Вот именно! И отдых тоже.

— Подумайте. Сейчас четыре часа, и если вы хотите хорошенько отдохнуть, то надо шевелиться быстрее! У нас есть еще четверть часа. И вот еще: вода! Знайте, что если я говорю вам о воде в Гат-Хаамаким, то это не пустые слова.

— Ничего не поделаешь! — заорал один, и его восклицание было встречено рукоплесканиями. Вот это настоящие слова — вода, отдых и развлечения...

Они спускались, приближаясь к лесу. Рыжий сказал бы сейчас: "Позволь им думать, что ты выполняешь их желание. Везде, где можно — уступай им. Зато уж потом сможешь командовать ими, как надо!"

Ури и Рыжий сдружились и привязались друг к другу. Ури получил отряд, хотя пока от этого следовало бы воздержаться. Он установил палатку в том месте, где находилось начальство, и при поддержке Рыжего командовал другими. Жизнь была красивой и широкой, и поэтому вид леса Гат-Хаамаким вызвал у

него неприятное ощущение, как будто он обещал что-то и не сдержал слова, и вот сегодня должен вернуться и встретиться с человеком, которого подвел.

Но все-таки это был Гат-Хаамаким! И там, наверное, уже знали, что он стал командиром отряда, поэтому, если ты прибудешь в киббуц во время чаепития, то дашь своим ребятам отдохнуть, а сам в приветствиях окружающих тебя людей услышишь нотки уважения: наш Ури!

Они вошли в лес в той его части, где посадки были редкими. Дальше лес становился гуще, и они долго шли за молчаливым проводником, не вполне уверенные в том, что он ведет их правильно. Но, как бы опровергая их сомнения, он вывел отряд на широкую дорогу, и через расщелину между скалами в конце долины они увидели частые крыши Гат-Хаамаким. Сделали привал. И тут же в воздухе распространился густой запах от тридцати пар пропотевших ботинок, и трое нагруженных фляжками солдат спустились вниз за водой. Ури повел их в киббуц, запретив остальным трогаться с места. Он пошел коротким путем, и те трое, вздыхая, тащились за ним, позвякивая фляжками и преодолевая сопротивление перепутавшихся ветвей. Ури шел впереди. В течение двух месяцев он не получил ни одного письма от Мики, и был в этом сам виноват. Он не сообщил ей адреса и лишь посылал коротенькие письма, постоянно жалуясь на частую перемену мест. Он, действительно, вначале хотел сообщить ей адрес. Но случилось так, что первое время у него не было постоянной базы. А сказать по правде, — он просто стеснялся получать письма от девушки. Что об этом скажут ребята? Ведь по почерку можно узнать, от кого письма. Все же, когда наконец он получил отряд, он сообщил Рутке и Мике свой адрес, попросив, кстати, пока ему ничего не посылать, потому что он временно уезжает. Так и было — он уходил, возвращался и снова уходил.

От Рутки у него тоже не было известий, он посылал ей короткие приветы в письмах, направленных Мике.

Бывала ли у нее Мика и передавала ли их? Вили находился в Египте и, наверное, мать, как и все жены мобилизованных, раз в неделю получала зеленые конверты с печатью военного цензора. И только Мика была одна. Как она там?

Они были уже внизу, в окончательно обобранном винограднике, где каждый шаг подымал столб пыли и где невозможно было найти ничего, кроме хвостиков от грейпфрутов, кусков пожелтевшей упаковочной бумаги да обломков корзин. Скоро они миновали виноградник и вышли к первым баракам, новому дому для детей и маленькому лугу. Три солдата во главе с Ури остановились в глубине киббуца Гат-Хаамаким. Ури показал им, где находится склад-холодильник, в котором можно наполнить холодной водой фляги. Он остался один. Киббуц был совершенно безлюден. Такой ли это горячий рабочий день, что все в поле, или... черт его знает, что тут происходит. Он медленно направился к столовой. Двор был совершенно пуст, столовая тоже. Половина пятого — самое время для чаепития и чтения газет — где же люди?

Он вошел в столовую. Чистота, тишина и прохлада подействовали на него угнетающе. Он слышал звуки своих шагов. В кухне лилась вода и гремели кастрюли, слышался неторопливый разговор. Неожиданно оттуда вышла Двора с кружкой и тарелкой в руках, подошла к ближайшему столу и расположилась на скамейке. Ури она не заметила — была увлечена молоком, пирожным и виноградом. Символ воспроизводства, — усмехнулся про себя Ури, — успела, по-видимому, одарить мир Божий еще одним ребенком, пока мы там играем в войну. Он подошел к ее столу и сел. Она подняла голову.

— Ури?

Он взял ее мягкую и широкую руку. Он действительно был рад.

— Здравствуй, Двора, ты что, уже...

— Да, — ответила она с полным ртом, — у меня сын, Амация!

— Ну, как говорят, — в добрый час! Вообще-то я давно не получал вестей из дома. Не знаю, что нового. Что у вас здесь слышно?

Он долго смотрел на нее, пока она заметила это.

— Пойди, налей себе чаю. Ты, наверное, устал. Как ты добрался?

Она была совершенно спокойна и, несмотря на то, что не спешила баловать его вниманием, чувствовалось, что искренне добра к нему. Она не засыпала его вопросами и не прилагала никаких усилий, чтобы выбраться из замкнутого мира собственных ощущений. По-видимому, она была поглощена тем, что после стольких девочек у нее наконец-то родился мальчик. Она сосредоточенно пила холодное молоко, пытаясь поймать губами плавающую сверху пенку.

— Нет, — ответил Ури, — сначала поищем маму. У меня мало времени... скоро ухожу...

Ничто не могло нарушить блаженного равновесия Дворы:

— Рутку ты не найдешь, потому что сегодня все на Газельей горе... весь киббуц. Нафтали тоже... вообще все. Выехали ночью. И Мика тоже. Дома никого не осталось.

Пытаясь скрыть волнение, он только спросил: "А когда они вернутся?"

— Трудно сказать, — ответила Двора; она уже занялась виноградом. — Нафтали сказал мне, — наверное, пробудет там несколько дней... Мне кажется, что он там начнет заниматься разделом полей. Как всегда, берется за любую работу, забывая о себе, о своем ребенке. Большинство же, я думаю, вернется сегодня, чтобы завтра продолжить работу здесь. Но ты все равно никого не найдешь. Ты слышал, что молодежь переехала в Эмек-Хаярден? У нас теперь вообще довольно тихо... Только вот последние дни... Жаль, что ты никого не застал дома. Рутка, наверное, будет очень расстроена. Ну, а остальные — ты и сам знаешь.

Я имею в виду, что Мика здесь совсем одна. Но, по моему, выехала она вместе со всеми...

Двора продолжает свои бесконечные разговоры, а Ури тем временем спешит дальше. Раз Мика и Рутка не здесь, он пойдет в их комнаты, оставит записки со словами сожаления о том, что пришлось уйти, не дождавшись возвращения. Потом пойдет к ребятам, и они двинутся дальше — вот и все.

Он хлопнул дверью столовой, которая потом долго качалась. Во дворе ничего не изменилось, только теперь уже без двадцати пять, и через двадцать минут командир обязан повести своих ребят дальше, чтобы успеть добраться в заранее намеченный пункт на ночевку. Ури быстро направился к палаткам, но их как не бывало, — лишь на земле плещи от них, а на них, на этих местах, которые когда-то расчищали для палаток, — обломки керосиновых ламп, стульев, консервных банок. Цветы в горшках подставляли свои убогие спины заходящему солнцу. Только одна палатка стояла на месте — палатка Мики. Вход был закрыт пологом. Ури откинул его, оставив небольшую щель для света и нагнулся над столом — может быть, найдутся карандаш и бумага. Одновременно он бросил взгляд на кровать — Мика!!!

Она лежала, завернувшись с головой в простыню — по-видимому, ей надоели мухи, иначе зачем бы она в жару стала так накрываться?

Через оставленную щель в палатку набегали волны зноя. Ури открыл настежь вход. Легкий вечерний ветерок ворвался внутрь. Кусты крапивы кивали иссохшими головками. На дереве висели полотенце и пузатая сумка. На полках валялись рабочие ботинки и одежда, на солнце сушились носки. Какой унылый, скучный вид, какой изнурительный труд! И это ее жизнь! Ури сунул голову в палатку, посмотрел на свернувшееся в клубок тело. Что случилось? Почему она не на Газельей горе? Или она вернулась такой усталой, что никакой шум не может разбудить ее? Ограничиться запиской и оставить ее спящей? Он

решил разбудить ее и сел на край кровати, которая, словно разгневавшись, заскрипела. Ребята в лесу будут злиться, а, может быть, наоборот — обрадуются? Если мы и опоздаем на несколько часов, Рыжему это не повредит. И, между нами говоря, он тоже не прочь отдохнуть.

Мика спала как убитая — тяжелым, каменным сном. Он обнял ее, голый ногой почувствовал влажный от пота матрац. Она лежала на боку, подтянув ноги, приложив одну руку к груди, а другую держа между подушкой и волосами. Ури провел рукой по простыне, туго натянутой на ее спине. Горячее, напряженное тело поддалось его ласке. Он нагнулся к ее шее, сел с ногами на кровать. В ботинках? Вообще-то стоило бы снять не только ботинки, но и рубашку — не очень она свежая после целого дня, проведенного в горах, надо бы сбросить и майку, да так и остаться с волосатой голой грудью. Медленно, кончиками пальцев он стал стягивать простыню. Показалась сжатая в кулачок рука, растрепанные волосы, щека и один глаз. Мика испуганно повернулась и проснулась.

Выражение радости и удивления продержались на ее лице лишь мгновение. Она сразу же овладела собой и лицо ее стало сердитым. Быстро отодвинувшись от Ури, она, как бы прочищая горло, прохрипела:

— Подвинься, я хочу встать!

Ури подвинулся, Мика соскочила с кровати, вытянув вперед ноги. На ней была рабочая синяя юбка, задравшаяся на ногах — ее ногах...

— А поздороваться, Мика?

— Минутку.

Босиком она выбежала из палатки, и он старался понять, в чем дело. С улицы донесся шум воды. Ури повалился на спину и посмотрел на часы: интересно, на сколько он задерживается с возвращением? Он ждал Мику.

А она просто убежала. Он не должен заметить ее волнение. Она ничего ему не скажет. Она провела рукой по растрепанным волосам и почувствовала

сильную слабость — неужели она так взволнована? Во всяком случае, сама она ему ничего не скажет. И ни в коем случае, ни за что не будет больше принадлежать ему. Он даже не дотронется до нее. Ни теперь, ни потом — неважно, сколько он здесь пробудет, пусть даже неделю. Она не расскажет ему, что произошло. И даже если он не поймет и рассердится — все равно он не дотронется до нее!

Вода была теплой, так как водопроводная труба раскалилась на солнце, но Мика все же прополоскала горло, чтобы избавиться от горьковатого привкуса во рту. Потом она вернулась в палатку. Ури лежал на кровати. Ладно, она сядет на низкую табуретку у стола.

— Как поживаешь, девочка? — он приподнялся ей навстречу.

— Так себе.

Пока она действительно не поймет, что он вернулся, вернулся насовсем, что он ее любит, что он на самом деле хочет знать, что с ней, как она живет, как себя чувствует — она не скажет ему ни слова. Так и будет: она будет молчать или бормотать что-то себе под нос, сохранять расстояние между ними, одно слово слышать, а другое пропускать мимо ушей. Он не увидит ее рыдающей у своих ног. Ури, Ури, действительно что-то стряслось. Почему ты этого не замечаешь? Я твоя, подойди ко мне, останься со мной, береги меня, люби меня, скажи, что так будет всегда. Скажи, что ты любишь меня, что ты хочешь меня.

Она видела, как красив и строен Ури. Он обут в тяжелые ботинки, портянки ловко обматывают ноги, а выше — твердые, как корни дерева, мускулы, шорты, затянутые широким ремнем, рубашка хаки со множеством карманов, открытая шея, и подбородок, и рот, и губ, и спокойные руки на простыне...

— Мне сказали, что ты на Газельей горе.

— Я была там во время переезда.

— Я думал... — начал он.

Что ты думал? Почему не спрашиваешь, что произошло?

— Я думал... — продолжал он, растерянно подбирая слова, — я хотел оставить тебе записку.

— Почему?

— Что за вопрос! Чтобы ты знала, что я был здесь!

Дура, а ты решила, что он пришел на несколько дней, что, наконец-то, он вернулся к тебе. "Чтобы ты знала, что я здесь был". Она расплывается за свою глупость. А теперь, дура, молчи. Пусть ничего не знает — ни о том, что ты почувствовала себя плохо, что тебя привезли сюда с Газельей горы. Ничего — ни о Рутке, ни об обратном пути, ни о враче.

Она хотела причинить себе еще большую боль:

— Когда же ты уходишь?

— Я здесь не один, — не ответил он на вопрос.

— Как это?

— Со мной ребята. В лесу. Мы скоро уходим.

Мике вдруг все показалось удивительно глупым. Он сидел, наклонившись к ней. Протянул руки, взял ее за локти, но она вырвалась.

— Оставь меня в покое. Мне плохо.

Он обхватил ладонями ее голову. Неужели он не чувствует к ней отвращения, которое испытывает к себе она сама? Неужели его может сейчас привлекать ее отяжелевшее тело, не только оскверненное, но к тому же еще потное, усталое, словно набитое тряпками. Страх и сомнения раздирали ее душу — разве не отвратительны ее безобразие, ее вялость, изменения в лице, фигуре — неужели не заметен ее позор, разве на нее не показывают пальцем, не смеются над ней?

Конечно, она мечтала, чтобы Ури вернулся таким, как раньше: нежным, внимательным, чтобы он сказал ей слова сочувствия, чтобы расспросил о ее жизни. Неужели ему не интересно, что произошло на Газельей горе, какой была дорога, и почему она раньше всех вернулась домой? Откроет ли он ей свое сердце, чтобы она опять могла верить в него?.. А если нет, — то не

толкуй о любви, что ты, несчастная, смыслишь в ней! Осталось ли в тебе что-нибудь от той, которая была хороша, осталось ли что-нибудь от твоей любви? Посмотри сама, — красивы ли еще твои губы, или они превратились во вздутые полоски мяса? И твои груди... могут ли они еще возбудить его страсть, или они стали отвисшими сосудами для молока? Хватит, Мика, уймись...

Они скоро уйдут, сказал он, и он уйдет вместе с ними. Как будто ничего не изменилось, как будто ничего не осталось от тех легких, прекрасных дней, когда ты была во власти самообмана, верила, что наконец-то все изменится. На тебя снова обрушилась вся боль, все твои страдания и стыд. Ты совсем одна: будешь бегать по врачам, тяжело переживать каждую мучительную минуту, а он там будет любить другую, написать — и то не найдет времени, ему будет легко, и он даже не сможет представить себе, что ты вынуждена одна, с наболевшей душой переносить то, что предназначено для двоих.

Как ни странно, но именно эти горькие размышления помогли Мике почувствовать себя сильнее. Она испытала удовлетворение от сознания того, что никто ни о чем не узнает — ни Ури, ни Рутка, ни все остальные, что она примет на себя всю тяжесть создавшегося положения. А что будет, если он изменится и, несмотря ни на что, вернется к ней?

Но вот он сидит здесь и поглядывает на часы. Он хочет что-то сказать. Зрачки сужаются, на лоб набегают морщины, вздрагивают губы, обнажая блестящие белые зубы, что-то дрожит в его горле, и он произносит: "... Послушай, Мика..."

Нет, она хочет лишь одного: чтобы он остался. Он сам должен это понять. Два месяца она была смертельно одинока, и теперь единственное, что он должен сделать — бросить тех, в лесу, и остаться здесь. Тогда все будет по-прежнему.

Он вдруг схватил ее за руку, выражение лица изме-

нилось, наклонился к ней — казалось, он что-то надумал.

— Мика, ты ведь знаешь, что я не могу уйти, когда ты в таком состоянии... ты это знаешь. Я не могу оставить тебя в таком настроении. Разве так принимают — ну, скажем, друга после двухмесячной разлуки? Неужели ты хочешь, чтобы я ушел?

Сказать — не уходи? — Глупо. Все равно он ничего не поймет.

Все это время он сидел, опершись локтями о колени. Теперь он откинулся назад привычным, таким любимым, таким обожаемым ею движением и оперся спиной о горячее полотнище палатки. Мика видела только его колени, волосатые ноги, простроченные края шорт и слегка вздымающиеся ребра.

— Я знаю, что не был дома два месяца. И в день отъезда — не знаю, веришь ли ты мне теперь, так все странно получилось, мне казалось, что я слишком быстро уехал, будто сбежал. Мне самому было нелегко, я не бежал, мне не от чего было скрываться, ты ведь знаешь, дома мне было хорошо — ты знаешь, что я думал о мобилизации Вили, знаешь, что я хотел побыть с мамой, начать работать, и ты... но ты все время с каким-то упрямством не хочешь понять, что я не принадлежу себе, что это зависит не от меня!

Мика ему не верила. Она не мешала ему говорить, поглощенная жалостью к себе. Она всегда была несчастной, и вот теперь должна так расплачиваться. У этого парня свой путь, и мешать ему она не станет. Еще не родился на свет тот человек, за которым она будет бегать. Конечно — так конечно. И зачем только ему вся эта ложь? Зачем столько слов?

Ури лежал на боку и смотрел на Мику. Он попробовал даже улыбнуться ей, быть может, ее злость — лишь минутный каприз?

— Я не могу сейчас быть связанным! — он бросил это, как человек, наконец-то нашедший нужные слова, и прежде, чем она ответила, продолжил: — Есть вещи,

о которых не говорят. Скажи лучше, что ты делала эти два месяца?

— Работала на кухне.

Он замолчал. Все-таки по натуре он был неплохим человеком и, несмотря на то, что все время был занят лишь собой, сразу ощутил, что ей пришлось пережить трудные времена, что она заслуживает сочувствия, внимания. Он прекрасно понимал, что значит для Мики работать на кухне. Было обидно, что ее снова отправили туда, — к склокам и ссорам.

— Я не знал, что тебя снова направили на кухню.

— Да, — ответила она, и казалось, что наступило время для откровенного разговора. — Ты многого не знаешь. Даже сегодня, во время подъема на гору, я готовила обед. Мы работали вместе с Руткой...

Она проглотила готовые вырваться слова. Казалось, пришло время, чтобы он удивился, начал расспрашивать — что, мол, случилось, почему она уже вернулась, и вообще, как все происходило; но Ури был погружен в свои дела и поэтому произнес:

— А может быть, тебе будет интересно узнать, что тем временем происходило со мной?

Он взглянул на часы и поднялся.

— Я мог бы говорить об этом часами, но мне пора уходить. Меня ждут!

Слишком он был самоуверен, расставаясь с унылой Микой! Он почувствовал контраст между своим состоянием и подавленностью девушки. Он смягчился, склонился над сидящей Микой, наморщил лоб, всезнающе приподнял брови, прикрыл глаза ресницами и произнес сквозь привыкшие к тайнам и напряжению губы:

— Послушай, Мика, об этом не принято говорить, но я хочу, чтобы ты знала, чем я занимаюсь. Я хочу сказать тебе, что больше месяца мы вообще были за границей. Понимаешь? В разведке. Готовили пути для работы, которая будет длиться долгие годы — иммиграция... понимаешь? Мне нельзя было получать письма, потому что никто не должен был знать,

чем мы занимаемся. И неделю мы готовили маневры, каких еще в Эрец-Исраэль не было, понимаешь? Все это было в горах, теперь я командир отряда, и совсем не принадлежу себе, пойми это! Я веду на тренировку свой отряд, завтра кончается поход, и начинается тяжелая работа, независимо от того, где мы будем находиться. Все это так, Мика!

Он снова посмотрел на часы. Его мучили угрызения совести. Он ничего не придумал, но кое-что преувеличил: если бы очень захотел вырваться домой и, главное, быть более честным и человечным по отношению к Мике, так мог бы подумать об этом раньше! Ну, а теперь уже поздно. Посмотрим... Итак, еще один взгляд на часы, еще одно поглаживание руки Мики в самом мягком и ласковом месте. Он ожидал, что в последний момент рука откликнется на его прикосновение, но пальцы так и остались холодны и неподвижны. Значит, подумал он отчетливо и быстро, значит, лучше уйти.

— Я бегу, Микук, — в третий раз он назвал ее "Микук".

— До свидания, — ответила она. Он должен быть свободен. Слишком уж он этого хочет. Он думает о карьере, которая нужна ему, чтобы освободиться от всех обязательств. Ему не следует знать о беременных женщинах, ждущих его там, где должен быть его дом. Он хочет быть легким, подвижным, ощущать гибкость своего тела, отделить себя от чужих судеб, остаться только со своей собственной — командира, и — временного счастливого возлюбленного.

Вдруг она заметила, что Ури ушел. Палатка была пуста. Ею тут же овладел страх. Ведь он ушел, так ничего не узнав. Только теперь она осознала, что с ней происходит, и что ждет ее. Как она могла вести себя так по-детски в то время, как произошло что-то ужасное? Он обязан был все знать. Она была уверена, что это взволновало бы его. Где ты, Ури, послушай, подожди...

Ури в это время шел по лесу. Мика вела себя очень

глупо. А может быть, она была чем-то озабочена? По-видимому, лучше не наносить ей неожиданных визитов, они нервируют ее. Но кто бы мог предположить, что она окажется в палатке? И почему она вернулась раньше всех? Наверное, ей было тяжело, такая жара. Только не притворяйся, что ты не думаешь о Диночке, которая и в жару чувствует себя превосходно. Ему почудилось, что когда он уже довольно далеко отошел от палатки, Мика со злостью хлопнула пологом. По-видимому, она хотела, чтобы он услышал, как она злым и энергичным движением положила конец их короткой встрече. Разве он виноват в том, что все так запуталось? Ребята из отряда, наверное, рады каждой минуте его опоздания, но зато теперь они у меня побегают, как миленькие. Сегодня же ночью мы будем на месте, а что будет завтра — наплевать! Постараясь, чтобы было хорошо.

С той минуты, как показались огни Гат-Хаамаким, они погрузились в молчание, радуясь возможности ощутить сущность пролетающих вместе с ветром мгновений.

Аврахам вел машину. Рутка сидела рядом. Сзади грохотала наваленная посуда, которую нужно было возвратить на кухню в Гат-Хаамаким. Впереди два световых щупальца намечали путь на темном лике дороги. Рутка вспомнила огромную кастрюлю, которую она тащила утром, и мысли о Мике и Ури начали овладевать ею.

Целый час она и Аврахам рассказывали друг другу о событиях, происшедших с момента разлуки. Аврахам сказал, что он решил остаться в новом киббуце. Ему, разумеется, жаль расставаться с Руткой, но если уж он решил наконец-то где-то пустить корни, то для этой цели новый киббуц был самым подходящим местом. Рутка с сочувствием отнеслась к его словам. Она рассказала ему о письмах Вили, стараясь, несмотря на темноту в кабине, уловить выражение его

лица. Они оба были спокойны и рассудительны. Она не может вернуться к тому, что было до ухода Вили — теперь она еще больше дорожит мужем и постарается, чтобы он это почувствовал, несмотря на молчаливое участие в их переписке военного цензора — в нашем возрасте думаешь не только о любви. Расставанию с Аврахамом она была даже рада. Возможно, ей следовало, хотя бы из вежливости, попытаться уговорить его остаться в киббуце, где у него были друзья, где его любили и где с каждым днем положение его становилось все более прочным. Но ее чувство к Аврахаму было настолько истинным и великодушным — отчасти материнским — что не допускало фальши и церемонных речей. Решение Аврахама было правильным. Но он должен действовать продуманно, чтобы снова не стать рядовым инструктором. Ему надо поставить себя как полагается — чтобы дружеские отношения с людьми не мешали ему руководить ими. Одновременно ему необходимо понять, что такое дружба и уберечься от чрезмерного стремления к власти — в противном случае он снова окажется вне жизни киббуца, оторванным от него и чужим для всех.

Так они проговорили всю дорогу, начавшуюся с крутого и извилистого спуска, который могла преодолеть только машина Аврахама, и дальше, проезжая по темным долинам и шоссе — до самого Гат-Хаамаким. Как только показались огни киббуца, они умолкли, и молчание это длилось долго.

Они уже выехали на дорогу, ведущую к домам, но все еще не решались прервать молчание. Только у ворот они остановились, и Аврахам дал протяжный гудок, чтобы сторож открыл ворота.

Рутка первая прервала молчание:

— Ты останешься ночевать?

— Не думаю, нужно еще кое-что перевезти, и это могу сделать только я с моей машиной.

— Но ты зайдешь перекусить?

— Что за вопрос! А поспать, ты думаешь, мне не

хочется? Я на ногах со вчерашнего утра. Ни на секунду не прилег!

— Ой, хвастун! Без тебя все бы не сдвинулось с места, так получается? — усмехнулась она.

— Смейся, смейся, интересно, что бы ты сказала, если бы это касалось тебя — ну, вот и сторож, — объявил Аврахам и направил машину к воротам. Подняв руку в приветственном движении, он въехал в ворота.

— После ужина заходи ко мне отдохнуть, покурить, — просто и заботливо предложила Рутка.

— Посмотрим! — он остановил машину. — Вот, дорогая моя, конечная остановка!

Аврахам погасил фары. В кабине светились только цифры и стрелки. Их взору вдруг открылся весь окутанный тишиной киббуц с темными зданиями и мерцанием многочисленных огней. На мгновение они прильнули друг к другу — усталые, покрытые пылью, в крепком и болезненном объятии. "Мы, конечно, не будем устраивать сцен", — шутливо заметила Рутка. Она потянула его за чуб и поцеловала.

— Конечная остановка, — сказала она, опуская руки и поглаживая его обветренные скулы. Он накрыл ее руки своими и прижался к ним влажными губами.

Во дворе прогремел чей-то голос: "Кто приехал?" Другой ответил: "Машина с Газельей горы".

И третий: "Аврахам".

Рутка вышла из машины, Аврахам занялся багажом.

— Рутка, не жди меня. Я скоро приду в столовую.

— Хорошо. Так до свидания.

— До свидания, дорогая.

Она ушла.

Хорошо, что мы ведем себя так разумно. Жаль только, что в жизни рассудительность достигается лишь собственным опытом, а порою слишком поздно. Заполучить же ее в виде добрых советов, увы, невозможно!

Взять хотя бы Мику и Ури. Как это странно — любимый сын умудренной опытом женщины, явившийся на свет вместе с ее болью, он -- с его запоздалой

зрелостью, будет совершать ошибки, проявлять непонимание и жестокость по отношению к другой женщине. Сын одной женщины, он заново причиняет другой все огорчения, и вот эта другая стоит перед ним — раскрытая и запутавшаяся, беззащитная и заносчивая, лицемерная и любящая. И в ней — росток будущей жизни!

Рутка не пошла к себе, а прямо, как была, — в брюках, рубашке, косынке на голове, в пропотевшей и пыльной одежде направилась в столовую. Там было спокойно, и несколько человек тихо заканчивали ужин. Еду разносила Хана, и Рутка направилась прямо к ней, хотя все ее радостно приветствовали, и многие были готовы засыпать вопросами.

— Здравствуй, Хана!

— Здравствуй... какая неожиданность! Рутка, я даже испугалась. Ну и ну! Вы уже приехали?

— Нет, Хана, — словно извиняясь сказала Рутка, — я приехала на машине с Аврахамом. Скажи...

— Я была уверена, что вы все просто умираете с голоду — такая была спешка. Теперь вижу, что придется оставить на ночь еду на столах.

— Ну, не так уж все страшно. Скажи, Хана, Мика уже ужинала?

— Мика?

— Ты не видела ее?

— Ведь она уехала с вами!

— Она вернулась с Иланой до обеда.

— Илану я видела, а Мику нет.

— В обед — тоже нет?

— Нет.

— Что ты говоришь?

— Ищи Илану. Я не знаю, где он теперь.

Ни секунды не раздумывая, Рутка уже мчалась к палаткам. Того и гляди, эта дура еще уморит себя голодом. Летняя ночь была темной, и поэтому дорога казалась длинной.

Лагерь был пуст, стрекотали сверчки, неожиданно из кустов выбежал испуганный пес. В темноте свети-

лась лишь одна палатка. Рутка подошла поближе.

— Мика, — прошептала она чуть слышно. Ответа не последовало. — Мика? — и в третий раз, — Мика. Отогнула полог и заглянула внутрь. В лицо ударил тяжелый, влажный воздух. Она подошла к кровати.

— Мика? — она протянула вперед руки. Почувствовала движение тела и скрип кровати, услышала неясное бормотание.

— Мика, это я, Рутка. У тебя есть спички?

— Ой, оставь, — раздался приглушенный, но подозрительно ясный голос. — Спичек у меня нет, и ничего я не хочу.

— Хочешь, не говори глупостей, — отчеканила Рутка.

Теперь она уже различала темную фигуру на кровати.

— Оставь меня, Рутка, — снова раздался голос.

— Ты что-нибудь ела?

— Это неважно.

Невозможно было продолжать в том же духе, иначе и Рутка заразится Микиным настроением. Необходимы свет и еда, нужно увидеть ее и, наконец, узнать, в чем дело.

— Если на то пошло, тем лучше, — решительно заявила Рутка. — Я сейчас вернусь, — и тотчас скрылась в темноте.

Ну и ну! Да, Рутка, двадцать лет назад ты тоже дни и ночи лежала на кровати, пренебрегая едой, не сводя широко раскрытых глаз с полога палатки, и было это в беспросветные дни зимней распутицы и безработицы...

Она вспомнила день, когда Ури приехал из "Кадури" домой. Как она спешила тогда принести ему, здоровому и счастливому, ужин и рассказать о крушении их семейной жизни, об Аврахаме. Прошло два месяца, показавших, что ее поступки и мысли были неправильны. А еще через два месяца, быть может она будет также думать и о сегодняшнем дне? Вили для нее по-прежнему Вили, а вся эта история с Авра-

хамом, хотя тогда она и казалась главным в жизни и была так красива и так глубоко ее затронула, оборвалась и исчезла, как прекрасная сказка. Но ушедший той ночью Ури унес в своем сердце две новые зарубки — уход отца и обиду на мать, которая, по-видимому, была виновата; быть может, именно тогда он в темноте блуждал по лагерю, именно в этом месте впервые встретил Мику? А пока... прошли два месяца, его самого нет, но Мика-то здесь. И в ней зреет плод, который сделает тебя... ха-ха... бабушкой... и вот ты уже не одинока, у тебя есть дочь, очень грустная, отяжелевшая, очень близкая тебе из-за своей слабости, из-за того, что она так в тебе нуждается.

Рутка влетела на кухню и спросила, кто заботится о больных. Оказалось, что те давно закончили работу. Тогда Рутка сама взялась за дело. Подготовила место на столе и поставила на него широкий деревянный поднос, нагроулила его горой еды: яйца, белый хлеб, сыр, масло, кофе — всего по две порции — для себя и для Мики. Взяла ложки, вилки, ножи, сахар, соль, два чистых кухонных полотенца и коробку спичек.

Держа поднос в руках, вспомнила об Аврахаме. Она опустила поднос, накрыла его чистыми полотенцами и вышла в столовую. Сразу же она увидела Аврахама, окруженного слушателями, которым он что-то рассказывал, забыв о еде. Она направилась к нему.

— Аврахам, — она пробилась сквозь окружавшую его стену людей, — ешь один. Я буду у Мики, она больна...

— Минутку, — он попытался задержать ее, прикрыв ладонью ее руку.

— Все в порядке. — ее голос звучал нетерпеливо и не допускал возражений. — До свидания.

Теперь она шла к палатке с тяжелым подносом в руках. Путь был нелегким, и ей вспомнилась утомительная дорога к Газельей горе. Сколько долгих часов прошло с тех пор! Возможно, Мика всю дорогу тащила непосильную тяжесть, ведь у нее была и собственная ноша... Как мрачно молчит эта девушка! Рутка

припомнила и тот момент, когда уже после обморока Мику вырвало, как беспомощна она была среди окружающих ее людей, и все же не вымолвила ни слова. Врач отчаялся что-либо понять. Ей стало плохо — и больше ничего. Вынуждены были отправить ее с Иланой вниз. До самого отъезда она молчала. Только все время сосала лимон и пила воду. Как Рутке пришлось это в голову, она и сама не знала, но в какой-то момент ее сердце неожиданно наполнилось уверенностью, что девочка беременна. Наступил предвечерний час, приблизился конец бурного дня. Страх за Мику постепенно овладевал ею, целый день она лишь об этом и думала, но никому ничего не сказала, только просила Аврахама скорее ехать домой, в Гат-Хаамаким. В ожидании вечера она кружила по лагерю и была неумеренно возбуждена и весела. Она была безмерно счастлива и уверена, что в своих подозрениях не ошибается. Она понимала и то, что Мика и Ури, пожалуй, не отнесутся к этому спокойно. Но в конце концов им придется смириться, а что касается ее — она просто полна спокойной и теплой радости. Она, Рутка, — скрытная, и не нуждается в том, чтобы делить свою радость с другими. Пока что — это секрет ее и Мики. Потом они вместе преподнесут сюрприз Ури. Очень даже может быть, что этот козел испугается и вздумает бодаться. Но мать не позволит ему делать глупости. А потом Вили получит длинное письмо и ответит коротким и радостным: "Да, Рутка, конечно, я рад, дорогая моя бабушка... ха... ну и ну!.."

Ясно, что Мика нервничает. Ури далеко, и она, быть может, воспринимает его отсутствие как окончательный разрыв? Им еще может быть очень трудно. Рутка задумалась об отношениях Ури и Мики. С тех пор, как сын уехал, все представлялось ей неясным. Мика получала короткие письма — вот и все, что Рутка знала. Во всяком случае, она просто не могла себе представить, виноват ли Ури в том, что девушка так упорно, так отчаянно молчит. Ясно, что она ошеломлена и испугана. А для чего существует на свете

Рутка? Вот это-то и должна понять Мика, которая так нуждается сейчас в дружбе, в вере в добро, в уверенности в себе... И тогда у них у всех загорится любовь к тому, кому предназначено появиться на свет.

Рутка вошла в палатку; здесь было темно и казалось, что палатка пуста и покинута.

— Мика?

Ей ответили молчание, жара и духота. Рутка наощупь поставила поднос на стол, ей показалось, что рука коснулась лампы. Да, это была керосиновая лампа. Она взяла ее осторожно в руки, сняла стеклянный колпак, зажгла спичку, фитиль и вернула стекло на место — все это время она не смотрела по сторонам и ничего не видела вокруг. Подвесив лампу, она увеличила пламя.

Мика сидела на кровати, на фоне огромной тени на стене, с широко раскрытыми глазами. Она была настолько бледна и возбуждена, что Рутка ужаснулась, остолбенела и еле перевела дыхание.

— Мика!

Голос выдал ее волнение. Неужели до такой степени ей передается Микино состояние? Она снова взглянула на стол, и вид подноса с едой несколько успокоил ее.

— Мика, сядь, я просто умираю с голоду, и тебе надо поесть. Давай, садись без разговоров!

— Я не голодна.

— Мика, садись к столу, обещаю тебе — пока не поужинаем, не задам ни одного вопроса. Можешь даже не мыть руки, пойдя сюда. Ешь и не морочь мне голову...

Тон ее голоса был нежен. Она старалась показать, что не видит в положении Мики ничего особенного, а смотрит на ее капризы, как на фокусы упрямого ребенка.

— Иди сюда, довольно!

Рутка расстелила полотенце, разложила на нем еду и посуду и все это придвинула к кровати. Примостив-

шись на табуретке, она с завидным аппетитом принялась есть.

Мика отказалась от яиц и овощей, но послушно налила себе кофе, взяла на кончик ножа творог и намазала им тонкий ломтик хлеба. Она жевала, как человек, не решающийся есть, отважившийся лишь попробовать еду. Рутка ела много и шумно, казалось, она пытается разогнать царящую в палатке темноту аппетитным причмокиванием и позвякиванием посуды. Потом налила себе кофе. На подносе вместо красиво поданной еды остались лишь объедки. Утомительная жара спала, и настало время нарушить молчание подходящими словами.

— Ну, Мика, — произнесла Рутка тем тоном, каким женщины говорят лишь наедине, — теперь мы знаем все, правда ведь? Как ты себя чувствуешь? Лучше?

Мика отодвинула кружку, села ближе к стене и натянула на себя отброшенную было простыню.

— У меня все в порядке, — произнесла из своего угла. — Все прошло.

— Ты теперь, действительно, выглядишь немного лучше, — начала Рутка, — собирая на поднос грязную посуду, — раньше на тебя было страшно смотреть.

Мика не ответила. Рутка поднялась с табурета и, пересев на кровать, почувствовала прикосновение ног Мики.

— Что с тобой было, скажи?

— Не знаю. — Мика отодвинулась, хотя в этом не было надобности.

— Может быть, жара? — кривила душой Рутка и в то же мгновение возненавидела себя за это.

— Может быть...

Рутка решила, что хватит лгать и обходить главное молчанием. Что это такое, почему мы делаем из этого трагедию?!..

— Скажи мне, Мика, — начала она нерешительно. Она произнесла ее имя с такой любовью, что дереушка насторожилась в своем углу, поняв, к чему она клонит.

— Как шли твои дела в последнее время?.. — закан-

чивать ей не пришлось. Мика поняла недосказанное. Какое-то мгновение она продолжала сидеть, опираясь руками о матрац, но вдруг хлынули слезы, она захотела их сдержать, но не могла, и слезы перешли в глухие рыдания, она кусала губы, лицо исказила болезненная гримаса.

Рутка дала ей некоторое время поплакать, сдерживая себя, чтобы не приласкать девушку. Она должна закалиться, другого выхода нет. Но в это время Мика встала, подошла к лампе, взяла ее и поставила на стол. Поднос она опустила на пол у входа и снова уселась на кровать, огромным усилием заставляя себя не рыдаться вновь.

— Ты была у врача, Мика?

— Еще нет.

— Почему?

— Оставь, Рутка. Мне незачем к нему ходить.

Рутка почувствовала со стороны Мики сопротивление, к которому не была готова. Мика добавила:

— У меня всегда все было в порядке. Я все знаю и понимаю. Но вот уже дважды...

И после некоторого молчания, коротко, мрачно, тихим и сухим, тусклым от слез голосом она произнесла куда-то в пространство:

— Лучше бы я умерла...

Рутка посмотрела на ее нездоровое тело, полные ноги в волосах, немного опухшее лицо, на черные глаза, очень красивые под тяжелыми черными волосами, и подумала об Аврахаме, который, наверное, пришел в комнату, прилег отдохнуть, поджидая ее, а она не придет. Даже сегодня, в день, полный особого смысла, решающий день в их, — Рутки и Аврахама, — жизни, она не пойдет к нему из-за этой девушки, говорящей такие берущие за сердце наивные слова.

— Мика, ты просто дурочка, вот что я тебе скажу. Ты не представляешь себе, как ты мне дорога теперь. И еще, Мика, знай, что я рада! — Рутка улыбнулась. — Я очень этому рада. И я надеюсь, что ты не ошибаешься. Мы с Вили и, конечно, вы с Ури — мы все будем

счастливы. Ты должна мне поверить. Это просто чудесно! Представь себе... — и тут началась та упорная, долгая, скрытая борьба, которую обе они надолго запомнили и потом называли между собой: "наш разговор в палатке".

Рутке все еще казалось, что Мика нуждается в более определенном выражении симпатии и сочувствия, чтобы желание поделиться преодолело в ней недоверие. Она говорила много, как поступала всегда, когда рассчитывала выиграть сражение. Прежде всего она заверила Мику, что страхи ее напрасны. Рутка говорила все, что думала, не слишком задумываясь над тем, причиняет ли ее откровенность девушке боль или приятна ей. Она сказала, что радость ее огромна, и она уверена в том, что Вили будет счастлив. Разумеется, рожать детей нелегко, но из-за этого так волноваться — просто безумие. Мика уже теперь должна почувствовать радость, или пусть подождет два-три месяца и тогда убедится, что каждое движение маленького наполнит ее сердце бесконечным счастьем. Понятно, что она страдает, но почему не смотреть на все происходящее глазами цивилизованного человека, который понимает, что это — неизбежно и что после двух-трех трудных месяцев наступит время спокойствия, уверенности и любви, и тогда все страхи покажутся просто смешными.

Мика молчала, и это только усиливало стремление Рутки проникнуть в глубину ее сердца. Появление на свет Ури — тоже было случайным, да, это так. Тогда они с Вили еще не жили в семейной палатке, она была на третьем месяце, когда сказала ему, что ждет ребенка. После этого они стали жить в одной палатке, и так создалась их семья. Может быть, она должна была прожить свою жизнь не с Вили, а с другим человеком, много сложного было между ними, но Ури — что можно сказать против Ури?

Молодые, увы, не могут знать, не имея личного опыта, а пожилые люди, к сожалению, уже не в состоянии этим опытом воспользоваться. Если же по-

думать — все проходит, нет ничего, что с течением времени не исчезло бы, и нет ничего такого, что, в конечном счете, не покажется ничтожным по сравнению с самым главным в жизни человека. Пройдут годы, и все будет выглядеть таким незначительным — и трагедии, и огорчения, тяжесть разлуки и союзы, созданные навечно, семейные комнаты и красивые мужчины, страсти и минутные желания; только одно остается навсегда дорогим — сын! Спроси любую женщину, которая десять-двадцать лет назад не родила и осталась бездетной, и она скажет тебе, насколько ничтожными и бессмысленными оказались доводы, которые сделают одинокой ее старость. Теперь рядом с ней были бы цветущие сын или дочь...

Так надо смотреть на жизнь. Это не легко. Но природа мудра. И то, что происходит с тобой, красиво и возвышенно. Нужно это беречь. Нужно быть стойкой, и тогда с течением времени придет огромная радость.

Рутка говорила все это и ее взгляд напрасно искал ответа во взгляде девушки. Мика упрямо все больше замыкалась в себе, долго и упорно молчала, а потом стала изредка сердито выкрикивать:

— Но, Рутка, нет!.. Это не так!.. Рутка, я знаю это!

Было поздно. В палатке друг против друга сидели женщины. Остатки еды начали издавать легкий запах. Летняя ночь замерла, словно прервав на время свои занятия, и лишь заглядывала через окошко в палатку, улыбаясь, как негр, блестящими губами. От легкого ветра колыхались кусты. Доносились запахи далеких деревень. Но вот откуда-то, издалека, слышался шум от возвращающейся колонны грузовиков, и усталый водитель завел машину, думая о женщине — о Рутке. Она и сама была утомлена. Но хоть что-то Мика должна же была почувствовать и понять. Рутка мягко положила на ее плечо руку.

— Завтра ты пойдешь к врачу, — дружески сказала она, — правда?

— Мне нечего у него делать!

— Как это нечего делать? — в голосе Рутки зазвучали

нотки нетерпения, — ведь ты обязана показаться ему!

Может быть, это была ошибка и лучше было бы оставить ее в покое, чтобы она пережила эту тяжелую неделю, пока не придет в чувство.

— Я не знаю, — дрожала Мика, — но я это так не оставлю.

— Что ты так не оставишь? Что ты собираешься делать?

— Тебе было легко, — взорвалась Мика, не в силах более сдерживать сдавившие ее горло слова. — Тебе было легко. Киббуц был твой, Вили был с тобой, все тебя любили, радовались... все принадлежало тебе, ты была дома. А что я? Кому я нужна? Кто меня любит? Кто думает обо мне? И я вдруг рожу ребенка? Кто этого ждет? Кому это нужно? Неужели ты ничего этого не понимаешь?

Ее крик прорезал плотную тишину ночи. Рутка чутко прислушивалась к легкой разлившейся в ней слабости. Что же ты, мать, можешь ответить на все это?

Рутка, ты удивлена? Эта девушка — не дурочка, до истерики напуганная происшедшим с ней, — перед тобой хлебнувшая горя, сильная в своих страданиях, женщина. И Руткой овладел страх, как бы эта женщина, пытаясь скрыть от людей то, что казалось ей постыдным, не наделала глупостей. В таком отчаянии она может зайти слишком далеко. Неужели она уже... решила?

— Скажи мне, Мика, — спросила Рутка с тревогой, опасаясь, что ее подозрения оправдаются. — Ты что хочешь сделать? Неужели — аборт?!

Мика молчала. Ах, Боже мой, как хорошо было бы умереть здесь на месте, или быть смертельно раненой, или все, что угодно, только не попасть в руки к врачу, только не эта операция! Ей казалось, что она по горло в грязи... Беременность — это растущая в ней опухоль, от которой так хочется избавиться: но, с другой стороны — аборт, невыносимые прикосновения медицинских инструментов. Врач, сестры и помощники, потом киббуц и местная больница, специальная диета

для выздоравливающих и получение другой работы — все это ужасно. Итак, ты спала с Ури, девочка, ты не умеешь устраиваться в жизни, и поэтому теперь в твоём теле будут копаться, будет литься кровь, и ты услышишь ненавистные тебе слова и никому не нужные вопросы о самочувствии — ну что? как было дело? Погрузиться бы в тяжёлый сон, чтобы потом вдруг проснуться и почувствовать, что все позади!

Она снова настороженно прислушалась. Рутка продолжала говорить.

— Ты думаешь, это простая операция? Потом всегда жалеют, что ее сделали, всегда! Ты не представляешь себе, что это такое, Мика...

Это она-то не знает, что это такое!.. У него была красная лысина, и после этого он посмотрел на нее тем же взглядом, какой бросил, когда она впервые перед ним разделась: "Моя маленькая евреечка, — он отодвинул от нее свою лысину и напялил очки и улыбку. — Ты беременна. Это совершенно ясно". Потом она отдалась ему и работала вместе с ним в военном госпитале, одетая в его старый халат. И он заботился о том, чтобы ей не приходилось больше делать аборт. И только время от времени ухмылялся: "Кто был счастливецом, посеявшим первое зерно?" Он был отвратителем, но во сто раз была отвратительней ей она сама, подчинившаяся ему.

После того, как обескровленная и обессиленная, она в его кабинете поднялась с дивана и потом долго прихварывала, она дала себе слово, что никогда больше не сделает подобной операции, никогда! Даже, если ей придется родить несчастного сироту.

Больше года длились ее недомогания, потому что польский доктор небрежно оперировал ее, а потом она освободилась от него, уплыв с Вили на корабле; тогда она и поверила, что уходит в новый мир. И на рассвете своей жизни, в момент, который невозможно вычеркнуть из памяти и воспоминание о котором приносит грусть, она поклялась, что дождется еще светлых дней... Ладно, пусть считают, что она ничего не знает

про аборт, с какими опасностями он связан. Ей говорят, что не стоит нервничать, лучше сейчас немного потерпеть. ...Она потеряла дар речи, растерялась и терпеливо ждала, что еще скажет Рутка.

— Мика, — серьезно и решительно произнесла та. — Я не собираюсь играть с тобой в прятки, но знай, что я просто не позволю тебе сделать это. Всеми силами постараюсь помешать тебе.

Теперь Рутка принялась с тем же упорством развивать новую тему:

— Ури еще ничего не знает, правда?

Нет!.. Глупо, конечно же, что он не знает, надо было бы Рутке все рассказать, но как? Ведь не говорить же, что Ури сегодня был здесь. Ни в коем случае!

— Ты не видела его с тех пор, как он уехал?

— Ни разу!

— Но, Мика, он должен все знать! Ведь он теперь в "Теле", верно?

— Да. — она равнодушно лгала.

— Ведь его последняя записка...

— Да.

— Я хочу, чтобы ты ему все сказала. Может быть, он думает иначе, ведь он обязан принимать участие в твоей жизни. Ты не должна ничего решать сама, — и после некоторого размышления... — Ты ведь, наверняка, думаешь о нем, вас что-то связывает, верно?

Связь связью, но ничего доброго я тебе все равно не скажу! Да, я его до сих пор люблю, да, люблю, если я правильно понимаю свои чувства, ведь меня так тянуло к нему, даже сегодня. Его плечи!.. Но его гордость, уверенность в себе, словно весь мир создан для него одного, и это пренебрежительное отношение ко мне. Нет, Рутка, ты сдерешь с меня кожу, прежде чем услышишь хоть одно слово! Какое там "связывает"...

— Итак, Мика, завтра ты поедешь к нему и увидишь, что вместе вам будет легче. С работой я все устрою. И дам немного денег.

Поезжай к нему. Куда? В "Тель"? Ведь он не там.

— Мика, отвечай!

— Хорошо, Рутка, — лицемерила она, — поверь мне, что я не хочу тебя расстраивать. Но только это не принесет никакой пользы, и жаль, что ты огорчаешься. Оставь это. Все пропало! Забудь это, забудь меня...

— Глупышка ты, вот что! А теперь спокойной ночи, дочь моя, и завтра проснись с новыми мыслями, слышишь?

Рутка подняла поднос и встала у входа в палатку. Мика — она была сейчас такой маленькой, несчастной и беззащитной — проводила ее взглядом.

— Может быть, тебе нужно еще что-нибудь? — спросила Рутка.

— А... да.

— Что же?

— Все-таки поговори с врачом, — голос ее звучал нерешительно, но, будто преодолев какое-то невидимое препятствие, она жестко бросила, — чтобы устроил все в городе, и побыстрее!

На следующий день из кибуца на дорогу выйдет девушка. Она не будет знать, где ей стоять, ожидая попутную машину, потому что не знает, куда поедет.

Будет жаркий, душный день, такой же, как вчера, и плохое самочувствие будет расти и расти, потому что на свете нет ничего хуже, чем стоять на дороге и не знать, куда направить свой путь, и не знать, любить ли и быть благодарной матери, хвататься за слова утешения, которые она дарит, и лгать ей...

Шоссе будет поблескивать от машинного масла. Поля вдаль будут посылать к раскаленному небу горячие испарения, а ее лучшие юбка и косынка, и одолженная сумка — будут плавиться от жары. И ей придется идти, не зная куда.

А женщина в кибуце уверена, что она едет к ее сыну в "Тель". Но она не поедет туда. Кто знает, где легкие ноги носят его тело, которое не так давно дарило ей радость...

Мучает ее лишь одно: она убежала, солгав, зная,

что его теперь нет в "Теле". За день до этого он переменил место. Был гордый и чужой, снова не сказал, куда направляется. И теперь он не хотел, чтобы она писала ему или навешала его. Где он? Куда идти? Кто ждет ее? Вернуться ли ей, пройти по тропинке, войти в ворота и зайти в свой дом? Но кто поверит, что она не знает, где Ури, что он не пишет ей, не хочет сообщить своего адреса?

Мимо будут проезжать тяжело нагруженные, двенадцатиколесные грузовики, задыхаясь на подъемах, скрипя на спусках. Остановится ли хоть один возле нее?

Может быть, поехать в город? Пройтись по улицам, скрываясь от людских глаз, рассматривая в витринах магазинов недоступные вещи? Задохаться в отвратительных испарениях бесконечного асфальта? Мечтать о бегстве из киббуца? Думать о смерти?

Неожиданно в сторону полей проедет телега из киббуца. На мгновение возчик бросит на тебя удивленный взгляд, а дальше телега уже будет греметь на спуске, такая родная каждым своим колесом и даже конским пометом, оставляемым ею на пути.

Ей — одинокой, ничего не имеющей девушке, — будет горько идти одной посреди оживленной дороги. Так она и пойдет, со всех сторон обволакиваемая отупляющей духотой. Куда ты идешь, Мика? в твоей руке крепко зажаты деньги, данные тебе с любовью и верой.

Что будет, Мика, что будет?

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

Неожиданно у человека оказывается такая большая семья: Рутка, Ури и Мика. Неси свой тяжелый рюкзак и не вздыхай, потому что он полон подарков для всех, и ты сам это надумал.

Вили шел от станции железной дороги по направле-

нию к Гат-Хаамаким. Он был человеком трезвого ума, а потому не умел слишком долго обманывать самого себя. Это было странно — приехать домой поездом; было ли это сделано из стремления сэкономить деньги или, между нами говоря, скорее всего из желания приехать со стороны киббуца и пройти полями, а не подкатить на машине по главной дороге прямо на площадку перед столовой. Но заметим, что бережливость в данном случае тоже сыграла немаловажную роль, потому что впервые после многих лет у тебя довольно туго с деньгами и приходится экономить, тем более, что собираешься повезти всю семью в город — сходить в кино и поесть мороженого.

Теперь посмотри — как много подвластно миру семьи — гармония со всем, что тебя окружает, и обновление любви, и воскресение молодости, ее горячности, стыдливости; опять — те же иллюзии и вера, что, начиная с этого момента, — вместе навсегда.

А вот и наши поля! Сколько времени утекло! Кажется, ты работал где-то здесь, на этих участках. Только тогда кукурузные поля были зеленые и радовали ненасытное сердце своей свежестью. Сейчас молотилка пожирала голодными зубьями кукурузу, и зеленое сочное богатство падало волнами и оседало на землю длинными ровными прядями, которые сбивали с полей приходявшие потом погрузчики. Когда в последние дни ты работал на тракторе, мысли о сыне и грусть из-за жены переплетались с горечью дум о киббуце, принявшем как должное твое категорическое заявление о неожиданном уходе в армию... А эти поля — разве они стали меньше? Снизились ли урожаи потому, что Зезв Кахана ушел в армию? Разве в твое отсутствие земля иначе воспринимала прикосновение трактора? Нет. И так во всем... Только ты, человеческое существо, обладаешь проклятой способностью помнить. И вот ты идешь и вспоминаешь. Сентябрь еще не на исходе, признайся, что дела не так уж плохи. Сбор кукурузы вроде бы уже закончили, правда, третий участок кажется необработанным — такой

густой желтый цвет может давать только муку кукуруза. Между прочим, урожай в этом году довольно посредственный. И это в известной степени тебя меньше волнует, чем человеческие судьбы. Жизнь старых друзей для тебя намного интересней. Теперь, Вили, когда ты стал умнее, объясни мне такую странную вещь — почему, когда человек живет дома, с друзьями, его занимают не они, а работа, хозяйство, удача, урожай, цены, но как только он уезжает, он сразу же начинает понимать, что все время пренебрегал главным и занимался чем-то не столь уж существенным... По-видимому, где-то, в глубине твоей души, всегда гнездились некоторое равнодушие, которое заслоняло главное. Но пойми, наконец, что с киббуцом тебя связывают не пост и не полет твоих планов и даже не то, что принято называть личным удовлетворением, а окружающие тебя люди и их судьбы.

Был четвертый час пополудни; земля, словно лес, была покрыта листьями. Строения Гат-Хаамаким пригнулись к горам, издалека казавшимися белыми. Они были окутаны туманом и странно дрожащим воздухом. Синица разрезала его на куски и опять склеивала, повинаясь своему беспокойному воображению. Откуда ты знаешь, как это делать, синица?!.. Вот растет цветок... Полевые рабочие всегда стараются обработать землю до самого края дороги, и это хорошо — ты видишь вспаханные поля, доходящие до песчаной придорожной пыли, и это вселяет в тебя уверенность, что с приходом зимы дорога превратится в черную ленту, окруженную морем зеленых полей.

Капрал в британской форме, с рюкзаком на плечах, после трехмесячного отсутствия прибыл в Гат-Хаамаким в отпуск. Сойдя с поезда на маленькой арабской станции с невзрачным навесом, он вдруг подумал, что уже десять, а может быть и двадцать лет не возвращался этой дорогой домой — от станции через поля пешком.

Когда-то этим путем доставляли продукты, но по-

том построили мост, и таким образом обеспечили подъезды и в дождливые дни, но это было давно, кто знает, когда, а сейчас военный билет ведет тебя по этим старым дорогам.

Ну и скорость этих палестинских поездов!.. В Реховоте он вышел, чтобы проведать в Тель-Авиве мать и затем успеть на тот же самый поезд в Рас-ал-Эйн. Когда он сошел с поезда посреди плантаций, по этому поводу не раздался гудок, и никто не обратил на него внимания, но зато сколько вопросов было задано ему по пути в Хайфу!

Прежде чем поезд отошел от станции в Реховоте, автобус, — через какие-нибудь полчаса, — ввез его в шумный Тель-Авив. И так как машиной можно было настигнуть поезд в Рас-ал-Эйн, у него оставалось полтора часа, — вполне достаточно для его дел в городе; он взял рюкзак и направился проведать мать.

Мамаша Кахана была одинокой старушкой. Отец скончался еще в те далекие времена, когда могли возникнуть сомнения, следует ли брать на похороны маленького Ури. Дочь, так и не вышедшая замуж, работала провизором; сначала она заменила в аптеке отца, потом уехала за границу и не подавала никаких признаков жизни; они получили единственную открытку с видом голубого залива и деревьев, на которой было написано несколько слов: "Ваша... Будьте здоровы...".

Однако, несмотря на одиночество, старушка не хотела перебираться в кибуц. Она не любила кибуц. Не верила в него. И считала, что ее сын провел там всю свою жизнь впустую. В этом она была полностью солидарна со своим покойным мужем. Бабушка очень любила Ури, который изредка навещал ее. Примерно раз в год, а иногда — и два. Вили шел к ней по улицам города с ощущением такой свежести, такого острого восприятия жизни, как никогда прежде. Он хорошо знал Тель-Авив и, главным образом, его торговое предместье, прежде вызывавшее у него отвращение, но теперь он чувствовал себя здесь настолько

свободным и чужим, что наблюдал за всем спокойным взглядом постороннего. Минуя дворы, он повторял про себя названия деревьев, отмечал, что большинство зданий — двухэтажные, что многие крыши украшены антеннами, что жара не так страшна, когда тебе не приходится мчаться, как сумасшедшему, что в воздухе разносятся запахи кипящего масла и развешанного на крышах сырого белья; и как же это, наверное, приятно — наблюдать с этих крыш за синим морем и кораблями вдали.

Улица, на которой жила мама, когда-то центральная, теперь была запущенной и бедной, улицей бедняков. Крыши домов, очень похожих друг на друга, были покрыты черепицей, а балконы украшены немодной лепкой — у входа две руки, благословляющие входящего; во дворах — низкие пальмы с пожелтевшими листьями, под капающими кранами — место, покрытое зеленой плесенью; выцветшие жалюзи скрипят при каждом движении, на тенистых тротуарах тишина... и лишь еле уловимый запах старых квартир со старомодными занавесями, высокими и узкими коридорами, стеклянными дверями, с облезлой краской на деревянных частях; а со дворов проникала на улицу вонь испорченной канализации; на двери, прикрепленная кнопкой, окруженной ржавчиной, как коричневой короной, табличка, на которой выцветшими, старинными чернилами выведено: "Кахана" и ниже: "владелец дома"; ты поднимаешь глаза и видишь лестницу, ведущую на крышу, где под самой черепицей находилась кладовка, в ней обитые железом сундуки — еще из России, в которых находилось то, о чем ты вспоминаешь с болью в сердце: дневники и старые журналы "Русский Хехалуц", свидетельства из гимназии родного города и из Берлинского университета, фотографии матери в старинных платьях и бородатого отца у входа в аптеку и вышивки исчезнувшей сестры — где-то она теперь?

Ему открыла Сарра — иеменка, помогающая матери по дому и живущая здесь все эти годы. Сколько

радостных воплей она издала! А мать суежилась вокруг него, плакала и снова сердилась на киббуц и спрашивала, как все поживают, потом показала полученную от Рутки открытку и перечитала ее дважды — сначала сама, а потом из-за его спины, когда он пробежал ее глазами, а она водила пальцами по буквам. Нет! Она не желает переезжать в киббуц. Дом приносит доход, она стережет квартиру. Сарра — верная подруга, слава Богу, она не нуждается в людях, она еще в состоянии читать русские книги, ежедневно получает газету — она здорова, так что — все в порядке. А как ты, Вили? Останешься обедать, ночевать? Нет? Уезжаешь? Вот горе-то!

Мама очень старенькая, квартира темная, ставни закрыты, а вот и комната, в которой жила Рутка — шестнадцать лет назад. Все это так на него подействовало, что он был рад царящей в комнате темноте — выступившие на глаза слезы могли бы слишком многое сказать. Мать открыла скрипящие дверцы шкафа, неясно заблестело зеркало, а в воздухе распространился запах долгого затворничества. Здесь Рутка смотрелась в зеркало, а Ури тянул ее за подол: мама, скорее, к морю...

Через час он ушел. Судьба матери не давала ему покоя. Им овладело горькое чувство вины. Неужели так, из века в век, дети всегда в неоплатном долгу перед родителями? Мама, суеющаяся все годы, как молчаливо оберегает она свою единственную большую любовь в течение всех этих долгих лет! В те дни, когда он приезжал проведать Рутку, он просыпался рано и спешил обратно, но мать всегда вставала раньше его, чтобы при свете лампы напоить его горячим молоком и накормить яичницей, как он любил. Старенькая мама, как она терпеливо справлялась в этом постоянном молчании со своей долей, а ведь ее сердце никогда не знало покоя!

Так она и жила все те дни, которые ты проводил в большом мире, в этой, становящейся все грустнее и грустнее квартире, в этой все растущей печали.

Каждое утро она горячей водой моет посуду, каждый день убирает чересчур большие и многочисленные комнаты, передвигаясь медленными и осторожными шажками, неся в себе свои чувства, те, что она отдала, ничего не получив взамен, никогда ни с кем не делится горечью опустошения, которую несет с собой старость; опустошения, которое наступает потому, что человек раздает своим любимым наследство еще при жизни, ежедневно деля между ними свою любовь, а все его существование отдано этой любви.

И снова, снова одна и та же горькая мысль.

Ты летишь в Тегеран, а мать каждое утро просыпается на своей заброшенной улочке, в домике под черепичной крышей; ты уезжаешь и объезжаешь все страны Европы вплоть до Атлантического океана, а она все еще гладит белье на тяжелом старинном столе; ты полгода живешь в Иерусалиме и работаешь в различных учреждениях, а она по вечерам сидит на балконе, над старыми пальмами, а черные жуки, бьющиеся о лампу, назойливо жужжат. Ты едешь в Египет, плывешь, спешишь, выполняешь какие-то поручения, кого-то пробуждаешь к каким-то делам, шумишь, — а она все с теми же вздохами стелет простыни на той же кровати, на которой теперь не хватает второго человека; ты держишь речи на шумных конференциях, говоришь о вещах, в которые ты веришь и которые считаешь своей жизнью, а она проводит старческую ночь, холодную и одинокую, и все еще любит тебя всем сердцем, той прежней и верной любовью, которая никогда не увядает...

И снова те же мысли, но теперь они уже успокаивают, потому что его вдруг осенило, что он думал не только о матери, но и о Рутке, что такой же судьбой он на целых пятнадцать лет наделил и Рутку, и что, очевидно, нет иного выхода, чем погрузиться в размышления, воспоминания и подсчеты, и понять, наконец, что после всех жизненных этапов его ожидает еще один — тихий, успокаивающий и неожиданный. И тогда человек действительно начинает уважать

старость и не только из-за бродящих в нем неясных ощущений, но благодаря обновленному взгляду на героическую жизнь старенькой матери. Да, у мамы и Рутки — схожая судьба, вот, оказывается, как...

От матери Вили вышел задумчивый, отдавшись размышлениям, исходя тоской по той мечте, частью которой была Рутка. Когда же он вышел на улицу, прошел мимо веранды, открытой двери и увидел соседний дом, он внезапно вспомнил, что здесь — лавка Зильберштейна. Ему пришло в голову купить шоколад. Он поднялся по лестнице и остановился у двери. Лавка была темная, ее освещала лишь круглая лампа. Он вошел и увидел Зильберштейна, стоявшего на коленях перед мешком с картошкой и перебиравшего ее.

— Шалом!

Зильберштейн поднял кверху нос, а уже нос поднял кверху очки. От неожиданности старик испугался. Солдат?

— Я бы хотел купить шоколад.

Какая скромная и приятная просьба! Зильберштейн успокоился и направился к прилавку. Все то же, что было раньше. Вечерами, когда он являлся домой неожиданно, он заходил сюда за хлебом, маслом или рыбой. Зильберштейн всегда добавлял сладости для Ури и расхваливал малыша.

Постарел. Ставни закрыты, а на них — старые, выцветшие объявления и тот же, откусывающий калифорнийское яблоко мальчик, который тоже состарился. И запахи лавчонки, и влажный, душный воздух... Зильберштейн наклонился, протянул ему плитку и снова через очки взглянул на него.

— Новый сосед?

— Нет.

— Нет? Так чей же ты?

Вили про себя рассмеялся. Итак, чей же он?

— Кахана, — сын!

— Кахана! — разорвалась тишина, царившая в лавке.

— Кахана! Солдат? — Да тебя не узнать! Такой моло-

дой! Ну, Кахана, конечно, Кахана! Это видно! А у госпожи Кахана ты уже был? Ну, как поживает сын? Малыш? Как его звали?

— Ури.

— Уриле. Да, да. И... жена? И, наверное, слава Богу, есть еще дети?

Вили вышел и сразу окунулся в солнечный свет. Потом решительно побежал к автобусу, потом поссорился из-за военного билета на поезд, но все равно он был во власти своего возвращения домой, и с волнением думал об ожидающей его встрече. Казалось, что его разделяют с женой не три месяца, а целая пропасть. Невозможно было возвратиться к событиям, сопровождающим его уход в армию, что-то изменилось с такой силой, которой невозможно было противостоять. Была ли тому причиной нежность, сквозившая в письмах Рутки? Увидим. Но, кажется, мы наконец-то обрели друг друга, может быть, — в последний момент; еще немного — и было бы поздно.

... Капрал вдруг заметил, что он прислушивается к тяжелому, натужному жужжанию и остановился посреди поля. Он чувствовал, как в спину вливаются лямки рюкзака и как что-то липкое течет по ней. Но он стоял и жадно впитывал приближающийся к нему звук. Это работал трактор. Может быть, он за горкой? Или дальше?

Трактор был настолько далеко, что невозможно было различить прицеп. Но земля хранила его "росчерк". Это означало, что в обработке земли они преуспели; трактор удалялся, но если Вили прибавит шагу, то все-таки сможет его догнать на повороте, на стыке участков у моста.

Вили побежал. Ему хотелось увидеть живую душу. Рутка, наверное, всем рассказала, что ждет его и даже прикрепила телеграмму на доске объявлений, хотя, между нами говоря, не стоило бы так суетиться. Три месяца? Разве ты не отлучался из дома и на более длительные сроки? Но, как видно, что-то действительно изменилось. Где ждет тебя Рутка? Может быть, опе-

редив тебя, она поехала навстречу, в город, или стоит на дороге, время от времени поглядывая вдаль. А ты разочаруешь ее, появившись с другой стороны. Интересно, бросимся ли мы друг к другу в первую минуту?.. Три месяца. Никто не знает, что происходит в нашей жизни, возможно, мы и сами можем лишь кое о чем догадываться.

Он положил рюкзак на большой камень, одиноко стоявший на краю дороги, и, опершись на него спиной, сел на землю; он получал удовольствие от отдыха и спокойно наблюдал за приближением трактора. Отсюда дорога спускалась в долину, пересекала мост и подымалась навстречу Гат-Хаамаким. Сколько тонн урожая уже перевезли через этот мост? Когда-то Нафтали был против подобной роскоши — постройка моста. Для него нет ничего более ненавистного, чем инвестирование капитала. "Пустая трата денег, да еще в то время, когда мы живем в палатках!", — кричал он. Но прибыли материалы, конструкции заняли свои места. Замешивали руками бетон и готовились приступить к формовке. Поднялся мост, по нему проложили настил, но поставить перила строители ни за что не соглашались, так он по сегодняшний день и стоит, действуя из года в год на нервы возчикам сена и комбайнерам.

Тем временем появляется трактор, показывает тыльную сторону, описывает круг, и тракторист вдруг замечает человека, опирающегося на камень, останавливает трактор, снимает солнечные очки, присматривается и с криком спускается на землю — Биберман!

И вот они уже проверяют — у кого горячее ладонь.

Хотя Биберман первым нарушил молчание и бросился к другу, он остался верным себе — лишних вопросов не задавал. Вили же сам много рассказывал и отвечал на те вопросы, которые могли быть заданы. Он был полон радостного волнения. Биберман предложил проехать через плантации, — его об этом просили, работы там всего на несколько часов, и почему бы ему не привезти домой... нашего капрала?

Биберман вернулся к машине и вывел ее на дорогу. Вили бросил рюкзак на сиденье, а сам уселся на ящик с инструментами, прямо над грохочущими цепями, спрятав голову под деревянную крышу. Сквозь шум, перекрикиваясь, они обменивались впечатлениями. Оказывается, полевые работы были задержаны на неделю из-за освоения Газельей горы. Не спрашивай, Вили, что было — целый переворот! Было чудесно, чудесно! В первый день все были страшно взволнованы. Весь киббуц был там, и Рутка, все! Все вверх дном, ты ведь понимаешь, чего стоили все приготовления!

Вили утвердительно кивнул головой. Все это он знал из последнего Руткиного письма. Более того, он знал даже, что работой руководил Аврахам Горен. Он смотрел на возбужденного Бибермана, пытавшегося криком перекрыть рев мотора.

— А как идут дела у Аврахама Горена, успешно? — не вытерпел Вили.

— Аврахам Горен. — Его просто невозможно узнать, говорят, что...

Вили пригнулся, вслушиваясь. Ему не хотелось просить Бибермана повторить то, что он не расслышал:

— Говорят...

Вили еще ближе придвинулся к своему покрытому пылью другу и пригнулся к самому рулю.

— Он ушел от нас. Слышал? Решил жить в новом киббуце, в горах.

Лишь теперь Вили решился выразить удивление:

— Что ты говоришь?

Приятное волнение задело самые чувствительные струны и вызвало поток мыслей.

Вот оно что!.. И пока Биберман рассказывал какую-то историю, уже не имеющую значения для Вили, он размышлял о победе, последней и решающей в его жизни. Значит так. Путь от Бибермана до Аврахама Горена еще раз подтверждает: сколько нужно человеку превозмочь и перечувствовать, чтобы понять, что счастье в жизни не зависит от неожиданной удачи, внезапного выигрыша, а достигается трудом и вер-

ностью, разумом и терпением. И это во всем — и в отношении к женщине, сыну, к его воспитанию, к обществу, творчеству и хозяйству. А что еще есть у тебя в жизни?

Когда Рутка после четырехлетнего пребывания в Тель-Авиве вернулась в Гат-Хаамаким, горка все еще была покрыта белыми палатками. Ури удвоил число детей в детском доме. Был вырыт первый колодец, посажена аллея вдоль дороги, ведущей вверх, и первый виноградник спрятался за откосом. Проезжая дорога вела к железнодорожной станции, с продуктами было тяжело: летом — потому, что они кончались, а зимой — потому, что еще не прибыли. Рутка, ощущая постоянное волнение, не понимала, что творится с ней, а серьезные раздумья над окружающим приносили ей лишь страдания. Вили был занят строительством моста и осенью был выбран на предстоящий год казначеем. Ей было очень трудно. Во время приездов Вили в Тель-Авив Рутка привыкла бывать с ним наедине, к тому, что он предан ей, живет для нее, и вдруг она окунулась в жизнь, которая отняла его. Он был рядом и одновременно — далеким и чужим. На ее долю выпали в этой киббуцной жизни лишь усталость, пыль, злость и желание отдохнуть. Ее направили в прачечную, где тогда еще не было машин. Работа эта была смертельно тяжелой. В ее комнату в бараке счастье тоже заглядывало редко. Вили самозабвенно отдавал всего себя киббуцу и жил только его жизнью. Он был уже не страстным возлюбленным, каким бывал в дни их уединения в Тель-Авиве, а общественным деятелем, вырвавшимся на часок, чтобы отвлечься, занятым рассеянным человеком, все мысли и чувства которого отданы высоким целям. В его сердце не оставалось места для любви, для дружеского общения; атмосфера, царящая в семейной комнате, была ему чужда.

Ури рос без отца. Вскоре наступили годы странствий. Зеэв Кахана, этот молодой человек, подходил для работы в самых разнообразных учреждениях.

Два раза его посылали за границу, долгие месяцы он проводил вдали от дома. Взгляд его становился отчужденным, как будто он смотрел мимо тебя. Всегда у него находились неотложные дела, он никогда не был господином своего времени, не получал даже кратковременных отпусков, от зимы к зиме тянул за собой ревматические боли с безразличием человека, которого не интересуют повседневные жизненные проблемы, в результате он пренебрегал и личной жизнью близких.

Рутка жестоко страдала в ожидании его окончательного возвращения. Когда он бывал дома и сидел рядом с ней, ей хотелось растянуть эти минуты. Она нежно просила его остаться с ней подольше. Иногда она отваживалась высказать мысль, что пора бы закончить, наконец, с этими разъездами и побыть дома. Однако все ее усилия были бесполезны. И Рутке не осталось ничего другого, как забыть о семейной жизни.

Благодаря своим способностям и твердому характеру она естественно включилась в жизнь киббуца. Ее усилиями был создан в Гат-Хаамаkim дом для детей. Удивительной была разница в ее отношении к детям и к рабочим. К детям — нежность и теплота, и способность до бесконечности приспосабливаться к их интересам; к взрослым — суровые, жесткие требования, касающиеся, главным образом, соблюдения современных методов воспитания. Она руководила всей педагогической работой в киббуце, и именно тогда оказалась рядом с Вили, — не в роли жены, а как товарищ по работе; они постоянно виделись на заседаниях всевозможных комиссий, на обсуждениях бюджета и во время всяких других общественных дел. Так она завоевала себе свободу действий, — возможность разъезжать, — это уже была не та тихая женщина, живущая в ожидании мужа, ждущая подарков и зависящая от его заработка, а самостоятельный человек, собственными силами обогащающий свою жизнь, решающий, как ее построить, вполне незави-

симый человек. Именно в те годы сформировалась та Рутка, которую хорошо знает теперь любой член киббуца. Не превратилась ли она вновь в ту полную энтузиазма девушку, напоминающую о первых днях, буднях, песках и ночах?.. С полной уверенностью можно лишь сказать, что жизненный опыт помог ей перенести разочарование и все подчинить разуму. Со стороны казалось, что она вполне уверена в себе.

Многие годы считалось, что Вили и Рутка стремятся к спокойной совместной жизни и поэтому откладывают рождение второго ребенка, который мог бы этому помешать.

Потом, когда Вили вернулся с молодежью из Тегерана и согласился стать инструктором и наконец-то два года оставался дома, оказалось, что иметь еще одного ребенка уже поздно. Ури находился в сельскохозяйственной школе, дома бывал редко и всегда куда-то спешил. Может быть, — его присутствие сблизило бы их, но теперь уже ничто не могло изменить их отношений. Вили снова погрузился в работу. Постепенно они начали понимать, что вместе жить им в общем-то незачем. И вот однажды Рутка пришла и сказала: "Так и так, значит, — Аврахам Горен", после чего Вили переехал в комнату инструктора в бараке.

Для Рутки наступили тихие и счастливые дни. Вили был занят с молодежью. В киббуце никто не задавал лишних вопросов, связь между ними окончательно оборвалась. И вдруг Вили узнает, что его молодежь переселяется на новые места, и он остается ни с чем, в холодном доме, в полном одиночестве. Тяжелые дни наступили в жизни этого сильного человека. Трагедию ухода Рутки из своей жизни он приписывал Аврахаму Горену. Ему было трудно одному, более всего он опасался сочувствия окружающих. Никто не должен знать, что в его жизни что-то оборвалось. Как и всякий деятельный, активный человек, Вили хорошо знал, что в жизни бывают приливы и отливы. И тот инстинкт, который загоняет раненого зверя в берлогу, подсказал ему записаться в добровольцы.

Он был послан сначала в Сарафанд, а уже оттуда, очень скоро — в Египет.

Он любил Рутку, потому что ценил в человеке способность преодолеть самого себя, любил заложенную в истинной любви возможность подняться над собой. Он видел смысл любви не в удовольствиях, а в способности выстоять в борьбе с самим собой. И он прожил полноценную жизнь, чтобы прийти к этой истине и осознать ее. Природа человека — звериная, и чем больше он приближается к зверю и стремится к освобождению от этого, тем быстрее понимает, что единственное, что отличает людей от животных, — это любовь. Преодоление животных инстинктов рождает любовь, и чувство это не однозначное и не застывшее, а живое, изменчивое, растущее. Таким образом, ты — вечный поклонник женщины, своей жены. И ты обязан любить Рутку и прожить с ней всю свою жизнь. И вот именно по всем этим причинам немолодой капрал проходил задними дворами домой. Он думал, что приближается решительный момент, но не представлял себе точно, каким он будет и как они оба поведут себя; и киббуц, и сын — неужели он не придет повидаться? Ведь его девушка живет у нас.

Вили расстался с Биберманом у входа в плантацию. Поблагодарил его и направился к дому. Он вышел на дорогу, перед ним расстился весь предстоящий путь. Обостренное восприятие действительности, обретенное им в Тель-Авиве, не покинуло его и теперь. Он шел, наслаждаясь всем, что видел.

Был пятый час, и была осень: легкие облака распустили прозрачные перья на алом закате, на горизонте золотились вершины гор, с них торжественно и спокойно опускались тени; тихими были и дали, беззвучны в этой дали были машины, лишь птицы на деревьях повторяли свои песни, а брызгалки рассказывали о чем-то своем, заученном, — сбивались, начинали снова, и так без конца.

Скоро он поздоровается с Руткой и им будет труд-

но, не потому, что прошло какое-то время, а потому, что сами они стали другими. Хорошо, что Аврахам Горен ушел в горы. Здесь он никогда не обрел бы своего места, и для Рутки все упростилось. К тому же оправдались ее предсказания — она всегда говорила: этот молодой командир, несмотря на строгость, которой от него требует его профессия, — человек тонкой души.

Можно предположить, что и Ури тоже дома, ждет его, а вместе с ним и Мика. Она, наверное, волнуется больше всех, такой уж характер... Все будет хорошо. Только, что касается Рутки — то я просто обниму ее на глазах у всех, и если кто удивится — пусть...

А вот со двора выехала телега, по-видимому, сильно нагруженная — наверное, в огороды везут навоз... Это значит, что землю уже начали готовить к новым посевам.

У склада, расположенного на плантации, трое озорных парней ставили в маленький грузовичок банки с повидлом. Теперь они взялись за четыре тяжелых ящика неопределенного цвета, заполненные яйцами. Работая, они не переставали шутить. Покончив с повидлом, один из них обратился ко второму, стоящему в стороне: "Я вижу, со взрывчаткой кончено". И второй прокричал третьему, согнувшемуся над чем-то в шалаше: "Ты, жердь, обрати внимание — эти гранаты довольно тяжелые!"

По правде говоря, Рыжий ничего не делал, а просто стоял, заложив руки в карманы, как это и положено командиру. Ури перетаскивал ящики из шалаша и передавал их шоферу, худому и кривоногому парню, тот все методично и осторожно складывал.

— Как идут дела? — кривоногий вытянул шею, ища глазами "босса".

— Как дела? — Рыжий повторил вопрос, даже не повернув головы.

Ури вытянул из шалаша последний ящик, и когда

он появился в поле зрения Рыжего, тот обрадовался, не преминув, тем не менее, добавить:

- Смотри, чтобы яйца не превратились в яичницу!
- Пошел к черту! — разозлился Ури.
- Ведь это тебе не яйца, а гранаты!
- Да ну? Нужно предупредить девушек...

Кривоногий, расхохотавшись, даже опоздал перехватить ящик.

— Эй, Длинный, — поддразнивал его Ури, — будешь смеяться, когда поймешь, что к чему, а теперь делай, что говорят.

Так закончилась погрузка оружия. Ури и Рыжий вскочили на подножку автомашины, и она, вздымая пыль, направилась во двор хозяйственной части в "Тель".

Рыжий смотрел на своего молодого офицера не без удовольствия.

- Я думаю, до места ты сумеешь добраться.
- Или да, или нет, — ответил Ури.
- Это не шуточки, мой милый.
- Что страшного? Год отдыха в тюрьме в Латруне.

Видели мы кое-что и похуже.

— А что скажет Диночка?

— Меня вовсе не интересует, что скажет Диночка.

— Дурень! — Рыжий ударил его по плечу. — Уж мне-то ты мог бы сказок не рассказывать! Может быть, объяснишь тогда, почему ты приехал с машиной? Разве Габи не мог сам нагрузить повидло и яйца? Что ты мне морочишь голову!

Ури в душе посмеивался. Ну, какое все это имеет значение! Рыжий считает, что он действительно читает мои мысли... но, тем не менее, он командир, что надо! Теперь будут настоящие маневры. Правда, гранаты...

— Надеюсь, — запас холостых гранат кончился?

— Я как раз сию минуту об этом подумал, — ответил командир. — Осталось еще несколько, а потом только "польки". Чему ты улыбаешься?

— Так, пришло в голову — жаль взрывать "полек", лучше гулять с ними.

— Это оставь офицерам Андерса.

— Вот их-то я бы с удовольствием взорвал.

Оба громко рассмеялись. Оглянувшись назад, увидели, что водитель бросает на них удивленные взгляды.

— Слушай, Длинный, — крикнул ему Ури, — остановись у овощного склада, слышишь? — повысил голос, — у овощного склада!

— А нельзя ли узнать, что тебе там нужно?

— Положись на меня! Терпение. Ну вот и прибыли.

Оба вскочили со своих мест, в то время как машина завернула, чтобы остановиться на площадке, предназначенной для погрузки.

— Слушай, Длинный, погрузи-ка несколько ящиков с помидорами.

— Ты сошел с ума!

— Спорить будешь со своим отцом! Понятно?

Водитель выполнил приказ.

— Особого убытка не будет, — объявил Ури Рыжему, — если при подсчете не хватит пяти ящиков, а нам это поможет. Настоящее прикрытие сверху, никакого камуфляжа. А вечером ребята полакомятся свежим салатом.

— Имей в виду, я не хочу лишних счетов и не собираюсь оплачивать расходы. Ты отвечаешь за все, а я ничего не видел, понятно? Мне все равно, хоть грузы теперь фрукты... Да, браток, между прочим,.. совсем забыл, у меня для тебя письмо от какой-то девушки. Подожди, куда же я его девал? Мне его передал шофер. Илана какая-то, кажется. Что ты смеешься?

Ничего себе, — девушка! — Ури просто закатывался от хохота.

— Илана! Уф-ф, это здорово! Это же анекдот! Ты бы посмотрел на эту девушку! Илана! Девица весом килограммов в сто. Ох, вот это да! Давай сюда, что там у тебя?

Рыжий протянул ему конверт, на котором круглым женским почерком было написано несколько слов.

Смех Ури мгновенно оборвался. Он вскрыл конверт и бросил быстрый взгляд на письмо.

— А, это от мамы, — сообщил он и погрузился в чтение. Он прочел письмо раз, потом второй и начал читать в третий. Потом сложил листок и всунул его в карман рубашки. Поднял глаза и встретился с взглядом командира, вопросительным и требовательным.

— Так что говорит Илана?

— Дурак! Мать, я тебе сказал. А Илана — это наш шофер.

— Илана — это шофер, а как зовут твою мать?

— Хватит, Рыжий, надоело! Я еду! Длинный! — обратился он к водителю, закончившему погрузку красных ящиков. — Поехали, проверь бензин и воду. Послушай, Рыжий, я хотел кое-что спросить у тебя...

Оба отошли в тень шалаша и встали, каждый уперся одной ногой в ящик, а другую вытянул. Некоторое время они что-то обсуждали, и когда подъехала машина, оба были серьезны и спокойны.

— Может быть, перекусишь? — спросил Рыжий.

— Нет, некогда. Поедим в лагере.

— А с водителем ты не считаешься? И с Диночкой даже не попрощался...

— Оставь ты это!

— Слушай, ты меня беспокоишь. Что тебе пишут, что там у них случилось?

— Поехали, Длинный, — крикнул Ури со злостью.

Машина обдала Рыжего облаком пыли, и он, отплевываясь, зашагал в сторону лагеря.

Ури сидел на ящиках с помидорами, глядя на убегающие назад дома, кипарисовую аллею, ворота, спортивную площадку и мелькающую ленту шоссе — "Тель" быстро удалялся. Один из твердых и сочных помидоров нашел путь к зубам Ури. Он раздумывал, достать ли из кармана письмо, но вдруг решительно бросил помидор на дорогу. Красноватое пятно мгновенно удалилось; Ури вытер о мешковину пальцы, вытянул из кармана письмо и стал в него вглядываться, как во что-то незнакомое и непонятное:

"Здравствуй Ури!

Папа телеграфировал, что на несколько дней приезжает домой в отпуск, поэтому я посылаю тебе письмо с Иланой. Он говорил, что каждый день встречается с шоферами из "Тель". Как ты поживаешь? Теперь ты должен немедленно приехать. Я не могу смириться с этим. Может быть, тогда ты еще застанешь Мику, потому что она поедет в город только завтра. Она сказала, что ты чувствуешь себя прекрасно, но вернулась от тебя из "Тель" ужасно подавленная. Она ни с кем не разговаривает и не отвечает на вопросы. Только стоит на своем и говорит, что ты тоже согласен, чтобы она сделала аборт..."

Говорит, что ты согласен... говорит, что ты тоже... согласен... аборт... что, ко всем чертям, все это означает? Она пишет, как будто я что-то знаю... с чем она не может смириться?

Мика сказала, что была у меня, но ведь это бред, ложь! Как она могла у меня быть, ведь она знала, что я не там. Я говорил с ней об этом в палатке во время нашей последней встречи. Мама, очевидно, не знает, что я там был. Ведь она пишет, что я ни разу не был дома. Неужели Мика ничего ей не сказала? Еще одна ложь!

Она была у меня, говорила со мной и сказала, что я "с ней согласен" — но ведь все это суший бред! А завтра она уезжает в город — какое здесь число? — Да, завтра. И я тоже согласен, чтобы она сделала операцию! Подъеду туда вечером, все узнаю. Три четверти часа на машине...

Вдруг вспомнился дурацкий вопрос Рыжего: "Что там они тебе пишут, что у них случилось?" — настоящий черт...

Все это было непонятно и... горько. Он снова перечитал письмо и понял, что ошибки нет. А может быть, тогда, в последний раз, когда она вырывалась из его объятий твердила: "Оставь, мне плохо..." — может быть, уже тогда она была не здорова? И поэтому ее раньше других вернули домой? Шенок, ты не сумел

понять такое простое дело — эта женщина, отдавшаяся тебе и разделившая с тобой часы уединения, эта женщина молчаливо переносит страдания. А ты не в состоянии был понять, что с ней случилось! Нужно было спросить ее об этом, проявить к ней настоящее внимание, проклятый ты пес, вот ты кто!

Тысячи мужчин живут своей жизнью. Рыжий. Киббушники. Аврахам. Все все знают, имеют к женщине подход. Прикасаясь к женщине, они приносят ей счастье, а не страдание. Они знают, чего хотят, умеют брать, что нужно, знают, чем за это расплачиваются в этом мире. Ты здорово заморочил ей голову. Но какой же ты был дурак и теленок, что оставил ее одну в такое время! А она верила тебе, эта женщина, думала, что твое сердце полно любви к ней. С какой страстью ты стремился к ней в тот полдень! Ты взял ее на песке и радовался, как кот мусорному ящику. Ну, оставим это до вечера. А теперь — спокойствие, нам предстоят серьезные дела.

Машина поднималась вверх и осторожно спускалась вниз, и при перемене скоростей ощущалась умелая рука водителя. Они проезжали мимо машин, везущих урожай, мимо серебряных лент оросителей, иногда между рядами посаженных деревьев, которые доказывали, что здесь умеют заботиться и о красоте. Было жарко, поля отдыхали после сбора кукурузы, и только широкая полоса стерней простиралась до самых гор. Участки кормовых трав, четко отмеренные и причесанные, были темными, напоминая о том, что обжигающее солнце сильнее искусства орошения.

Они миновали Афулу, маленький городок, и мысль о стакане пива во время остановки показалась нелепой, — при таком багаже в кузове и таком грузе на сердце. Они выехали на шоссе, пересекающее долину до гор Эфраима, внезапно с невидимого моря подул ветер, его шум поглотил и усилил жужжание обгоняющих машин и скрежет металла.

Водитель, по прозвищу Длинный, пряди волос которого обмахивали потолок кабины, удивлялся

тому, что командир не спускается к нему в кабину. Но тот оставался на месте, рядом с "яйцами" и "повидлом", и был озабочен и растерян.

Не пройдет и четверти часа, как они минуют Гат-Хаамаким. Сначала они перестанут скрести это длинное шоссе, а потом у Вади-Ара проедут мимо телег феллахов, нагруженных тяжелыми мешками. Потом будет несколько небольших подъемов между киббуцом и его нижними землями. И, если захочешь, сможешь остановить машину и зайти домой. Но что ты ей скажешь, что?

Что это за несчастье! Нет, это слишком жестоко. Думы о Микином состоянии доводят его до тошноты. Он не решается задать себе вопрос, отчего у него этот страх. Чувство вины, противное и ненужное, подавило его — нет, он этого не хочет. Как все плохо, плохо и горько, какое это несчастье, какой стыд!

Может быть, именно из-за стыда ему так неприятна эта ситуация, она ему не к лицу. Но что значит — не к лицу? Это определение кажется ему дурацким. И потом — Мика-мать? Что за нелепость! А он? Разве недостаточно того, что так горько и плохо при одной мысли о... об этом деле? Нерешительность, все более сковывающая его, просто бессмысленна!

Но в таком случае она должна лечь под нож, а это означает — кровь! Болезнь! Может случиться — и тяжелейшее осложнение! Он слышал, так бывает... А вообще — что ты знаешь, парень? И стоишь ли ты того, чтобы прикасаться к кончикам ее туфель? И что ты можешь сказать ей теперь, когда ничего уже нельзя исправить?

Он настолько боялся думать об этой операции, что предпочитал снова и снова перебирать пустые слова: проблема... Мика... что же будет...

Он боялся самой мысли о том, что Мика собиралась сделать. Он этого не хотел, это же — просто ужас, разве можно такое пережить? А она переживает... Представь себе, что резать, — или что там делают — будут тебя; признайся себе откровенно, ты-то ведь

трус. Ты даже не в состоянии подумать, что тебе свяжут ноги, что ты увидишь всякие сверкающие ножи...

Мучительные мысли не покидали его. Он старался отвлечься, смотрел на мелькающие мимо деревни, бранил мальчишек, бросающихся камнями, пробовал есть помидор — ему ничто не помогало. Навязчивые думы снова и снова возвращались к нему, вызывали внутреннюю дрожь.

Может быть, ее берут на операцию, а в это время от страха и тошноты ей становится плохо — ведь бывает и так, правда? И вдруг в нее вливается нож, но произошла какая-то ошибка, и врач не знает, что делать, но остается совершенно безразличным, а за всем этим — дыхание смерти, и все потому, что, несчастный ты человек, не умеешь отвечать за свои поступки, посылаешь девушку, поверившую в тебя, страдать... И быть может, она, обливаясь кровью, все еще любит тебя. Возможно, сегодня она уже сделала это или все ожидает завтра?

Вот уже позади нас и Абу-Фука. Мы приближаемся к спуску, ведущему домой. Сейчас около двух, правда? Она любила смотреть на эти светящиеся в темноте стрелки, пробегая вздрагивающими пальцами по его руке, по тому заросшим волосами месту, где кончается ладонь. Слушай: здесь ты сойдешь, побежишь к Мике, поговоришь с ней и скажешь, чтобы она никуда не ехала.

Ури посмотрел на Длинного. Тот спокойно вел машину — наверное, и не замечает, как мечется рядом Ури.

Последняя мысль вызвала в нем радостное ощущение веры в себя, но оно тут же погасло, и он почувствовал привкус горечи. Что же, он встретится с Микой? Но что ей сказать? Ладно, что-нибудь скажет.

Показался участок с кучами навоза, лесок — Газелья гора поднялась как великан, вставший, чтобы обозреть горизонт. Еще один поворот — и мы у ворот. Вот это, парень, и есть испытание — человек ты или нет. Отец тоже дома. Все будут смотреть в твою сторону.

Их взгляды будут действовать тебе на нервы. Ты зайдешь к ним, ты должен зайти. Остановись! Но машина не остановилась.

Ведь ты ничего не сказал водителю.

Кроме того, показалось бы смешным, если бы ты сейчас сошел, глупо менять планы. Спокойно. Сегодня тебя еще кое-что ждет. Впереди — свободный вечер, есть еще время для всяких дел.

Глупо! Теперь проехали уже двести метров, выехав за ворота.

Кончилась изгородь, стал виден арабский участок, киббуц остался позади.

Вдруг ему показалось, что если бы он сидел рядом с шофером, лицом вперед, то непременно попросил бы его в нужный момент остановиться, но пока он оглядывал все вокруг, машина пронеслась, и киббуц остался уже позади арабской мельницы и увидеть его снова будет возможно только с очень большого расстояния.

Он понял, что все потеряно. Нет, у него не хватит сил заехать сюда вечером. Он должен был послать все к чертям и сойти теперь. Он чувствовал, что его охватывает отчаяние. В нем неумолимо росло горькое чувство вины, недовольства собой и даже ненависть к себе; он думал о том, что теперь будет, дома ли Вили — вдруг он отчетливо ощутил странную уверенность, что лишь теперь он узнал самого себя до конца, до отвращения.

Мысль, что Вили дома, а он изменил ему, с необыкновенной скоростью закончила разрушительный процесс в его душе: в кузове летящего вперед тендера сидел сын Вили, окончательно потерявший веру в себя. Оказалось, что все было неправдой — вся эта зрелость, и его геройство, и самоуверенность! Все, все было ненастоящим!

В голову пришла мысль, что Мика может умереть. Он невольно погружался в нее все глубже, не в силах избавиться от мучительных размышлений. Мало ли что может случиться, и даже прежде, чем она поедет

в город... Например она упадет, ударится, — произойдет несчастье — кажется, это связано с кровью, с сильным кровотечением, и тогда она будет чувствовать себя ужасно, и сама поездка окажется лишней. А то, кажется, это случается из-за тяжелой физической работы. Нетрудно представить себе ее, лежащей на земле с серым, отсутствующим лицом. Как Ури будет по ней плакать! Целые дни он будет лежать на ее могиле, и все будут удивляться силе его любви. Или автобус, на котором она поедет в город, переезжая через мост, вдруг скатится под откос и сгорит. Оттуда вытащат обгоревшие трупы, сообщат об этом домой, и Ури будет рвать на себе одежду, откажется верить этому и побежит туда, чтобы увидеть собственными глазами... а потом он возьмет пистолет, выстрелит себе в голову. Все будут удивляться силе этой любви, а Вили и Рутка будут сражены двойным несчастьем. Но все может сложиться и по-другому: она пойдет в лес, будет кричать, и никто не услышит ее, и лишь на следующий день ее найдут мертвой, лежащей среди деревьев...

Неожиданно в его сознании все прояснилось. Одну за другой он отбросил от себя страшные мысли. Вот, значит, что таится у тебя в глубине души! Любым способом ты жаждешь освободиться от этой проблемы: ты хочешь, чтобы она умерла, исчезла навсегда! Есть ли лучший выход из подобной ситуации? Осталось ли в твоей душе хоть что-то еще, кроме этих мыслей, в которые ты погружаешься — чтобы все разрешилось само собой, независимо от тебя, и тогда ты успокоишься: ее не станет, и все. Ты будешь горевать, рвать на себе волосы, метаться, тосковать. Со стороны все это выглядит довольно-таки прилично, как те записки, которые ты ей посылал, как это увиливание — отложить встречу до того момента, пока не станет поздно, как все эти выдуманные тобой во время поездки чувства — вдруг показалось, что ты ее любишь, и стало невыносимо жалко ее. Мика, что теперь будет?

А этот страх в душе, быть может, это — нежность?

И боль при одном воспоминании о ней — быть может, любовь? Ты ведь так любил ее недавно.

Воспоминания о днях, проведенных на винограднике, когда он работал возчиком и ездил к ней — надо это было или не надо, и эта нежность, охватывавшая его, когда он по вечерам, крадучись, пробирался к ней в палатку... Друзья ее, в большинстве своем парни, не любили его, но уважали. Он слышал их шепот за спиной — и теперь даже он был ему дорог. И вообще — что знает Рыжий о любви?!

Он обязан быть рядом с ней, когда она страдает. Нельзя допустить, чтобы она мучилась в одиночестве. Он должен страдать, должен быть таким же несчастным, как она, и даже больше. И принести себя в жертву, чтобы ее страдания отодвинулись на задний план, чтобы можно было сказать: да, Мика несчастна, но Ури — смотрите, Ури просто погиб!

Будут грустные красивые похороны. Рыжий будет суетиться около начальства. Внизу, во дворе будут стоять грузовики и шикарные машины высокого начальства, будут сказаны весомые, красивые и грустные слова. Все будут смотреть на Мику, а она будет выглядеть достойно и скорбно. Будут присутствовать также Песах и Биберман. Аврахам Горен в нескольких сдержанных словах выразит сочувствие Рутке, кто-то кому-то скажет: вот так и погибают настоящие люди!

Да и грузовичок может сейчас взлететь, как ракета. Достаточно двум запалам трахнуться друг о друга, — тут же взорвутся все коробки с повидлом. Запал — это запал. Да и одной гранаты — если она взорвется, — тоже достаточно.

Он ощутил, как взрыв сначала ударит его по челюсти, а потом разорвет на части. Он боялся даже положить руку на лежащий рядом ящик — его вдруг охватило острое желание сесть рядом с Длинным. Но было слишком глупо из-за этого задерживать машину. Может быть, перелезть к нему через все ящики?

И почетный караул для прощального залпа поднимет ружья вверх, и пара лошадей, везущих гроб, испугается и встрепенется в своей упряжке...

Он вдруг почувствовал себя совершенно опустошенным, обескровленным, и какое-то необычное ощущение заполнило его грудь до удушья — страх дошел до предела.

Прямо перед машиной стоял арабский полицейский. Грузовичок, протяжно скрипнув тормозами, остановился. Полицейский что-то искал между ящиками с помидорами. Ури был страшно зол на этого Исмаила и еще больше на самого себя за свое волнение, но все же вскочил с места, как будто для того, чтобы дать возможность полицейскому производить обыск.

Теперь он боялся уже другого: в нескольких шагах, на перекрестке дорог, стоял британский полицейский, рядом — сторожевой шалаш. Громадная машина с гремящим с грохотом проехала мимо. Если сейчас захотят его схватить, он все равно не сможет сдвинуться с места — к черту, тут же наткнешься на гранаты.

Тем временем полицейский отошел от машины, держа в руках шапку, полную помидор. Ури улыбнулся ему:

— Ладно, бери!

Ну и надрожался же ты!

— О-кей! — крикнул араб, будто с трудом читая это слово на каком-то далеком транспаранте.

Англичанин медленно переходил дорогу. Длинный завел мотор. Ури подсел к нему. Интересно, что он чувствовал в это время?

Поехали дальше.

— Что с яйцами? — спросил Длинный.

— Ничего, я уж поеду с тобой до конца, — невпопад ответил Ури.

— Они никогда ничего не находят, — сказал Длинный, когда машина набрала скорость. Оказывается, все это время он был совершенно спокоен. А ты, как ты дрожал!

— Не скажи, — Ури презирал себя за страх, и именно

поэтому заговорил о нем. — Я прямо чуть не умер от страха! Засунет этот подлец руку поглубже — пиши пропало!

Длинный ничего не ответил. Оказывается, вовсе не обязательно ощущать эту мерзкую слабость, от которой до сих пор трясутся колени, а сердце колотится в горле и не желает опуститься на место.

Теперь он снова задумался о Мике.

Вдали, когда его не закрывали случайные здания, блестело море. Едем, едем — машине на все наплевать, — на плантации или заводы, пролетающие мимо. Еще полчаса, и будем у ребят; снова начнется работа, шум и нудные жалобы тридцати новобранцев, из которых каждый чего-то хочет, чего-то требует от него, Ури, а Ури — он — что же, он и есть их Ури.

По песчаной дороге, среди густых ароматных кустов, машина с трудом преодолевала последние метры до лагеря. Ури очень любил этот прохладный, затененный кусок дороги, ведущий к молодому киббуцу, кучам известняка на берегу моря и последним плантациям на песках. Когда-то где-то здесь жили первые поселенцы, переехавшие потом в Гат-Хаамаким. Мама рассказывала, что здесь прошли его первые годы. Вся та давнишняя история, включая жизнь в Тель-Авиве, до сих пор была ему не совсем понятна, но пролегающая здесь дорога очень приятна, как и мысли, что мама и Вили тогда были совсем молодые и красивые. А что теперь?

Машина снова выехала на солнце, и оно безжалостно ослепило их своим отражением от песчаных барханов, от серых палаток, от нескольких эвкалиптов.

Они въехали в лагерь, проехали мимо разбросанных между деревьями потрепанных палаток. Навстречу им никто не спешил. Ури вышел и со злостью хлопнул задним бортом. Эти паразиты, как видно, спят после обеда. Уж устрою сегодня я им тренировочку, они у меня побегают!

Он направился к своей палатке. Габи спал, как медведица, потерявшая своего медвежонка, лицо его было закрыто от мух газетой. Ури резким движением сорвал ее. Габи со стоном перевалился на бок.

— Габи, вставай!

— Что? — он сел, под ним заскрипели пружины, — а? — протянул Габи надтреснутым со сна басом. — Что? Это ты, Ури?

— Ты готов?

— Привет, Ури! — невпопад ответил Габи.

— Пойдем со мной!

Габи встал и, как был, босой, в шортах и майке зашагал вслед за Ури по красноватому песку, по-видимому, очень горячему, потому что Габи все время на ходу подпрыгивал и устремился к тендеру с такой скоростью, как будто надеялся там вырвать давно болевший зуб. Но вот он добрался до тени, отбрасываемой тендером:

— Проклятый песок! Привез гранаты?

— Вот именно! Наконец-то до тебя дошло!

Ури подошел к кузову и заглянул внутрь.

— Послушай, возьми помидоры и отнеси на кухню. Потом разгрузи яйца и повидло. Верхние ящики яиц внеси в палатку.

Габи улыбнулся. Уж кто-кто, а Ури знает, что делать. Габи чувствовал запах жареной картошки с яйцами.

— Ты слышал? — Ури был очень уж серьезен и зол.

— Повидло сверху выброси, это дрянь! Все остальное унеси.

Тут уже возмутился Габи.

— Для чего? Ты сошел с ума! Ведь сегодня — учебные стрельбы!

Устремленный на него взгляд Ури выразил весьма определенное мнение командира по поводу такого поштыдного проявления недисциплинированности и упрямства. Габи, добрый великан, тут же признал свою вину.

— А я думал, сегодня будут учебные стрельбы!

Ури ненавидел себя. Вот тебе еще одно доказательство твоего свинства — твое отношение к хорошим парням, по-настоящему тебе преданным.

— Это все. Мы с Длинным пойдем поедим. Сейчас три часа. В половине четвертого я устрою смотр всех подотрядов, потом выйдем на работу. Я хочу все закончить вовремя. Понял?

Ровно в половине четвертого Ури инспектировал свой отряд. Ребята были усталые и несобранные. Как всегда, особенно несуразен был Шимон Арци — "Зимон Арцет" — так называли его ребята из-за немецкого происхождения.

— Шимон!

— Да!

— Принеси мне из палатки бинокль.

Шимон пошел за биноклем. Он был старше всех.

— Габи!

Габи вышел вперед.

— Ты положил гранаты на место?

— Да, черт побери!

— Хорошо, так я беру ребят. А ты в четыре будь на стрельбище с тридцатью гранатами и взрывателями.

Габи молчал с отсутствующим выражением лица.

— Бери все раздельно. Соединим во время занятий.

— Да, — парень побледнел, покраснел, опять побледнел.

Он думает теперь обо мне, что я подлая тварь.

— За мной! — закричал Ури отряду. — Все за мной!

Длинная шеренга парней, одетых в хаки, дрогнула и бросилась к иссохшему руслу, взбираясь на возвышение у ограды плантации — по дороге к пустынным взгорьям. За ними бежал странный субъект с биноклем в руках, неуверенный и не находящий себе покоя.

Ури гонял отряд до тех пор, пока все не почувствовали, что душа покидает тело, выливаясь густыми едкими каплями; Ури тренировал их в метании камней, мучил командой "ляг-встань" и после четырех повел в направлении стрельбища.

Они шагали над морем — мутно-серым под хмурым осенним небом. В воздухе появилась предвечерняя прохлада. Кое-где раскачивались одинокие дикие кусты, молчаливо и грустно. Камни на лысых, желтоватых, твердых вершинах холмов дробились под тяжестью грубых ботинок.

Габи уже ждал их с ящиком яиц и двумя банками повидла. Ури направил в его распоряжение двух парней, чтобы перенести все на переднюю позицию и навести там порядок; одного из ребят направил на водонапорную башню следить за главной дорогой и в случае опасности сигнализировать.

Отряд занял позицию. Столько раз они уже тренировались в метании гранат, и все-таки он снова объяснил им каждую деталь. Он повторял: несмотря на то, что эти гранаты выходят из строя последнее время довольно часто, и не взрываются, пользоваться ими следует с большой осторожностью.

Отряд занимал заднюю позицию, и только Габи и Ури оставались на передней.

— Во-первых, — прокричал Ури, хотя расстояние было небольшим, — смотрите, как это делать!

Он знал, что ребята и без того достаточно серьезно относятся к делу, чего же он сейчас от них хочет? И почему именно теперь ему взбрело на ум проводить тренировку с боевыми гранатами? Они ведь знают, что для Ури все это — детская игра. Он взял в одну руку гранату, поднял ее в воздух, держа в другой взрыватель. Раз он объявил тренировку, то теперь уже решения не изменит. Глупости, ничего не случится!

— Обратите внимание, во-первых, я проверяю гранату и взрыватель. Есть трещины? Нет. Все в порядке. Во-вторых, присоединяю..., — вдруг он почувствовал, что его пальцы поступают не так, как надо, не так, как их учили, а дернулись сами по себе, словно подчиняясь неосознанному желанию то ли бросить гранату, то ли просто уронить ее.

Что это?

— Слышите?

Восторженный шепот раздался из окопов. Габи лежал у ног Ури и глядел вверх на своего командира. Ури силой пытался вкрутить взрыватель в гранату. Пальцы опять отказались ему повиноваться. В нем вдруг снова проснулись его страхи. Теперь им овладела жалость к самому себе, к Рутке и к Мике. Как только он о ней вспомнил, в душе забилося мучительное самообвинение и ее пронзила острая боль. Он заметил, что все еще размахивает в воздухе гранатой и взрывателем.

— Вопросы есть? — снова закричал он, не учитывая, что расстояние между ним и ребятами ничтожно. Вопросов не было. Он с силой сунул взрыватель в гранату, тот, наконец, послушался и занял свое место. Он снял крышку, обнаружил головку взрывателя — темную, покрытую странными опилками.

— Где спички?

Габи протянул спички, молчаливо и внимательно приглядываясь к нему.

— Имейте в виду, — обратился он к отряду, — когда я ударю, все под прикрытие, и нос оттуда не высовывать. Ясно?

Снова прошелестел тот же восторженный шепот. Вот дураки, не слышали шума взрывающейся гранаты, что ли?

— Теперь обратите внимание, — приняв решение, он вдруг выскочил из окопа, — я выхожу, чтобы вам было лучше видно. Смотрите.

Они смотрели.

Он наклонился, зажег гранату. Пламя быстро разгоралось.

— Видите? — он отвел руку назад. — Вот! — Граната полетела полугругом. Казалось, что она вот-вот разорвет какую-то грань прозрачного воздуха. Ури припал к земле.

— Вы можете смотреть! — успел крикнуть он.

На расстоянии сорока метров, где стояла бочка-мишень, с грохотом взорвалась граната, во все стороны разметав обломки.

Он никогда не видел лучшего броска.

Сзади все так же восторженно перешептывались ребята. Послушный великан Габи следил за ним глазами, Ури же ощущал в теле дрожь опьяняющего удовлетворения.

— Зимон! — крикнул он.

— Зимон, Зимон, — подгоняли и подбадривали солдата со всех сторон. Шимон дрожал, нерешительный, взволнованный и бледный.

— Почему? — прошептал Габи, — почему он должен быть первым?

— Чтобы хоть раз был человеком! — сказал Ури, стараясь, чтобы все его услышали. — Хватит бояться, у нас не должно быть трусов! К делу, Зимон, покажи, на что ты способен!

Шимон чувствовал себя прескверно. Габи помог ему взять гранату, и тот долго вертел коробку со спичками, пока сообразил, как их зажечь. Потом нагнулся. Ури поправил его и так пристально следил за ним взглядом, будто парень стал для него центром мира.

— Теперь действуй осторожно, но энергично. Бросай! Слышишь? Жди приказа. Ты готов?

У Шимона едва хватило сил кивнуть головой.

— Бросай!

Шимон провел головкой по спичечной коробке. Казалось, он прицелился. Снова нагнулся, и вот уже граната в его руке загорелась.

— Бросай! — крикнул Габи и пригнулся в окопе. Шимон испугался, выпустил гранату из рук в нескольких шагах от окопа. Огонь начал лизать траву.

Ури выскочил из окопа, схватил гранату, откинулся назад и в одно мгновение увидел грустное море, движение ветра в песке, вспомнил Мику и Рутку, и, снова забыв обо всем, с силой швырнул гранату.

В ту же секунду незримый фотограф произвел ослепительную вспышку; огромное сияние развернулось новыми небесами, гремящими без звука, точно не выпущенный наружу крик.

Дверь стукнулась о косяк с шумом, потому что Вили спешил. Рутка села в кровати. Нахальство, что его так рано вызывают! Она взглянула на часы — половина девятого. Мика, наверное, уже приехала в город. Нужно же, чтобы это случилось именно сегодня!

Она улеглась на спину, натянула простыню и думала о Вили, Ури и Мике — о том, что все они принадлежат ей.

Вили в эту историю вмешиваться отказался. Еще вчера он спрашивал о Мике, удивлялся, почему она не зашла с ним поздороваться. Когда Рутка все ему рассказала — и о согласии Ури на аборт, и об отъезде Мики завтра утром в город — он промолчал. Поздно вечером, когда они, утомленные после встречи с друзьями, остались, наконец, дома одни, она снова вернулась к разговору о Мике.

Мика — слишком впечатлительная и нервная девушка, и именно он, Вили, способен развеять ее страхи, повлиять на нее. Он разделял уже зародившуюся у Рутки любовь к будущему внуку; появилось еще одно удивительное ощущение: Вили — дедушка. Вот она, — остановка... Но все же ему не хотелось вмешиваться в эту историю. Он предпочел бы, чтобы все, что угодно повлияло на ход событий, но только не его отношение к этому. Быть может, он устал или недолюбливал Мику, или, наоборот, чувствовал свое новое отношение к ней, а быть может, не хотел этой неприятной темой портить радостный момент встречи с Руткой. Но говорил он о другом:

Мы не имеем права вмешиваться в их жизнь. Жизненный опыт — дело хорошее, но сам по себе он, к сожалению, не существует. Поэтому невозможно его навязывать другому. В жизни двух молодых людей сейчас происходят события первостепенной важности, которые могут или связать их на всю жизнь, или разлучить навсегда, обязать или освободить, и в этом деле посторонние не должны играть никакой роли. Так он считает.

Аборт? Конечно, это дело и печальное, и опасное.

Между прочим, я не уверен, что у нее это впервые. Ведь я знаю людей, которых привез оттуда...

Да, в общем-то — это ужасно, но все же нельзя, чтобы решение о совместной жизни было принято под давлением извне.

Согласись, — создавшаяся ситуация ненавистна им обоим. Ты сама говорила, что Ури не хочет ребенка. Ты не знаешь их отношений, и хотя этот милый парень — твой сын, вполне возможно, что он решил расстаться с ней. Я был искренне удивлен, когда ты мне о них написала. Ури и Мика — у них нет ничего общего! Для них обоих их встреча была ошибкой, я уверен, что дни, которые они провели вместе, не принесли им счастья.

Рутка возражала, что сам по себе аборт — это несчастье, которое может испортить всю жизнь Мики и утверждала, что в жизни очень многое зависит от стечения обстоятельств, от стойкости людей и от их личного отношения к тому, что свершилось. Беременность — это не недоразумение, на которое можно просто не обратить внимания. В жизни вообще не существует таких обстоятельств, с которыми не следует считаться. А если когда-нибудь каждый из них найдет себе другого партнера — то этот аборт может стать помехой для ее счастья. Капризной душе нельзя потакать, ее нужно ткнуть носом в факты, нужно, чтобы она считалась с жизнью других людей — чего мы вообще ждем от Ури, — чтобы он порхал, как мотылек — тут поест, там попьет — этаким миляга без всякой ответственности? Сейчас речь идет о живом существе, а вы готовите убийство! Да, я хочу этого ребенка и отдам ему всю свою душу, а если они оба этого не понимают, то я, старая мать, готова заставить их, даже против их воли, дать жизнь ребенку!

Они еще долго говорили на эту тему, и с нее начали утро, как вдруг Вили позвали к телефону. До этого он сидел на кровати, наслаждаясь ясным, утренним светом, льющимся из окон, и разговором. Он жалел, что Ури еще не приехал, ему очень хоте-

лось с ним встретиться. Просто удивительно, насколько понятными становятся человеку все его домашние дела, когда он находится в тюрьме или далеко за границей. Да, да, именно так, — пусть никто не думает, что это не касается британской армии. Здесь у человека так много досуга, что хоть душа вон!

И вот, когда Рутка собиралась возразить и вымолвила первые слова, из-за двери раздался испуганный голос Песаха:

— Вили, к телефону!

Удивленный возглас Вили, странный ответ Песаха...

— Не задавай вопросов, иди быстрее!

Он быстро ушел, и ты снова осталась одна в пустой комнате.

Что может означать этот звонок? И тревога Песаха? Может быть, им просто захотелось вытащить его в поле, показать новые машины, и они ничего лучшего не смогли придумать? Что-то вроде сюрприза. Который теперь час? Без двадцати девять. Мика. Она, наверное, уже там, в этой частной больнице... Но кто узнал, что Вили дома? Кто может звонить так рано и быть таким требовательным? Ведь никто не знает, что он дома.

Разговор затягивался. Может быть, звонит Мика? Или Ури объясняет, почему не смог приехать вчера. Интересно, почему он все-таки не приехал? Может быть, заболел и все время скрывал это? Похоже на то, что Мика, рассказывая об их встрече, что-то скрывала.

Она встала, ей не терпелось скорее встретиться с Вили. Набросила легкий халат и вышла на террасу. Утренний свет, тепло, зеленеет трава. На площадке перед столовой двигаются люди, потом они окружают Песаха. Потом появляется бегущий Вили. Маленькая машина въезжает во двор. Вили быстро вбегает на террасу:

— Рутка, скорее зайди в комнату!

И вот они в комнате. Вили как будто прирос к порогу. Она смотрит на него и боится задать вопрос.

— Рутка, — начал он и умолк. — Рутка, быстро оденься.

— Довольно! — крикнула она, — что случилось?

— Ури, — произнес он, — немного ранен.

— Ури!

— Рутка, одевайся, — умолял Вили. — Он в Афуле, в больнице.

— Но что случилось?

— Кажется, упал или что-то в этом роде, перелом ноги что ли... Но я не уверен, я точно не понял. Этот проклятый телефон! Рутка, одевайся!

Ничего не соображая, она одевалась. Вили обувался. Она снова и снова спрашивала:

— Что сказали? Что тебе сказали?

— Рутка, я думаю, ничего страшного.

Он был сильно взволнован.

— Оставь ты эти кровати. Просили приехать срочно. Оставь кровати, Рутка! Нас уже ждет такси. Хорошо, что Песах поймал его для тебя.

— Почему только мне?

— Я еду в Хайфу.

— Зачем? — крикнула она.

— Чтобы привезти Мику. Пошли!

— Ты не успеешь, — Рутка заупрямилась, как будто ей хотелось говорить о другом. — Не успеешь, — повторила она. — Мика уже уехала. Ее очередь утром.

— А вдруг еще успею.

Вили пошел к двери, Рутка вдруг остановилась и обняла его, как будто лишь теперь поняла, что случилось что-то страшное.

— Вили, — крикнула она, — что случилось с Ури? Вили, что тебе сказали?

— Я не разобрал, Рутка, — он пытался изобразить нетерпение, но она видела только страх, — ведь ты же едешь сейчас, давай быстрее, тебя ждут.

Через мгновение они вышли во двор. Их окружили молчащие люди. На площади ждала машина. Гута принесла несколько бутербродов, фрукты, шоколад.

— Съешь что-нибудь, Рутка.

Ей казалось, что все знают больше, чем она, и это было страшнее самого страшного. Рутка ничего не хотела. Она огляделась вокруг невидящими глазами. Вдруг она оказалась в машине, которую начал заводить шофер. Они держались с ней как с немощной. Ей хотелось протестовать, но она собой не владела. Как же так...

— Вили! — закричала она, — где же ты? Ты что, не едешь со мной?

Она боялась остаться одна.

Вили наклонился и обнял ее через окошко машины, как заключенного через решетку.

— Рутка, я скоро приеду. Во-первых Мика, Рутка. Не нервничай. Ты нужна ему. Он нуждается в мужественной матери. Запомни, — хирургическое отделение. Песах все знает, вот он... он едет с тобой... Здравствуй, Песах, ну, что вы там, поехали! Пока, Рутка, а Ури скажи...

Он знал всю правду. Этот ребенок — единственное, что останется от Ури. Его переполнило чувство, не оставлявшее места страху, боли и сомнениям. Этот ребенок должен жить. Только это спасет их всех. Вили ехал один в старой машине, по два раза в день перевозившей людей на плантации. Она дребезжала всем своим металлическим нутром, деревом и стеклом, словно пытаясь отогнать все мысли, не связанные с ней. Вили было душно и жарко. Кожаная обивка окончательно изнашивалась. Не так давно он сидел вместе с сыном на заднем сидении — сейчас на нем никого нет; ехал в поле, на виду у сборщиков кукурузы, и успокаивал его, уговаривал, что идти ему, Вили, в армию — не так уж страшно... Теперь он думал не о сыне, а о Мике, о том, как, если не опоздает, будет говорить с ней, скажет ли о случившемся или нет. Он с упрямой надеждой не переставал думать об этом.

Порывшись в карманах, Вили вынул смятую бумажку с адресом той частной больницы. Было девять часов — время, когда должны были ее принять и, может быть, он уже опоздал...

Рутка сначала не поняла, что произошло. Он вспомнил, какой растерянной она выглядела после прихода Песаха, потом никак не могла сообразить, что я еду спасать ребенка Ури, была совсем ошеломлена. До конца осознать положение она не могла, пыталась надеяться, что ранение легкое, но безумный страх, овладевший ею, доказывал, что она предчувствовала размеры несчастья.

Что же произошло с нашим мальчиком?.. Мика, что будет с Микой?

Как убедить ее не делать аборт? По-видимому, надо будет рассказать ей об Ури, убеждать ее, объяснять, что теперь она принадлежит не только себе, но и всем нам. Все это слова... Ури!.. Только не думать сейчас об Ури, не думать о нем. Он говорил, что должен идти в армию, а ты возражал, просил его остаться дома... И эти врачи, они не имеют права этого делать. Пусть поднимется крик, но он не даст даже дотронуться до нее. Как он ненавидит все эти заведения, с их огромными расходами, полученными благодаря несчастным девушкам, попавшим в беду. Он спасет Микку. Она будет жить у Рутки, а если не захочет, неважно, пусть живет, где хочет, главное — она будет для них дочерью. Родится чудесный малыш, и Мика останется вместе с ними, она будет знать, что ему не грозят никакие опасности. Сын Ури. А у них найдутся еще дела. Жизнь никогда не останавливается. Только не губить ее своими руками! Ури — наш единственный сын. И оставит после себя единственного сына. Мика — да, думать о ней, только о ней. А что, если тебе не разрешат пройти к ней? А что, если сломается эта несчастная машина? А что, если ты погибнешь в пути?

Рутка, помнишь, как ты бежала спасать ребенка в Тель-Авив, в большую квартиру папы Кахана? Помнишь, как долгие годы тебя преследовал страх за жизнь сына?

Мика, только Мика, мать нашего внука. Но вдруг она откажется меня послушать, ею овладеет нена-

висть, и она не сможет принять нашу любовь, любовь к жизни?

Он приближался к горе — дома сказали, что это заведение находится на ее вершине. Как Песах все быстро понял — по-видимому, он все знал. А Рутка, что теперь с нею?

Он миновал город — машина время от времени останавливалась, скрипя на поворотах тормозами и с трудом съезжая в низины. Вершина все приближалась, украшенная красивыми домами. Он ехал, как сумасшедший. Он заставит Мику сделать все, что нужно, силой утащит ее оттуда, будет на нее кричать, упрекать ее, — глупая истеричная баба! Но в конце концов он все-таки заставит ее подчиниться, отвезет домой, она будет отдыхать, молчать, ждать и любить.

Машина остановилась, сидевший в ней капрал высунулся из окошка и спросил у прохожего, где находится нужное ему заведение. Тот не знал. Другое шустрое создание, кажется, это была женщина, услышала вопрос и поспешила к машине.

— Что вы разыскиваете?

Вили пришлось повторить все сначала.

— Поезжайте направо.

Она стала подробно описывать дорогу — хватит, уже и так двадцать минут десятого. Внизу, отражая небесный простор, синело море. Гора опускалась в белые пески, возвышаясь над крышами домов и равниной, как мать над своими детьми. Было что-то хрустальное и вместе с тем теплое, вечное в этой величественной красоте.

Когда он остановился возле ограды, в мире царила равнодушная и ничего не ведающая тишина. Низкий квадратный бетонный столб поддерживал скромную калитку с висящей на ней табличкой с названием клиники. Он закрыл машину и вышел, держа в руке ключи. Пиджак остался в машине, и он входил в это важное заведение в простой рубашке цвета хаки. Под его шагами поскрипывала галька, покрывающая аллею, а вокруг стояли бурые сосны.

Скамейка... Неужели их пациентам приходится дожидаться во дворе? За соснами виднелся двухэтажный дом, встречающий входивших в него полукруглой широкой верандой на круглых старомодных столбах. Вокруг было много тени, воздух был напоен прохладой. Сосновый аромат создавал атмосферу отдыха и спокойствия, вытесняя запах больницы.

Он поднялся на веранду. Половина десятого. Возможно, все кончено. Никто его не встретил. Он потянул дверь за резную ручку. Вошел и остановился в прихожей. Одна дверь вела направо, другая — налево, а в углу виднелась третья дверь. Из правой двери вышел санитар, одетый в белое.

— Да?

— Можно здесь узнать?..

Невежда, даже не подумал впустить солдата.

— Кто вам нужен?

— Я хочу узнать о... моей дочери.

— Имя?

— Мирьям... из Гат-Хаамаким.

— Минутку, когда она прибыла?

— Думаю, сегодня утром.

— Новенькая? — этот в белом был совершенно равнодушен. — Не знаю, спросите в секретариате. — И исчез за дверью, из которой вышел, где, как видно, находился склад лекарств.

Вили постучался в левую дверь. Там был секретариат, и за письменным столом сидел озабоченный чем-то доктор.

— Да?

— Мирьям Райзельман из Гат-Хаамаким...

— Гат-Хаамаким? — он был рассеян и никак не мог понять, что от него хотят. — А, да! Должна была быть сегодня.

— Я бы хотел ее повидать.

— Да, господин, — врач вышел из-за стола и произнес таким тоном, будто уговаривал его после длительного спора, — но она еще не пришла.

— Как это?

— Ее пока здесь нет.

Что бы это могло означать? Ошибка или, быть может, они считают, что я не должен знать о том, что здесь происходит?

— Доктор, прошу прощения, но это моя дочь, и я должен немедленно ее увидеть.

Врач с обиженным видом вернулся к столу и сел.

— Но, господин, ее здесь еще нет.

— Доктор! — Вили оперся о стол всей тяжестью своего тела, — я должен видеть ее!

Тогда тот открыл толстую книгу и показал ему последнюю страницу.

— Она не пришла, видите? Сегодня мы приняли четырех больных, все из города. Из киббуца у нас никого не было. Вашей дочери в нашей клинике нет. Она не пришла. И добавил с победной язвительностью:

— Она потеряла очередь, очередь аннулирована! До свидания!

Вили вышел на веранду. Его выставили, как будто он безобразничал. Что значит — не прибыла? Может быть, у них принято отрицать дела такого рода, а я к тому же в форме и врываюсь с идиотскими расспросами.

Вдруг ему пришло на ум, что она решила с собой покончить. И это показалось ему настолько возможным, что он подумал: все, конец!

Он вскочил в машину, развернул ее и поехал в город.

А еще ты, Вили, думал, что все понимаешь! Видел так много ужасного и не понял, что человек может покончить с собой! Ведь дело касается твоей дочери, жены Ури, матери его сына.

Он проехал по чему-то, бывшему раньше кошкой или собакой. По-видимому, это произошло час или два тому назад, потому что от животного почти ничего не осталось. Осторожно, старик! У тебя дрожат руки! Теперь представь себе, что скажет Рутка, когда узнает, что ты ее одну послал к Ури... Но, быть может, Мика теперь идет по улице, подымается в гору пешком, мо-

жет быть, ей не хватило денег. Теперь гляди: вот автобусная станция.

Оказалось, все — в порядке. Автобус из Гат-Хаамаким прибыл вовремя. Девушки тоже. Ни одна из них не интересовалась дорогой наверх. Да, и с сумками были девушки. А шофер вернется лишь через полчаса. Ладно, они передадут записку Мирьям, такой чернявой, из Гат-Хаамаким...

Все-таки он взял телефонную трубку и после лихорадочных поисков в телефонной книге попросил прощения и задал вопрос о Мирьям Райзельман, своей дочери.

— Она еще не прибыла, — и громкий стук трубки о рычаг!

Он вышел и сел в машину. Ури, Ури нет! Он снова поедет туда, оставит там записку, будет искать ее по дороге, — вдруг она идет пешком!

И снова та же дорога, только теперь он ехал медленно, напряженно всматриваясь в пешеходов, оглядывая тропинки, укорачивающие путь в гору.

Отсутствие Мики казалось ему страшным. Лучше бы она сидела напротив него в больнице и не соглашалась. Незнание хуже всего — где она скрывается? Происходит что-то ужасное, и ты ничего не в состоянии предпринять.

Машина отдувалась и пыхла, как кобыла, на которую взвалили непосильную тяжесть, с приглушенным скрежетом поднимаясь вверх по дороге. Было жарко. Прохожих не видно. Мики тоже не было. Через какое-то время он подъехал к тому же месту около больницы, остановил машину, оставил ее открытой и вбежал в ворота, проскрипел галькой, перескочил ступеньки, ведущие на веранду — теперь одно из двух: или он, или врач!.. И вдруг он услышал:

— Вили!

Ури, мой дорогой, ведь это Мика! Она сидела на скамейке между соснами.

Вили сел рядом.

— Мика! — это было все, что он мог произнести.

Он смотрел на нее, ничего не соображая. Что произошло? Он ничего не понимал.

Ее взгляд понемногу наполнился светом. Теперь-то она знает, что сказать ему. Все для нее, наконец, прояснилось и встало на свои места. Она знает самое главное, и это наполняет ее нежной радостью. Она держит Вили за руку, она взволнована, она собирается с силами, чтобы говорить...

— Вили...

И снова:

— Вили, я знаю, вы сердитесь на меня. Может быть, вы и правы, но я только женщина...

Она с раскаянием думает вслух:

— Наверное, Ури приехал и рассказал вам, что я лгала, ведь я у него не была, и, может быть, он бы не согласился со мной, действительно, я врала, но я не могла иначе...

Она встрепелась и продолжала:

— Но э т о еще хуже, намного хуже, и я не могу. Я все ходила и ходила, и видишь? Не могу, нет, я с ним не расстанусь! Вили, ведь ты пришел ко мне? Тебя, наверное, послала Рутка... да, но я и сама не могу, тогда я лгала, но теперь знаю...

...Это Ури пришел и рассказал нам? Как же ты, Ури, мог прийти, чтобы рассказать нам? Один только череп... А остальное тело? А грудь? И как это, как это твоя грудь, Ури, могла остаться целой?

— И потом я подумала, Вили, а вдруг Ури будет рад и согласен, а я — дура?..

Вили, скажи что-нибудь, скажи же что-нибудь!

— Я не могла. — Мика сидела на скамейке и смотрела на сидящего рядом капрала. — Я шла сюда с твердым намерением, но тут решила — нет! Будь что будет! Да, родится ребенок. Я уже люблю его. Рутка много говорила, но все это не то. Я все время думаю об Ури. Может быть, и он этого хочет? Наверное! Ури любит меня. Когда-то он очень любил меня, и я его люблю... Я знаю, он вдруг раскроется передо мной во всей своей красоте. Я уверена в этом. Сначала ему

будет трудно... Вили — слышишь? Вили... ему будет трудно, но он все равно будет рад. И куда мне еще идти, как не в Гат-Хаамаким? Ведь в киббуце и Рутка, и ты, и Ури...

Машина подвывала у ворот, а твой единственный сын лежал в далекой больнице, но ты не мог сдвинуться с места, ты был лишь в состоянии слушать счастливую и взволнованную речь:

— Зачем ты вообще приехал, Вили? Ты не должен был этого делать, я и сама все поняла. Теперь поедем обратно. Нет, они не дотронутся до меня! Я поднималась сюда медленно и, наверное, нарочно опоздала, и здесь я решила, что не войду туда. Нет, Вили, Вили! Но, что с тобой? Вили, я рада — но погоди, что с тобой? Что с тобой случилось? Ури уже дома? Я уверена, мы будем счастливы, Вили... я не понимаю, послушай... Что с тобой? Все уже прошло, поверь мне, все будет хорошо... Вили!..

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

430

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. В Кантаре	9
День первый	11
Будни, ночи и пески	47
Все надежды — на ночь	53
И решение было — пески	57
Мика	96
Ури	138
Долг и счастье	162
Осеннее интермеццо	221
Газелья гора	222
День последний	277

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниковский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Гершль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД МОЙ
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. Стихи советского еврея. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальдский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов.
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.

35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

לכבוד
הנהלת "ספרית-עליה",
ת.ד. 7027,
תל-אביב.

טל. 256182

1. Стоимость одной книги серии "Библиотека Алия" – 25 изр. лир.
2. Стоимость 12 книг – 216 изр. лир (скидка около 30%).

Прошу выслать мне 12 из опубликованных
книг
(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных
книг

Прилагаю чек на сумму 108 изр. лир.

Мой адрес:

Имя и фамилия

Подпись:

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

Ахарон Мегед. **ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО.** Роман. Пер. с иврита.

А.Мегед (р. 1920) принадлежит к группе виднейших писателей поколения Пальмаха в израильской литературе. В своей проблемной книге "За счет покойного" (1965) он в ярких, но нелестных красках рисует жизнь тель-авивской богемы шестидесятых годов и с большим мастерством раскрывает пропасть, отделяющую это общество от предшествовавшего ему поколения пионеров-зачинателей, всецело посвятивших свою жизнь возрождению народа и родины.

Андрэ Шварц-Барт. **ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ.** Роман. Пер. с французского.

Автор (р. 1928) — французский писатель-еврей. "Последний из праведников" — его первое произведение. Это трагический мартиролог европейского еврейства, начиная с событий 12 в. в Йорке и кончая Освенцимом. События разворачиваются на фоне старинной еврейской легенды о тридцати шести праведниках.

Исаак Бабель. **ДЕТСТВО.** Сборник рассказов.

И.Бабель (1894—1939?) — писатель, павший жертвой сталинских репрессий, один из лучших прозаиков, которых выдвинуло наше столетие. Снискав всеобщее признание как величайший русский стилист, Бабель остался истинно еврейским писателем. Это выразилось не только в выборе сюжетов и персонажей, но и в самом глубинном смысле его произведений.

Давид Маркиш. **ПРИСКАЗКА.** Роман.

Автор романа родился в Москве в 1938 году. В Израиле с 1972 года. "Присказка" — первая книга автобиографической трилогии "Легкая жизнь Симона Ашкенази". Трилогия отражает двадцатилетний период: с 1952 года, когда отец писателя, Перец Маркиш, был расстрелян, а члены семьи "врага народа" — высланы из Москвы в Казахстан, и до 1972 года, когда после длительной борьбы автору и его матери удалось вырваться из России.